Павел Чацкий • Лешегоны



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКО-КОЛХОЗНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
НОВИНКИ ПРОЛЕТАРСКО-КОЛХОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПАВЕЛ ЧАЦКИЙ

ЛЕШЕГОНЫ

РОМАН



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1931 ЛЕНИНГРАД

Ответственный редактор И. Трусов.
Технический редактор С. Симонов.

ПЕРВАЯ
ТИПОГРАФИЯ ОГИЗА РСФСР
«ОБРАЗЦОВАЯ».
МОСКВА, ВАЛОВАЯ, 28.

★

Уполномоченный Главлита Б-503.
Гиз № 18 2Х-22. Заказ № 52.
Тираж 5000 экз. 16¹/₄ п. л.

ИВАНУ МАКАРОВУ ПОСВЯЩАЮ.

„Не хожены, не меряны, суземные дороженьки...“

(Северная песня.)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Срубленный из восьмивершковых бревен дом Вертневых вплотную примыкает к речке Опока. Увал около дома буйно заполнил сад, где растет черемуха, смородина и малинник. Из сада пахнет тленом листа и трав, сгнивающих на корню. От калитки к реке Сухоне тянется полем извилистая тропинка. Над Сухоной нависают круто и грозяще Брусничные горы, — там по весне изумрудом цветут мхи.

Река подходит к селу изогнутой лукой, замыкая свинцовое ложе вод.

Мимо села проходит тракт. Тракт, точно стрела, прокалывает лес, идущий от околицы.

Поодаль хохлатятся гумна. Их словно вперебежку обскакивают серые прясла изгородей.

На гумнах рыжие ометы соломы, серые крестцы овинов и роняющие по осени убор печальные березки. Над селом ярко блестит луковица церковного купола. На росстани дорог, выходящих из села, развалилась магазея.

Овраг, где протекает речонка Опока, надвое разделил село.

По правую сторону оврага идут дома, дюжие, как рекруты на смотру, с тесовыми крышами, обжимные, выдающие хозяев за крепких и кормных мужиков. Здесь живут старообрядцы, — „лешегоны“, как их называют в округе за манеру двухперстно закрещивать себя от всякого поползновения нечистой силы. Зевает лешегон, — рукою прикрыв рот, сеет кресты, а когда встает на молитву, то накрепко склещит в коленях ноги, дабы не оставить лешему лазейки.

Левый же берег оврага заняли табашники, — беднота, голяки, — и прозвали этот краешек села Голодаевкой. И избы у голодаевцев подстать хозяевам, сухим, долговязым, с лицами, утонувшими в бороде, — непричесанные, с клочьями соломы у застрех, осевшими дворами и гнилушками амбаров.

Голодаевцы считаются частью Раменья, а на самом деле живут особой, невеселой судьбой. Чинят свои голодаевские дороги, изгороди, косят клинья и пустоши, пашут заброшенные полянки, а то, что пожирнее, принадлежит лешегонам и помещику Грибанову. Многие из голодаевцев живут извечной надеждой „выбиться в люди“ и перебраться на правый берег. Лешегоны поэтому зорко следят за движениями голодаевцев и начинающего добреть мужика обхаживают спозаранку, исподволь, и закидывают крючок советом.

— И ты хошь с ними, голодранцами, кашу варить? Что ж, живи, бог тебе в помощь... только потом не печалуйся, коли сено и хлеб потащут средь бела дня. Народ-то они уж очень аховый!

У голодаевца при этих словах вырастает пушок довольства на подбородке, — годами он вынашивал мысль жить на правом берегу. Млеет от счастья и, смиренно потупив глаза, ответствует советнику:

— Я бы не прочь... да как ваши — место дадут ли? А то сунут куда-либо на край, на отлет, хуже Голодаевки наживешься.

Лешегон, небрежно сбычась, цедит:

— А ты к старикам нашим толкнись, ведь чай не чужой, а сосед... посули на ведро душу обмыть, и место найдут.

На счастливца, собирающегося уезжать к лешегонам, Голодаевка смотрела косо.

— Поехал? — завистливо спрашивали его. — Ну что ж, скатертью дорога. Поживем — увидим... У нас ты был в почете, а там таких кобелей хоть пруд пруди! Это они, лешегоны, спервачка легки, а попадешь к ним в руки — нюхнешь горя. Мягко стелят, а спать... ох, тяжело!

Поселившись у лешегонов, голодаевец старался жить со всеми в ладу и держался ближе стариков.

Самодовольно, вразвалку ходил по лешегонской земле в праздничные дни и, улыбаясь в бороду, перекликался с голодаевцами:

— Шли бы к нам гущи, господа, полакать, пиво варили, осталось, ведь зря свиньям выбросим...

Голодаевцы не оставались в ответе:

— Водохлеб, подбери брюхо-то, а то потеряешь...

— Петюня, дай язычка в лапоток позвонить, потому ты антилегенция сплошная...

— Робя, смотри, он мотню-то развесил у штанов, што-тэ корова перед отёлом...

Хохот и насмешки гулко колют праздничную тишину. Под вечер обе стороны, захмелев, выходят к оврагу, рассаживаются рядышком, созерцают друг друга, после перекоров вступают в драку.

Унося после побоища домой „фонари", голодаевцы грозятся:

— Дай срок, отыграемся мы на вашей шкуре лешегонской!

Лешегоны отвечают:

— Попросите, еще выдадим...

Лешегонский берег лег ближе к реке. Солнце греет весь день спину увала, и это немало огорчает голодаевцев.

Вслух высказывать протесты не решались, но по углам трезвонили:

— И воду и солнце лешегоны захватили, а нам одни шишебарники оставили.

У лешегонов тучные сенокосы, поляны в лесах, где они сеют добротный лэн, и в полях унавоженные жирные полосы. По весне, когда густотой прут зеленя, из сотни полос выберешь полосу лешегона.

Голодаевка, однажды, решившись, собрала сход, думая подать в суд на лешегонов, но старшина Ветлугин веско и резонно отрезал:

— „С сильным не борись, а с богатым не тянись!" Поняли? — и приказал бросить мечты о тяжбе. Малозе-

мельные, зависимые от лешегонов, голодаевцы, работавшие исполу на их землях, с тех пор накрепко завязали рты.

В сенокос ударил пожар, пол-Раменья — как корова языком слизнула; раздоры забыли, подались на тракты за милостыней. Влезали в долги, обстраивались, сгорели вновь, затянув на шее туже петлю долгов.

Уполосовав покрепче обвисающие под рубахой животы, остались коротать зиму бабы. Голодаевцев узнавали по голубизне глаз, квадратам лаптей на дорогах и мотням холщевых сум.

Стриженные под горшок, с веерообразными бородами, с медными обветренными лицами, они были настойчивы и шумны.

У голодаевца на гайтане крест-складень за пазухой, кремень и огниво для забавы по вечерам и кистень в передке саней для лихого гостя. Ездили они одиночкой, в отличие от лешегонов, сбивавшихся в группы.

Лешегоны были степеннее в походке, тугие у них огрудки шей и неторопливая речь. Голодаевцы привечали прохожих ночлегом, но не кормили — сами ложились спать натощак. Лешегоны кормили до одури, но вслед за прохожими в окно выкидывали и посуду. Так и повелось, что Раменье ежегодно горело, обстраивалось и вновь горело, сажая после пожара избы, дворы и клети вплотную, как бабки в забое. Пожары приходили будто половодье, — мало чему учили раменцев. Сбирались по осени, объезжали села и веси, прося на „погорелое“, строились громоздко, топорно и невесело. А так как пожары были часты, то и промысел нищенствовать стал у раменцев исконный, и раменский тракт прозвали „Бродяжьим“. Шатня годами по чужим людям приучила раменцев к ловкости, укрепив за ними поговорку:

— На ходу подметки режут!

Нищенство некоторым пришлось по сердцу, приучив к легкому труду и непоседливости.

В летние дни изнывали на аршинных полосках, ломая ссохшиеся суглинки немудрыми сохами, и гадали, куда по осени поехать бродяжничать. Скородили землю сбитой нас-

пех в березовую вязку бороной, взращивали в ольховой колодке зерно, снимали мусорный урожай. А осенью в гололедь, выбив гулкими цепами тощее, прижатое к узкой стрелке колоса, невесомое зерно, готовились в отъезд.

Оставаясь домовничать, бабы без мужей глупели и, томясь желаниями, грешили с заходящими ночевать странниками. Это несло „прибыль“. И медленная кровь Чуди заволоцкой мешалась с истоками разных кровей.

Обозревая появившегося на свет наследника, отец тщетно иногда пытался восстановить в памяти черты неродовитой семьи. Но „прибыль“ была в наличности, и ее с натяжкой признавали за свою. И летом, когда ребят ватагой распускали по улицам Раменья, проходившие мимо удивлялись:

— Откуда это такая прорва ребят всех мастей?

Но случалось и так. Уезжал раменец осенью — мерять чужие большаки — холостым, а весной приезжал с женой. Тогда сбегались гуртом изнывавшие от безделья молодухи и в сотни глаз изучали приезжую.

Принимали, — входила ровней, а то выводили на большак и, легонько стукнув в загорбок, говорили:

— Катись, бабонька, от греха подале, неровен час — супружница законная твоего хахаля сковородником рот набок тебе своротит!

Несмотря на такие оказии, раменцы все же жили в согласии. Гуляли скопом на свадьбах, дрались, сворачивая скулы, и в одночасье мирились.

В селе появлялись пятистенки (подавали православные сносно), отслаивались новые семьи, вызывая восхищение в соседних деревнях:

— Вот продувной народ эти лешегоны! От земли не отстают и деньгу зашибить могут. Все, как один, по пятистенку сгрохали, а ведь, кажись, как и мы — на одной земле живут, пням молятся... Лешегоны, а подишь-ты!.. — говорили соседи и упрекали себя за неподвижность, за неуменье посмотреть людей и себя показать.

Петр Вертнев ходит осторожно, будто не касаясь земли, и во всех его движениях чуется настороженная поступь

зверя. Он костист, суховат и излишне тороплив. От сельчан Вертневы держатся особняком. Это замечают Петру, и он, осклабив хищный рот, говорит:

— А что с ними мне — ребят крестить, что-ля, народ-то поганый уж очень, дружбы вести не с кем! Ты с им за милу душу, а он норовит в карман тебе наложить, — так то...

Зная эту черту замкнутости Вертневых, деревня их сторонилась, избегала, и за-глаза, в насмешку, звала „огломонами“.

Петр знал этот послух о нем и, усмехаясь, отмахивался.

— Пусть чешут языки!.. А мне и наплевать, у табашников ума разве занять?..

Петру нравилось напоминать о родственности их, Вертневых, с кержаками-скитарями, когда-то зашедшими на север. В праздники после обильной выпивки у него появлялось намерение рассказывать об истоках вертневского рода.

— Марковы у вас? — громко и возбужденно спрашивал он и отвечал: — А спросим, кто они таки? Да здешние, тут живут, тут и окачурятся. Трехперстники и матюжники, а отец ихний вековечный бобыль. Бывало, с осени запряжет клячу и ну колесить по деревням. Наберет кусков, сухарей насушит, и жрут их, как свиньи, всю зиму. Вот и воспитал ребят, пять дуботолов, а они его теперь в баньку загнали, снохи понедельно кормят, вошь его источила и одежина на нем сопрела. А когда-то он с ними возжался, „лунушками“ звал, а эти лунушки ныне как с кулака на кулак учнут попихивать — только голову держи. А почему это? Сам виноват, легкий труд любил, к баловству приучал. Меня вот охаивают за нрав, а я скажу: большак в доме — первое дело. Веду семью, как отец вел, зажму — сок течет! У меня не засти в глазах, а то возжой поучу. По одной половице ходи, на другую не гляди, взглянешь — кнут помянешь... Слово мое мертво... Прикажу, руками пни копать будут. Вот я каков есть!

Слушатели, пяля глаза, осовелые от крепкого пива, поданного в полуведерной ендове, участливо поддакивали хозяину:

— Это ты верно, Петр Иванович, угроза в дому главное; чуть только спустил вожжи — и дом рассыпался! — А про себя думали: „Галман! А кого учить-то? Сам ведь четвертый в доме...“

Петр, заражаясь горячностью, продолжал:

— А меня спроси — кто мы таки? У отца пять братьев было, и все жили вместе, ни на шаг один от другого. Семья в тридцать человек собиралась, а допреж под пятьдесят была, да разогнали власти — как старообрядцев, што-ля? А почему держались? А то, что страх был перед отцом. Вон дед Луку уздой отдул на виду всей деревни, так он даже и не пикнул... А как молодыми при нем гуляли? Жили в курной избе. Топилася по-черному. Дров на жаровню набросают средь избы и греются. С полатей на улицу волоковые окна. Надо ино на посиденки сходить, сестрам и шепчут: „На мое место навертите крутку из тулупа и положите!“ — А сами через окно, на крышу. Обратно заутро вертайся. Да норови, пока старик не встал. А вставал он рано. Село спит, а он поля обежит, огороды прохудившиеся подтычет, мужиков начертыхает вдосталь, и всех, кого надо и не надо, поднимет. Лукашка, дяденька мой, клопенок был, семь годков ему не было, и тот вставай. Раз сам встал с постели — пусть никто не спит. Зато и жили жирно. По тридцать лошадей в зиму ходило в извоз в Урень, на Вашку, Питер. Спроси, чьи кони и упряжь лучшие были? Все скажут: вертневски! На постоялом дворе сотни возчиков кормились, а кормились так, как иной на пасху у себя дома не ест. Без белого хлеба за стол не садились. Амбары с овсом годами стояли, на всю волость хватит. Сено исполу три деревни на нас косили по Югу и Сухоне. Крепко жили, — так не живать. По пятку неезженных жеребцов кормились в стойле. Масла — залейся. Коровы — холмогорки. Овцы курдюшные. Поросята курносые. Ну, а как только дед сковырнулся, все, как онуча прелая, и расползлось. Ваньке, старшему, выделили часть, он в город подался, трактир открыл, спился и в тюрьму попал. Матюшка, тот в Сибирь уехал, тоже как в воду канул. Симаха отделился, своим домом зажил. А Лука вот тут осел, после смерти

отца, мать и меня с сестрой прибрал. Ему ехать-то некуда — холост он. Ну там железная дорога извоз убила, половниками многие сделались, землю богатенькие дяди за собой закрепили, жизнь-то она так и снизилась...

Раменяне, изучившие вертневскую манеру рассказывать о минувшем, иногда, лукаво посмеиваясь, приставали к Петру:

— Дак, гиш, извоз отец держал? Рассказал бы еще разок об этом!

Если слушатель был внимателен, Петр воодушевлялся, и речь его затягивалась часто за полночь, усыпляя собеседника, но только стоило ему заметить, что гость, скучая, зевает, сердился, сухо и неласково упрекал:

— Трепач ты, я вижу, вот што. Коли тебе наплевать на мои слова — и не слушал бы! — и, обиженно махая руками, добавлял: — Грамотен шибко, своим умом жить хошь! Нет, я скажу, какие люди исстари были, так мы их и ногтя не стоим!

Закончив обличенья, вставал с лавки, давая понять об окончании беседы.

Пожар, уничтоживший летом дом Вертневых, поставил Петра перед необходимостью выехать за подмогой на тракт.

Сухо шмурыгая носом, дядя, горбатый и проворный, успокоил:

— Не ты первый, не ты последний. Съездишь — не рассыплешься... Жизнь жить — не поле ехать: всего испытать придется. Да и то говорят — от сумы да от тюрьмы не отказывайся!

Отбывая вслед за голодаевцами на Бродяжий тракт, Петр, прощаясь, загадочно сказал матери:

— Домой жди не ранее весны, заеду подальше!

Мать, подперев голову уткнутой к щеке рукой, предупредила:

— Смотри там, худых людей оберегись, неровен час обворуют!

Лука усмешливо заметил:

— Чудачка, пра, чудачка! За милостыней едет, а воров боишься!

Баба, не отвечая, уничтожающе смерила горбуна строгим взглядом серых, глубоко запрятанных глаз и, мелко крестясь, поднялась с лавки.

Петр домой прибыл поздней весной. Дороги уже протаяли, храня кое-где оловянные плеши наледи, скованной заморозками. Боча оглоблю с окрашенной под фуксин дугой, кобыла втащилась на двор и легла.

Старуха мыла пол; услышав скрип саней, выбежала в короткой безрукавке с завороченными до колен юбками и, нето от испуга, нето от удивления, присела на скрипучую лесенку крыльца.

Петр, заботливо подхватив под локоть, помог выйти из саней женщине, снял шаль, — и перед Марфой предстала плотная, невысокого роста девушка. Приезжая приветливо улыбнулась старухе, как знакомой, карими выпуклыми глазами и зарделась в румянце.

Заметив изумление матери, Петр, бухаясь в ноги, поспешно выпалил:

— Маменька, люби её и благословляй, в жены хочу взять!

Марфа, независимо оглядев молодую, распорядилась:

— Обожди со свадьбой-то, лошадь хоть распряги, задавится ведь!

Туго двигая горбом под полушубком, прибежал Лука, и кобылу, подтягивая за хвост и чолку, поставили на ноги.

Скашивая фиолетовый глаз на старуху, лошадь пошлепала ба́рхатными теплыми губами и оклемалась. Горбун принес в решете кусков, она, давясь, хватала их, не жуя (зубов не было), и приветно глядела на молодых.

Марфа, оставив лошадь, вспомнила, что сын ждет благословения и убежала в избу. А утром у колодца соседки исходили злостью в невозможности подробно узнать тайну, окутавшую дом Вертневых. Напрасно бойкая Скребетиха, прозванная „сарафанной почтой“, божилась бабам, будто она видела Марфу, благословлявшую молодых: ей не поверили.

По вечерам бабы слонялись около дома, подтягивались к заслюденному в рисунчатую крапь окну, — молодая не появлялась.

Молодую Вестневых увидели в сенокос. Она шла, вооруженная граблями, под охраной свекрови, грести сено.

Бабам понравилась затейливо расшитая в рукавах и воротнике рубашка молодой и клетчатый модный сарафан.

В паужен они собрались у затененной березы, на полосе Скребетихи, с намерением разобрать досконально достоинства молодайки. Взросшие немудрый век в лесу, в лешегонской стороне — бабы, споря до хрипоты, так и не могли определить, из каких будет молодая?

Тогда колченогий Никифор Кобчик, прослышав бабий галдеж, подходя сообщил:

— Баба у Петюни зырянка, выходит, таких я видал. Рубахи у их с вышивкой в заслон, в-во!.. — и широким движением выбросил руки.

Сгрудившись вокруг Никифора, бабы томительно и подробно, перебивая друг друга, спешили выспросить о зырянах. Никифор, кичась знанием дела, держал баб в напряжении, медлил, плотно усаживаясь на поросшее мхом окружье сгнившего пня. Узнали бы бабы-раменянки тайну, но над полем неожиданно нависла туча, пошел дождь, и все разбежались сбирать в копны сено.

Женитьба изменила характер Петра, привязав его к дому.

Когда в первую осень Петр остался домовничать, соседи язвительно заявили:

— Во как зырянка к юбке его прикобенила! Ногой двинуть не хочет!

— Верно боится, как бы без его чужие дяди ее не огуляли...

Зимой Петр с дядей ежедневно пропадал в лесу и, возвращаясь домой вечером, привозил пару гладких, как восковые свечи, бревен.

— Строиться задумал! — судачили соседки.

— Для бабы, вишь, изба старая не по ндраву пришлась!

И верно, весной за околицей, отступив на почтительное расстояние от гумен и большака, плотники заложили сруб.

На глазах села день за днём вырастал рыжий пятисте-

нок. Петр возился тут же с оранжевыми сутунками, наводя рубанком глянец. Дом рос медленно, и только к рождеству верхь зарубок на фасаде перешагнула римскую цифру десять. Рядом, из тонкомера, горбун рубил баньку. Улыбаясь безбородым лицом, он мечтательно про себя соображал:

„Не полажу с Петрухой — и угол готов“.

Новый дом от гумен отделил овраг, где лениво дренькал серебряной цевкой ручей. Через овраг поставили столбы и на расшивины уложили доски. Мост вышел на-славу.

Сельчане, видя это, терялись в догадках:

— Мост соорудил, а для ча? — и высказывали предположения:

— Видать, с соломой мимо села не хочет ездить, али боится, как бы его милую кто не сглазил.

И впрямь, на зависть всем вырос вместительный пятистенок Петра. К мосту примкнул двор с взвозом, по которому в зимы на поветь можно было завозить корм для скота.

Крышу украсил Петр резным коньком. Двор и пристройки обнес тыном. А когда по подзору цветасто прыснула веселая яркость индиго, даже старики вышли поглядеть на затейную стряпню Петра.

Точеная решетка балкона отливала фуксином, соперничая в цвете с изумрудом луга. Зевласто пялили деревянный рот крепко скроенные ворота. Черно чеканились на бели столбов чугунные кольца для коновязи.

Почесывая заросшие до глаз, бородатые лица, старики посовещались и в голос сказали:

— Н-н-да, крепонько построечку заложил! — и пожалели о том, что сорвался выпивон по случаю новоселья: старуха не любила сборищ.

2

Молодая через год затяжелела, и в ночь на пасху, когда кривой звонарь Вавила ухнул к службе, съедаемая болью, ушла родить в горницу. Там было просторно, и хрустел можжевель на ободранном, до лоска песком, полу. Даже стены мыли щелоком, и было свежо и приятно, и стояла ломкая в ушах тишина.

Анна, тревожно охватив руками полосуемый болью живот, присела на лавку. Где-то за стеной дробно и редко бил, подвывая, великопостный колокол. Холодная испарина пота обдала ей крупный лоб, и зудливые мурашки озноба сползли от спины к лопаткам.

Охая, добралась до кровати и испуганно оглядела темный хвост хлынувших из нее вод. Сухая отстойная перша заложила ей глотку, мешая дышать.

Пылающий квадрат печи, топившейся в кухне, желтым столбом падал на дорогу. Пожалела: „Не доходила до праздников!“ — и отчаянно закрутила головой от жестокой, склещивающей живот боли.

Волна дикой рези, идущая от сердца, снова полоснула настойчиво тело, заставив прикусить до крови пересохшие губы.

Ширя от боли глаза, сползла на пол и выкрикнула стонущим голосом:

— Ой, лихонько! умираю!

Домовничал Лука, безмятежно грея горб у печи. Тонкими, как плети, руками подвертывая сползающие подштанники, он кинулся к снохе. Поднятая подмышки, Анна сникла в пол на оседающих, будто ватных ногах и, скрежеща зубами перекошенного рта, закачалась из стороны в сторону. Лицо ее обезобразил страх, а в прорези смутно белеющих зубов синел закушенный от боли язык.

Укладывая взлохмаченную голову бабы на подушки, горбун плаксиво и тревожно закричал:

— Грех-то какой! Все как на зло в церкву ушли!

Тело Анны угрожающе сводили конвульсии и пугающе дыбился сарафан. Горбун стоял рядом беспомощный, растерянный и виновато лепетал:

— Ну потерпи, подожди, можа легче будет!

Трясясь нервной дрожью и мелко суча ногами, баба исходила в крике. Тогда Лука оставил ее и, чертя руками осклизлый пол, вывалился на улицу. Вокруг церкви, бросая пугливые блики от свечей, с пением шла толпа. Лука, буравя толпу, растерянно спрашивал идущих:

— Наших тут не видели?

Они оказались в самом хвосте, чинные, с тонкими, как ржаные соломинки, свечами в руках. Тряся челюстью от приливающего страха за оставленную роженицу, Лука зашумел:

— Домой скорей! Баба рожает!

Ветер, летящий мимо, холодил Луке горб, но он не чувствовал его дыхания и первым вбежал в избу.

Привели сухую, востроносую, с суетливыми движениями бабку, и горбуна оттерли в сторону. Розовые ноги Анны, бесстыдные в своей прелести, сводило приступами боли, красивое лицо было искажено отчаянием.

Петр стоял рядом, гладил голову жены. Сплошной воющий крик полошил тишину избы. Кусая до боли распухшие губы, заламывая за голову обессиленные руки, Анна стонала, и мерклые зрачки ее глаз таили непередаваемую боль.

Не желая слушать выкрики жены, Петр убежал на улицу и встал у затененного хлева. Вошел он осторожно, неслышно, призванный матерью. Его встретила бабка.

У бабки озабоченно помигивали мутные в залохматевших бровях, точно вылизанные глаза. Руки, покрытые полосами крови, вздрагивали от страха.

— Никак не разродится, — говорит она Петру и скользит изморщиненными руками вдоль боков. — Руки приложить надо!

Тогда Петр сбегал за ременными вожжами, укрепил их якорным узлом на брусе полатей и, поднеся на руках мучительно орущую жену, подвесил ее, как на качели. Налитая здоровьем туша жены выглядела в таком виде жалкой и смятой. На голове в копне взбитых волос рдели, будто чужие, пунцовые, прижатые к затылку уши. Стараясь не ступать на жгут волос роженицы, бабка суетливо захлопотала. Чтобы ободрить жену, Петр, подойдя, опустился на залитый кровью пол и нежно поцеловал ее в лоб.

Мокрые от слез щеки Анны вспухли, покрылись пятнами, как у старухи...

Когда рассвело, Анна не кричала, слабо дергая головой от перекручивающих тело приступов. Ремни были спущены, и ее отнесли к печи.

Петр, громыхая ведрами, побежал за водой и от колодца услыхал сверливший тишину дома вскрик ребенка.

Непередаваемая радость налила доотказа сердце Петра, захватив буйным восторгом тело.

Оплескивая порог, он машисто вбежал в избу и кинулся к матери, укачивающей на руках звонко орущий комочек мяса.

Бабка мелко дергает острые локти, топчется на месте и, как будто нечаянно нашла копейку, кричит громко и испуганно:

— И другой есть!

Осклабив от прилива нежности скважину рта, горбун заботливо принимает на полотенце близнеца. Бабка, не отрываясь, копошится и, оборачиваясь, злорадно выкрикивает:

— А на закрепу — третью, — дочку!

Тон дополняющих слов у старухи спокоен, будто речь идет о вещи, которую приобрели по случаю и не знают куда приткнуть.

Петр, точно завороженный, шагнул к бабке и принял сверток.

Анна теперь лежала спокойно, смежив припухшие веки глаз, и на белом полотне подушек смутно белело точно иссеченное мукой лицо.

Розовая девичья грудь обнажена и дразнит темным соском. Скользя взглядом по отягченному страданием лицу жены, Петр, подходя, тихо и участливо спрашивает:

— Ну, как тебе, лучше?

Она молчит, подняв высоко неподвижные, будто рассеченные брови, и холодные зрачки глаз жгут в упор. Петру становится страшно за жену, он склоняется на колени около постели и бормочет:

— Золотко мое, тяжело тебе, а?

Крупные ее губы иссыхают от жара, она перекатывает распаленную голову по подушке и хрипит:

— Пить — горю!..

Вода играюще булькает из глиняного кувшина.

Отрываясь, тихо и плачуще Анна отвечает:

— Петруня, тяжело мне, кажись, помру!

Участливо оглаживая ее холодеющий лоб, Петр успокаивает:

— Пройдет, мое золото, все ведь кончилось!

Умерла она под вечерний реденький гул колоколов тихо и безмятежно, не издав стона, повергнув в неизъяснимую печаль Петра.

Сдав тройню детей на попечение матери, в лаптях, поскони, с белой котомкой сухарей, Петр ушел странничать.

Возвратился он через пять лет, поседевший, пыльный, с глубоко запавшими глазами, и встал на хозяйство. На предложение матери о женитьбе он не хотел отвечать, загадочно и глуповато улыбаясь застенчивой улыбкой. Тогда, видя решительность сына, старуха отошла в сторону, направив все внимание на внучку и вызревающую в невесту дочь — Густю. Сыновья незаметно крепли и зрели, соперничая один перед другим в росте. Оба они сходили на Петра голубой медлительностью взгляда, сухим складом фигуры. Один был кряжист, коренаст, крепко скроен, второй хил, тонколиц, слаб.

Петр, подмечая это, говорил:

— Никон бутуз растет, потому что первый, а Мирошка худой, заскребышок как есть...

Дочь, русоволосая, скуластая в мать, с золотушной головкой на тонкой шее, пугала Петра.

И когда она умерла от тифа, Петр, облегченно вздыхая, заявил:

— Не живет — не мается!

Похоронив мать, которую также свалил тиф, Петр женил старшего сына, взял в снохи красивую дочь мельника.

Молодая принесла с собою два воза всяческой рухляди, чем несказанно удивила раменцев.

Оглядывая затейливо расшитые петушковой вязью полотенца и браные скатерти, бабы, покачивая головами, восхищались:

— Скажи, рази не золотые руки у невесты? Смотри, как нарядно все это сделано.

Петр, деланно улыбаясь, оттирал баб от стола и, оглаживая бороду, довольным тоном говорил:

— Мы и сами, чай, с усами. С серебра едим, с росы моемся...

Бабы знали говорливую цветистость речи Петра и, поджимая оборочкой губы, отходили в сторону.

За младшего взяли женой приемную дочь лавочника Першина. Смуглая, стройная, имеющая гордую осанку, ловко умеющая вести цифирное хозяйство отца по лавке, она понравилась Вертневым.

Впиваясь в черные пронизывающие глаза снохи на смотрах, Петр откровенно объявил свату:

— Нам такую сноху позарез надо! В грамоте мы все — как слон в библии!

Но замкнутое, хитрое лицо свата не оживало от вкрадчивых слов. Уклончиво и неопределенно он заметил Петру:

— Считать-то пока неча, сват, — и кстати намекнул о том, что не плохо бы открыть торговлю Вертневым.

Петру претило торгашество, и он стер выдвинутый довод свата, стараясь думать о новой снохе: „Горда, видно, в отца“, — и завязал узелок в памяти о необходимости напомнить об этом сыну.

И в первый же день после свадьбы сказал:

— Обуздать бабу, Мироша, надо, а то закусит удила, понесет, не уломаешь!

Сын не ответил и, удивляясь замечанию, усмехнулся.

— Горшки, тятя бы, считал лучше...

Петрову бороду давно тронула седина, и лучики морщин испетляли крупный лоб. Однажды, вглядываясь в дешевое зеркальце, он сказал разочарованно сестре:

— Э-гэ, да меня пылью мучной обсыпали! А я-то жениться было хотел! — чем несказанно рассмешил снох.

Было это в праздник, снохи наряжались, чтобы итти на гулянку, и, хитро улыбаясь, сказали обе в голос:

— Да ты еще, тятенька, куды хошь, — хоть теперь тебя за стол и на свадьбу!

И впрямь, старик был еще в соку, разве раздался в плечах, ходил тверже, степенней, да обратился к палке.

Прохаживаясь по широкому затравевшему двору, он подмечал следы разрушения.

— Вода не стоит — течет, а как дому не порыжеть, — пожаловался он сестре и, сбивая тупой палкой прыснувшие по бревнам мхи, про себя добавил: „Была бы жива Анна, этого не допустила б!“

Сестра не отозвалась. Он скучающе тер седеющий угольник бороды и тоскливо смотрел на полный подрагивающий стан девушки.

Было тихо и замкнуто в заросшем крапивой и бурьяном углу двора, и никто не отвечал Петру на его глухую жалобу...

Ветер, срываясь, низал редкие перезревшие овсы, прижатые к земле проходящими дождями...

Серое, с колючей щетиной жнивья, стлалось поле, замыкаемое перелеском. С выгона доносился звук колокольца. Вертневы дожинали хлеба первыми и на дожинки сошлись всей семьей. Квадрат полосы быстро таял, обжинаемый с двух концов. За жницами тянулись гуськом рядки снопов. Жесткие нити перезрелого овса хрупко трещали под зубчатым полукругом серпа. Ветер нес хруст срезываемых овсов и сухую пыль дорог. Разминая от частого наклона спину, старшая сноха спросила Густю:

— У тебя спина не болит?

Девушка поглядела в поле, где ветер крутил оранжевый лист, сорванный с багровеющей рябины, и ответила:

— И не говори, разломило всю!

Ей хотелось убежать туда, где никли красные сережки рябины, лечь на спину и, мечтая, глядеть в выкрашенное голубизной небо.

Завязывая сноп, она добавила:

— А под вечер прямо моченьки нет, ломит и ломит...

Сноха, свивая связку для нового снопа, сожалела:

— Мужикам хорошо, — не жни, не майся!

Забирая исколотой рукой колючую повитель овса, она припомнила разговор мужской части дома.

Бородатый и шумливый Никон, косясь на баб, за широким, как улица, столом говорил Петру:

— У нас и своей работы невпроворот, а тут еще бабью на уме держи. Выжнут и одни!

Зато в сенокос братья от первого вскрика петуха до огней гнулись за косьбой, не ища поддержки жен. Только во время уборки сена туго иногда приходилось бабам. Петр стоял на зароде и, потрясая новыми граблями, задорно цыкал на снох:

— Бабы — ф-ьют! — и, махая рукой, выкрикивал:

— Беги! беги! беги!

Блестящие тройчатки в руках Никона взметывали пласты сена в полкопны, и пара лошадей еле успевала подвозить.

Манера норовистого свекора донимала снох. Они суетились, показывая тороватость и проворство, а оставаясь одни, развязывали язык до корня.

— Только без него и свет видим! — жаловалась старшая соседкам, боязливо оглядываясь, не наблюдает ли за ней свекор.

Между тем полоса подходила к концу.

Бойко играя высеребренным полумесяцем серпа, бабы дожинали клин. Рядом с Варварой, женой Никона, широко расставив жилистые, с взбухшими волдырями вен, ноги, жала бобылка Груня. Еще по весне ей Вертневы одолжили семян, и она теперь отжинала долг. Варвара приотстала и через плечо оглядела Груню. Невозмутимо и резво согнув язычком соломенный жгут, та ставила, встряхивая, сноп „напопа“. Легкость, с какой баба жала, точила сердце Варвары злой завистью.

„Как железная! — подумала она и, облизав сухие воспаленные губы, оглянулась на длинный рядок снопов, тянувшихся за Груней. — Сорок годов отмахала, а по полсотне суслонов в день гонит, когда мы трое кое-как за ней держимся!“

Груня, будто предупреждая Варвару, бойко, как своя, закричала:

— Нажимай, бабы, нажимай! Конец скоро!

Варвара, прикусив оттопыренную нижнюю губу, заметила:

— На всяком деле так, из всех печеней бьется, как бы нас опередить! — и, раздосадованная, ухватилась за повод мысли: „Уж не в свекровь ли ты, бабенка, к нам метишь?“

Думать помешала Дарья, закричавшая звонко и весело:

— А вот и с дожинками вас!

Обернув, рыжим от времени, фартуком правую руку, Груня захватила горсть овса, прибрав ее левой, и выдернула одинокую, обжатую со всех сторон прядку. Уложенные в рядок прядки легли, ощерив крючковатые черные корни с комьями засохшей земли жалко и обреченно. Варвара, наблюдая за действиями Груни, негодовала:

„Сама, все сама делает, а ведь мне бы надо, — я старшая! — и окончательно закрепила подозрение: — Свекровью, вот бог, будет!“

Небольшая бородка овса, оставленная на полосе, гнулась под налетающим ветром. Забирая прядь в горсть, Груня завернула ее, переломив, и закрутила витнем. Прядки овса полукружьем обложили одиноко торчавшую на полосе бородку.

Встали чинно рядом и, редко крестясь, припоминали выпавшие за временем слова молитв. Сноп домой несла Густя.

У перелаза баб встретил сухой, нескладный, с косящими глазами пастух Игоша и, сплевывая обсосанную цыгарку с вытянутых трубочкой губ, спросил:

— Выжали?

Густя посмотрела на парня насмешливым взглядом и, не оборачиваясь, прошла мимо. Снохи, супясь, молча следовали за ней. Идущим с дожинок говорить было нельзя.

Сноп, который несла Густя, первым увидел Мирон. Он встал поперек сеней и, намереваясь искусить тетушку, спросил:

— С гостем тебя?

Девушка звонко рассмеялась и, оттолкнув крупную руку бородатого племянника, проскочила в сени. Петр возился в кухне, плел вершу и, суча босыми ногами, восторженно заорал:

— Девка, спать будем! Чего дверь-то расхлебенила!

Он по-ребячьи был рад овсяному гостю полей.

Спустя неделю за утренним чаепитием Петр объявил властно и громко сыновьям:

— Луга ястреблевские открылись, пора бы скот на отаву гнать.

Самовар, обливаясь бирюзинками вскипевшей воды, отвлекал внимание сыновей.

Петра бесило невнимание и, распаляясь гневом, он вдруг заорал:

— Вам я говорю, али нет, неслухи?

На крик Петра из горницы выскочила Груня, не успев опустить завороченные ломтем юбки.

— Индо переполохал всю, — сказала она низким голосом, обминая сборчатый подол сарафана. — Потише будто сказать не может!

Варвара, сидевшая у края стола, поперхнулась пирогом. Резкость Груни опалила ей лицо. Сыновья молча слушали отца, уже спокойно что-то рассказывавшего о сенокосе.

Тревожно оглаживая припухающую грудь, Варвара обиженно подумала: „Во как она на его покрикивает! Да так и сыновья-то еще не смеют!“ — и, отодвигаясь, любезно уступила ей место.

Потирая рукой умиротворенное лицо, Петр жаловался:

— Да как же не кричать-то на вас! Ровно вы сегодня оглохли...

И рассказал, ткнув пальцами по направлению горбуна:

— Пошел утром на Чешиху ось к телеге вырубать и уморился, на него орамши... Вижу едет он, пересекает гарь, а догнать не могу. Бегу за ним, кричу, хоть бы хны! Так три версты на себе ось и пер из лесу.

Почесывая подбородок, Лука сознался:

— Это бывает со мной. Заложит уши, рядом кричи — не слышу, — и, оправдываясь, приткнул словцо: — Да я тебя и не видал!

Варвара, процеживая мутную жижицу чая сквозь редкие зубы, про себя сказала о свекре: „Ни черта тебе не доспеется. Прошлый год, как на мельнице в пожар два воза хлеба у нас захватило, так быстрее лошади обернулся...“

Тугая ее грудь под плотным, обжимающим в талии сарафаном, шевелилась от волнения, как котенок в мешке.

Никон, сидевший рядом, больно нажимал сухим коленом на полную икру ноги. Стараясь не выдать себя движением, она отвела ногу и, вспыхивая, мысленно укорила мужа:

„Весь в папеньку, охальник! Где бы меня ни видел, только и норовит облапить“.

Утром, провожая до околицы сестру, угонявшую в луга стадо, Петр, остановив девушку, предупредил:

— Там смотри, около девок держись! — и замолчал, придумывая, что бы еще сказать. Слова, застрявшие в мозгу, не выгуливались. Помахав у носа согнутым пальцем, он толкнул Густю в загорбок, любовно предупредил: — Ну иди, да смотри там у меня, коли што, — и, круто повернув, ушел в дом.

Девушку от обидных слов брата налила горячая кровь стыда. Оглядываясь ему вслед, уходившему на село, она про себя сказала:

— Вот еще нашелся! Будто сама не знаю!

Мимо, тяжело переваливаясь на коротких ногах, пропылил, кося тяжелым глазом, бугай. Девушка вздохнула, забыв недавнюю обиду, и, взмахивая хворостиной, подогнала отстающую телку. Раздвоенные у основания копытца четко отпечатывались на тропинке...

Затравевший луг к ночи доотказа напоила роса.

Пришел вечер и мягко стер очертания редких кустов ивняка. На берегу озера, где приткнулись загоны для скота, зажегся огонь и зазвенела радостью девичья песня. Коровы отдыхали, громко отрыгивая жирную жвачку, блестя из тьмы теплыми глазами. У крутого обрыва, идущего рядом с загоном, рвался ветер и плескалась река. Побуревшие за лето плетни хрустели, разбираемые для костра. Девушки сбились гуртом вокруг огня и под вызвень гармошки заводили песню. Тоскливая, она ложилась на сердце грустью и усыпляла, как шум дождя.

Напиталася колодинка
Колодезной водой...

Косой стяг света скупо падал на полупритворенную дверь избушки, где переодевалась Густя. Песня, залетев, всколыхнула, и она докончила припевом:

Напрималася молоденька
Я славушки худой...

От углов и нар избушки тянул крепкий настой свежевыдоенного молока и девичьего пота.

Заворачивая хрустящие от лоска юбки, Густя припомнила утренний разговор с подругой.

„Чего это она меня Сенькой Полуяновым упрекнула?" — подумала она и живо представила себе длинного, вихлястого парня с угреватым и неприятным лицом. — „Только што богат! — перебирала она доводы в пользу Сеньки, — а так — брр!" — и брезгливо крутнула головой, представив себя целующей его угреватое лицо. — „Васька Скребетихин лучше!" — дополнила она и задумчиво присела на нары.

Скрипнула дверь.

Василий, просунув голову, спросил:

— Можно?

„Легок на помине", — хотела было начать она, но для вида строго и пронзительно закричала:

— Куда прешь, не видишь рази — не оделась?

Но в дверь, отстранив Василия, уже вошла соседка Густи, Лиза Першина, и обняла ее за покатые плечи.

— Одеваешься?

Непокорные волосы не вились в жгут, и Густя притворно пригрозила:

— И ты тут! Иди, иди, не мешай!

Вытолкнув ее за дверь, Густя устрашающе предупредила стоящего у двери парня:

— А ты не подходи, поколочу!

Вывернув трубкой язык, Лиза, поддразнивая, придержала дверь.

— У-у, злюка! Сеньки нет, так вот на мне зло срываешь!

Накинув крючок, Густя подошла к зеркалу. Цветная рамка платка выгодно оттеняла ее круглое с задорными ямками лицо.

Любуясь собой, Густя про себя сказала: „Хоть первый год иду, а не хуже посиделок наших буду!“

Лиза Першина досиживала третий десяток лет, изнывая от скуки по долгожданному жениху. Напрасно гадала она в святки, и на новый год мать рубила дорогу у соседей в надежде переманить сватов, — не было суженого. Лиза по утрам подмечала блеклую кожу тонкой шеи и клеточки морщин на лбу, и тревога сосала ей сердце.

— Год-три румяна да белила поддержат, а там как?

Она ходила на красованье третий год, была опытна в любовных делах, хотя ребята после первой же ночи постыдно бежали, уклоняясь от ее ласк.

— Тоща! В мозоли губы собьешь! — злословили они между собой.

— Дура! — сказала Густя о подруге, — хочет в этом году кого-нибудь замарьяжить, — да только вряд ли? Дураков ныне нет. — И припоминала сватов, заходивших просить ее руки: „Троим отказали, четвертый — мой...“

Петр наотрез тогда заявил сватам:

— Молода! Успеет еще, натрет в бабах кукишкой глаза, — и прекратил разговор.

Да ее и самое пугала эта жизнь в чужом доме, у незнакомых людей. Густя знала, что после свадьбы ей придется быть отрезанным ломтем. За раздумьем опять всплыла песня:

Не ходите, девки, замуж,
Замужем худая жизнь!

„А тут хорошо?“ — спрашивал ее голос изнутри. Вспоминалось: дочь бобылки Луши, Мотря, повесилась прошлой осенью. Девушке изменил ее милый, уйдя к другой. Ожило в памяти, как глумились ребята над глуповатой нищенкой Каврой, забеременевшей на красованьи.

— Гороху наелась? — донимали они, покатываясь со смеху...

Гармонь за дверью избушки плакала настойчиво и тревожно. Подмывающая песня звала в хоровод. Голосистые девицы пели:

Заходите погулять, молодцы удалые,
Волочок перебежали ноженьки усталые...

Песня будила ночь, захватывала очарованием, заставляла вздыхать, забывать грустные мысли. Прислушиваясь к звону голосов, Густя вскочила и, широко раскрывая дверь, закричала:

— Чижика, девки, начинаем, чижика!

От огня отделился Василий и, загадочно улыбаясь, подошел, протянул руку:

— Со мной пойдешь?

Густя оглянулась на пыльные стены избушки, зарделась:

— С тобой, а то с кем же!

Расцветив лицо в приветливой улыбке, он сообщил:

— А я ребят, смотри, партию привел.

У огня плотной стеной сгрудились парни, выбирая себе пары.

Ощупывая гребень, вжатый в плотный жгут кос, девушка, мягчея от признательности, заявила:

— Ты у нас не парень, а золото!

При этих словах у Василия дрогнули руки, он боязливо оглянулся и пухлыми губами незаметно припал к ее плечу.

★

Зеленый шлейф встающей зари обтек начинающий светать горизонт. Сквозь пепельные холстины туч продрались зыбкие и одинокие звезды. Потянуло ветром, и над пыльным ложем дремотной улицы встала свежесть. Зябко поеживаясь от озноба, кроющего робкими цыпками тело, Василий вышел к увалу.

Раменье еще спало, только на насестях заливчато и ломко, перекрывая друг друга, кричали петухи.

От темной каймы пади плыли обвисающие космы жидкого тумана. Трава, выстлавшая цветным ковром двор Вертневых, мочила ноги.

Глухо и просяще визжала на ржавой петле калитка.

У конуры, уложив на сухие втянутые лапы облезлую голову, спала собака.

Осторожно обойдя выпяченное на двор крыльцо, парень подумал: „Богачи, а собаки сносной завести не могут!“

В нише окна, упрятанного под резной кокошник наличника, смутно белелась занавеска. Прислушался, затаив дыхание, к тихим шорохам утра. Стояла тишина.

Оторвался и, подтягиваясь на носках к подоконнику, прежде чем постучать, подумал: „А ну сам выйдет? Вдрызг измолотит!“

Утро было немо. Тогда он дробно, костяшками холодеющих рук звенькнул в стекло. Дом, утомленный за день, спал спокойно и крепко. Скосив узкий разрез глаз, подняла голову собака и, мягко зевнув, опять свернулась в комок.

Стараясь не шевелиться, Василий выдвинул затаенную мысль: „А ну, девка, не вола ли ты крутишь? Пускай-де парень походит, пождет тебя!“

Но шорох за притаившимся окном заставил его насторожиться. Колыхаясь, занавеска сдвинулась к косяку, вырисовав в нише окна силуэт девушки. Стыдливо натягивая на овальное плечо сползающую рубашку, она кивнула парню головой. Оглядываясь на свежий след примятой травы, Василий выскользнул в калитку, выждал. Утомленное сном лицо девушки было обаятельно. Он, привлекая ее к себе, спросил:

— А домашние знают, что ты со мной пойдешь?

Вскидывая высоко крутые дуги бровей, Густя отрицательно качнула головой:

— Ребята свечер угнали плоты под Коромыслово, а у Петюни я отпросилась...

Атласные ноги девушки оставляли на высеребренной от росы траве черный след. Стараясь попадать при ходьбе в ногу, оглядываясь на село, скрытое клочьями встающего тумана, Василий предупредил:

— Ну, если узнают, что я с тобой пошел, будет нам баня!

Поеживаясь от зябкого ветра, идущего от реки, девушка усмехнулась:

— А ты затрусил? А еще парень...

*

Около паужен, когда день тихо и неприметно сникал к вечеру, Петр, остановив Луку, занятого отделкой оси к телеге, в упор спросил:

— Ты помчи с Густей не ходил подымать?

Горбун недоуменно оглядел Петра и поджал черствые губы. Вопрос налил его подозрением. Приглядываясь к строгому лицу племянника, он деловито осведомился:

— А што тебе так приспичило?

— Да так, надо было! — уклончиво ответил Петр и двинулся к калитке.

Но горбун, любопытничая, следовал за ним по пятам и выпытывал:

— Может, я знаю!

Тогда Петр, возвратясь к телеге, сухо и пытливо глядя ему в лицо, спросил:

— Ты за девкой ничего не примечал?

Лука, недопонимая вопроса, растерянно обронил:

— Нет... а што?

Петр, придвигаясь к Луке и тряся его за плечо, спрашивал:

— Не видал, — и хорошо! — Подумав, отрезал: — Тютя божья, где уж тебе...

Горбун, накаляясь тревогой, ответил:

— У помчи на песке следы мужичьи я видел. Ночи она выхаживает с парнями, вот што! — и, дрыгнув короткой рукой, твердо добавил: — Я давно хотел тебя упредить, да не смел как-то, а она с Васяткой Скребетихиным займается.

Петр, будто вскинутый пружиной, закрутился по двору, напугав горбуна.

— И ты смотрел?! — приставал он к Луке. — Да ты хошь, чтобы ублюдков тебе на двор принесли? Кому первому-то скажут, — язвил он, — на кого поклеп понесут? Была бы, скажут, мать, этого не допустила бы, а братьям до девки ли?

Остановился, выдернул метелку шишебарника, измочалил в нетерпеливых руках и, смахнув с руки охвостки, убежал на реку.

Остыл, и, возвратясь с ведерком серебряной плотвы, преувеличенно любезно расспросил дядю о подробностях встреч сестры с парнем.

Горбун, беспомощно улыбаясь, неторопливо рассказал о том, что он знал. А вечером Петр стоял, притаившись у гумен, и ждал встречи. Темнело, и потухающий лоскут зари подплывал кровью.

Чертя сухой воздух, звончато, будто струна, гудели шмели.

На селе скрипел журавель, и тоненько мекал отбившийся от стада теленок.

Сдержанность покидала Петра. Срывая пересохшие под ветром былки, скручивал их спиралью и втаптывал в землю. Казалось, прошла вечность с момента, как он узнал о связи сестры и парня.

— Да кого? — прошептал он глухо и возбужденно. — Кого она нашла? — Никонианца, табашника, матюжника, без воли моей нашла!

Стиснул зубы и, сжимая до немоты пальцы в кулак, отполз в сторону.

Злость наливала его нервозностью с головы до пят. Глухо и настойчиво колотилось сердце.

— Эх, м-матери нет...

А ночь шла, принося прохладу и четкие удары часов. Тягуче и отстойно расколол тишину вечера гуд колокола.

На тропке, идущей к гумнам, хрустко заломалась трава под ногами. Придерживая нетерпеливой рукой бешено бившееся сердце, Петр отполз к овинному лазу и замер.

В подовине было глухо, пахло мышееединой и тленом. Сквозь узкие щели неплотно припадающих досок крыши маячило звездное небо.

Две тени будто вросли в белесый квадрат лаза, бесшумно опустились на жесткую солому, зашуршавшую при их движении.

Петра отделяла от сидящих куча обмолоченных снопов, заготовленных для сечки. Было слышно, как хрустела тревожно и податливо солома и неслось порывистое дыхание. Звонкий и сочный звук поцелуя точно уколол Петра. Он вскрикнул и пружинисто вскочил на ноги.

Парень будто сник, падая на землю, — ожидая удара, подтянул к животу подсеченные страхом ноги. Петр страшно

выругался, но с ударом медлил, точно раздумывал, кого ударить. Поднятый, как мешок, крупной рукой Петра, парень вылетел из лаза, вскочил и, яростно круша ногами перестоявшую ботву картофеля, умахнул в поле...

Растерявшись, Густя осталась лежать, не успев заворотить юбок. Петр хотел уйти — и не смог...

Испуг сковал Густе движения; не в силах бороться с братом, она оцепенело, остановившимися глазами посмотрела ему в лицо, сгорая от стыда, — и овин поплыл мимо ее сознания, стирая время и пространство...

Связь Петра и Густи открылась через месяц: горбун застал их на сеновале.

Вскрикнув, будто от удара, он в смятении сник в пыльный пол повети. Очнулся, вскочил и, гремя горбом по ступеням лестницы, скатился в сени.

Был престольный праздник, из дома все ушли на гулянку, и Лука до вечера, обмирая от испуга, молился в куту. Вечером сыновья, возвратясь домой, узнали о поступке отца и, не торопясь, с расчетом избили его жестоко и страшно.

Всю ночь Петр, подтекая бордовым хвостом крови, валялся в сенях. А утром его, недвижного, как бревно, обмыв, внесли в кухню и уложили в кут.

Он что-то мычал, тупо вращая оплывшими, в багровых подушках век, глазами и указывал на икону.

К вечеру он умер, не объявив своей воли сыновьям и не успев покаяться попу.

Смерть Петра всполошила все село, но сыновья рассеяли подозренья, свалив вину на упитанного и взбешенного бугая, имевшего обыкновение кидаться на людей.

Вырядив в убогое платье, положив котомку сухарей, Густю отвезли до ближнего монастыря.

Она сидела всю дорогу чинно, не шевелясь, не смея поднять затененных поволокой стыда глаз на горбуна.

Недвижно перегнулись на белом от тоски и стыда лице брови и спрятались в строгую рамку платка. За мысом забелел скит, и встала четко и разяще резная калитка.

Выпуская девушку на берег, горбун хлюпнул взбухшим носом и тихо попросил:

— Прости христа-ради за обиду и помолись там за меня, грешного!

Она, не отвечая и не оборачиваясь, прошла, угнув дородный стан, к монастырю.

А вечером, катая желваки скул на сухом лице, Никон предупредил домашних:

— У меня чтоб об этом ни гугу, чуть только кто вякнет, — пришибу!

Цепенея, выслушали домашние норовистого большака и закрепили мысль:

„Этот не шутит!“ — и с этого дня ушли в себя, захоронили накрепко, навсегда в подвал памяти историю падения и смерти двоих Вертневых...

3

С заморозками пришла шуга. Она выросла в одно утро ажурной каймой у берегов, а к вечеру, когда сиверко гнал по взбухшей реке барашки волн, понесла тонкие, просвечивающие пластины льда.

Никон с вечера подшил валенки, готовясь итти на ловлю рыбы. На короткий черен надел молот, исправил сачок и, подозвав горбуна, занятого починкой хомута, предупреждающе сказал:

— Заутро поране идем!

Ночь спал плохо и проснулся от толчка в бок. Перед ним стоял Лука, и тяжелые впадины его глазниц пугали чернотой. В избе стояла мягкая полутьма.

Надев полушубок, Никон затянул ремень и вышел на двор.

Деревня вставала. В низких проулках бились негромкие вскрики петухов. Над крышами изб серыми космами мотался дым.

Никон молча шел за горбуном.

В поле было пустынно, и рвал стремительный ветер. Выветренная земля горела под испепеляющим дыханием мороза.

Низкий поземка гнал черные хлопья пепла с прошлогодних огнищ, не занесенных снегом.

На кумачевом, будто вымытом кровью горизонте, дымясь, тлели кучерявые облака. Серебряная лента Сухоны чернела, почти до половины затянутая наледью.

Спешились, и пока Никон разводил огонь, горбун пробовал лед. Звук молота по льду был схож с лопающейся на огне бутылкой. Сухой, отрывистый, он резко рвал тишину утра. В пробитую воронку, фыркая, зажурчилась вода. Лука отскочил вбок, как бы выжидая удара, взмахнул сачком, и будто литой из серебра крупный лещ забился в сетке.

Сачок, выбитый из рук Луки, оскользаясь, поплыл по наледи. Лука, ковыляя, бежал, неуклюже расставив руки, и кричал:

— Никошка, рыба, да б-большущая!..

Веселый и шумливый, к ним пристал Мирон, и к полудню захваченные на ловлю корзины заполнились серебряной плотвой. Никон хотел было уже итти домой, как увидел подходившего к огню Тарутина. Тот шел не быстро, сопровождаемый увязшим в валенках мальчонкой.

Тарутин был тучен, и темный пиджак, подшитый волчьим мехом, плотно облегал его крупное тело.

Оленьи пимы на ногах в глубоких резиновых галошах четко печатали следы на рыхлой паутине снега. Шапка из молодого оленя смыкалась с плотно обрамляющей лицо черной бородой.

Горбун, издали заметив приближение человека, толкнул Никона в бок:

— Глянь, барин на ловлю вышел, — и, вставая на ноги, как бы приветствуя подходившего, низко закричал: — Поздно, рыбку-то всю мы уж тю-тю! — и потряс молотом...

Тарутин, широко улыбаясь, глядел на реку и стремительно мчащиеся торосы. Льдины тюкались в берега, издавая звон как бы разбиваемого стекла.

Мальчонка, поджав сачок к ноге, мечтательно выглядывал из-за спины барина.

Голос хозяина вывел его из задумчивости:

— Хахалка, подь-ка сюда!

Пухлый розовый палец с обточенным круглым ободком ногтя показывал на корзины, полные рыбы.

— Видишь, сколько они наколотили, а мы? — И брезгливо перебирая пальцы, захватил головастого с красным ободком подъязка.

Никон, опустив руки, молча наблюдал, как неторопливо шевелятся при спокойных движениях барина холеная борода и блестящие брови.

— Мелконька, зато добра, — сказал, нарушив молчание, горбун и морщинистыми руками встряхнул корзину.

Тарутин пыхтя присел на корточки и, пристально шевеля крупными губами, вглядывался в режущую глаза блесну улова. На квадратной его голове от волнения шевелились редкие волосы, когда он снимал шапку.

Хитро сощуренные глаза горбуна пристально изучали движения склонившегося Тарутина.

— Пораньше бы надо, Николай Силыч, — вкрадчиво сказал он, и как бы вскользь, обернувшись, незаметным движением приказал Мирону подать другую корзину.

Породистое холеное лицо Тарутина таило зависть.

А горбун плел тонкое кружево слов:

— На утро рыба к берегу кормиться идет, и бить ее куда сноровнее...

Вставая, Тарутин пожевал черный ус и резко двинул мускулом лица.

— Чего ты меня утром не звал? — накинулся он вдруг на мальчишку, — ведь тебе я караулить отход велел!

Голос от раздражения неприятно отдавал сипловатостью.

Мальчик, втягивая голову в плечи, тупясь, глядел в землю. На покрасневшей от мороза его щеке багрово рдел рубец — следы барского стэка.

„Вояка! — восхищался Никон, — солдатская кровушка играет“. И припомнил парад, устроенный по случаю проезда через город какого-то великого князя.

Горбун, продолжавший следить за Тарутиным, снял накипь раздражения с его сердца: придвинув ногой корзину, он как бы неприметно обронил:

— Николай Силыч, да что за счеты, возьми хоть все, авось и нам хватит.

Тарутин, мягчея от признательности, забыл вспышку гнева, сказал:

— Изволь, возьму, только чур ко мне на уху приходить!

Когда он уходил, крупная его туша будто давила след. За ним утонувший в шапке мальчонка тянул на санках корзины.

Когда они скрылись за поворотом увала, Лука, качнув головой, проговорил:

— И завидущ! А сам зайчишки не уколотит, ни рыбешки поймать не сумеет.

Хитро сощуренные глаза Мирона следили за лицом дяди.

Раскидывая потухающие головешки костра, Мирон возразил:

— Ему и ловить не надо, при капитале человек — все, что хочет, может себе позволить. Денег у него хоть лопатой греби...

Смех горбуна заставил его оборвать речь.

— Как же, держи карман,—уже серьезно сказал Лука,— были, да сплыли денежки: вторую дачу, говорят, продавать хочет, одно имение на поверку осталось.

Когда они шли домой, Никон, поровнявшись с Лукой, спросил:

— Вот бы купить? Лесу сняли бы уйму, а землю под пашню — клек земля.

Лука, постукивая при ходьбе рукояткой топора по валенку, почтительно справился у племянника:

— А ты бы удочку закинул, можа, в кредит поверит...

Сухие брови Никона при этом сдвинулись, выдавая задумчивость. Он крупно зашагал, в молчании обдумывая предложение горбуна.

Усадьба Тарутиных была в двух верстах от Раменья, и еще с большака был виден зеленый конус крыши.

Отец Тарутина занимался в городе кожевенным делом, держал лабазы, водил в барках до Вологды соль, скопил денег и в одну из зим, глотнув сивухи, умер.

Сыновья Тарутина учились в столице; старший, Вадим, готовился к адвокатуре, а младший, Николай, по окончании кадетского корпуса, — к военной службе.

Падение с лошади на скачках в манеже решило участь Николая, и он вышел в отставку.

Ему улыбалась служба благодаря связям отца-миллионера, но он счел это невыгодным и, разделив состояние с братом и сестрами, пустился в кутежи. Перебесился к тридцати годам и вдруг затосковал, пресытившись прелестями города.

Известие, что кутила и повеса Тарутин покупает имение в глухом лесу Вологодской губернии, удивило губернские круги, где вращался Тарутин.

Одни считали это блажью жены Николая, томной и изнеженной вдовы городского головы Зенькович, другие намекали, что страх остаться нищим гонит Тарутина в болота, культивировать картофель. Весной, с первыми пароходами Николай Тарутин прибыл в Раменье. Имение принадлежало Грибанову, крупному мануфактуристу, проживающему в столице и сдавшему присмотр за землей управляющему-немцу.

Имение было в забросе. Немец, занятый лечением мигрени, мало следил за тем, что делали на полях работники. Доход с имения почти весь уходил на содержание псарни Адама Адамыча Клейста. Вот почему Грибанов с легким сердцем передал через своего поверенного в Вологде купчую на владение имением Тарутину.

Супруга, подурневшая за последние годы от непрерывных благотворительных вечеров и флиртов, одобрила затею мужа:

— Николай, а ведь, действительно, не так плохо в этом медвежьем углу. Город хоть за сто шестьдесят верст, но при желании знакомые летом к нам всегда наехать могут.

На другой же день по приезде Тарутина посетил Дюдин. Рябой и сумрачный человек, носивший с собою запах махры и лука, понравился еще с вечера барину рассказом об охоте.

Усаживаясь на дырявый стул, он, точно знакомый, вдруг сообщил:

— А половников надо бы барин того, — и сделал резкое движение рукой по направлению к двери.

Не дав оправиться от изумления Николаю Силычу, заговорил:

— У меня книжица одна така имеется, и вычитал я в ней — „половничество — это узаконенный вид рабства“.

Колючие его брови при этих словах нахохлились, стараясь придать лицу торжественный вид.

— Вона ты как! — вскипел Тарутин и хотел пустить матерное слово, но осекся, увидев входившую жену.

Мужик, небрежно кланяясь барыне, продолжал:

— Ты, барин, обо мне брось худое думать, не социалист я и не бунтовщик, а для твоей пользы, — и, усевшись плотнее на стуле, заговорил внушительнее: — Нет, ты подумай, кому это интересно работать на твоей земле из трети или половины? Жнут и думают: „Сноп себе, сноп барину“. Собирает мужик сено и на пальцах прикидывает: „Копна мне, копна барину“. Вредные от этого мысли идут, рознь между мужичьей братвой сеется...

— А ты как хочешь? — кричит Тарутин, вскакивая с места, провожая взглядом уходящую жену.

— Да так! — отвечает Дюдин, — половников попросить о выходе, самому стать за хозяина и нанять батраков, да не руками землю работать, а машинкой, машинкой, она все провернет и на усталь не пожалится...

— Вот как! — ворчит Тарутин, присаживаясь на лавку. — Это, значит, ферму устроить ты предлагаешь?

Зеленые глаза мужика, оживляясь, блестят:

— Вот именно, в точку самую что ни на есть попали. Ферма на манер Ермании, о них книжица у меня есть...

Утром, за чаем Тарутин сообщил жене о предложении мужика. Она, облизывая пухленькие пальцы, по которым стекало бордовое варенье, промямлила:

— Коленька, видит бог, я ничего не знаю, а посоветовать могу: делай так, как душа твоя тебе подсказывает.

„Туфля, а не жена“, — обиженно подумал Тарутин и

встал, чтобы выйти на двор посмотреть завезенные из кузницы повозки.

Дюдин на дворе пробовал ход окованной телеги и, увидав подходившего Тарутина, удовлетворенно сказал:

— А штучка хороша...

Николай Силыч, останавливая его, заявил:

— А твои слова я продумал, пожалуй, ты прав.

Восхищаясь решительностью барина, мужик утвердил:

— Вот это по-хозяйски!

После этого разговора Дюдин быстро и прочно вошел в доверие Тарутина. Он нанимал батраков, следил за посевом, всходами, косьбой и уборкой хлебов.

На праздник ему барин подавал при встрече два пальца, кредитку и рюмку водки, степенно откушав из которой, он говорил:

— Здравствовать тебе сто лет, барин, — и, низко кланяясь, уходил в прихожую.

Смерть Дюдина при переправе весной через Сухону искренне огорчила Тарутина.

— Такого преданного человека мне не найти, — жаловался он жене и встал сам на хозяйствование.

Или он не знал подхода к батракам и по-книжному воспринимал сведения о земле, — хозяйство пошло через пень-колоду. Скот дох, обжираясь дурной травы, машины ломались, и непрестанные дожди гноили сено. Он не раз видел пьяным рослого дюжего батрака Корму, поставленного на охрану корабельной рощи.

После пьяной ночи Николай Силыч угрюмый бродил по просекам и считал лысые пни.

В подмогу пастуху он взял оставшегося после смерти Дюдина его сына Харлашу, а рощу решил продать.

— Руки она мне вяжет, — жаловался он жене, — имение-то я могу в пригодный вид привести, а рощу отказываюсь, народ вороватый, надоело по мировым ездить из-за каждого бревна.

При переговорах в городе он охотно согласился предоставить рощу для запродажи на сруб одному из лесопромышленников Архангельска.

Рыхлая его супруга, закатывая глаза, охала, вглядываясь в красные, будто кровяные сгустки печатей на договоре, который заключил Тарутин на сруб первой делянки.

— Коленька, я уеду в город, я не могу тут быть, полную жизни и расцвета рощу срубить — ведь это ужас...

— Сентименты! — резал Тарутин, — не срубишь — мужики увезут, а то петуха пустят, да и хранить хлопотно. Продать — и квиты.

Через неделю делянка была снята, а лес, освобожденный от коры, лежал на складах. Сдать новые делянки для вырубки по договору Тарутин отказался.

— Подумаю еще! — сухо ответил он и решил просить Вертнева помочь продать рощу.

Ему казалось, что он сам легко может продешевить.

Навязав на веревку камень, укутанный в рогожу, Никон чистил трубу, когда его позвали к барину. Выбирая веревку с приставшими хлопьями сажи, он быстро приказал Варваре убрать и пошел к Тарутину. Мимо него из кабинета, подбирая под платок выбившиеся волосы, проскочила горничная Марьяна. Никон сладострастно улыбнулся и согнутым пальцем постучал в дверь.

Тарутин полулежал на диване и усиленно дымил. Приподымаясь на локте, он кивнул утвердительно головой и произнес:

— А, Вертнев, садись, ты мне нужен!

Выпростав крупные руки из карманов халата, он, помолчав, начал:

— Вертнев, ты мне помочь обязан, а поможешь — в долгу не оставлю!

Никон, склоняясь вперед, почтительно погладил бороду:

— Николай Силыч, будьте без сумленья, мы завсегда к вам с большой охотой приходим. Чем могу, тем и услужу.

Придвигая пепельницу и выбив нагар из трубки, Тарутин продолжает:

— Рощу я, Вертнев, нарушить задумал, чорт с ней совсем. Человек я мягкий, караульщики худые, всю разворуют. Тебя прошу, возьмись за это дело. Если на

сруб покупателя не сыщешь, — сруби и сплавь, — озолочу тебя.

По лицу Никона плывет деланая вежливая улыбка.

— Зачем это, Николай Силыч, мы и так для вас постараемся, что будет от вашей милости, тем и довольны будем.

Вечером, выпив, он хвастается перед братом и дядей:

— Мы люди не гордые. Знам, как и к кому подойти надоть. Вот мужик я, вахлак, корову через ять пишу, а барин призвал — на тебя, гит, Вертнев, вся надежа. А кто он есть? Барин, купецкий сын. Отец мильенами ворочал. Сам в чину был не малом, с богатыми людьми на ты обходился, а меня пригласил.

Горбуна разморила водка, он клюет головой, ерошит жидкие волосики на голове и поддакивает:

— А ты не возносись этим. Самое последнее дело, когда человек возомнит о себе. Простым будь, а там от барина-то и собери толику.

Он наморщивает узкий лоб и разливается жидким смехом:

— Хи-хи-хи! Барин-то, он один. Супруга-то ево года два-три протянет и скопылится. Марьяшка девка там, да о ней разговор короток: катьку в руки, паспорт в зубы — и катись. А ты к барину поближе, да поближе — глядишь, землю он откажет. — Будто от мучительной истомы он закатывает глаза и стукается горбом о стену. — А там хуторок, своя пашня. Сенокос. Выгон. Скот хороший, — хозяйство на виду у всех.

Он склоняет над столом угловатую голову и долго лопочет во сне:

— Выгон — скот — хуторок — к-красота!

Заутро Никон на вороном с Тарутиным объезжает рощу. Серый и сумрачный встает день. Крупный налетающий ветер бросает на дорогу хлопья снега. Могучие, опушенные куфтой снегов, убегают далеко леса.

Никон, отпрукивая лошадь, вылезает из кошевы и, оглядывая барина, будто умиляясь, говорит:

— Красота, а не роща, денег скажу, барин, достанем уйму!..

Тарутин, морщась, соглашается: и жалко леса, а надоело возиться, да и время неспокойное...

Кряхтя вылезает из саней и идет за Никоном просекой. После осмотра рощи Никон с головой входит в дело. Почти все соседние села согнали на вырубку. Даже лешегоны, не охочие до отхожих заработков, пришли просить работы.

В тот год по Бродяжьему тракту ни один из раменцев не выехал за милостыньками. Собрав порубщиков, Никон объявил им свою волю:

— На год работой, ребята, мы обеспечены. К весне надо рощу целиком снять, а весна и осень — на сплав. Наем и расчеты поведу я, барин до этих делов касаться не будет. А меня вы знаете. Я лодырства не потерплю. У меня кто не за страх, а за совесть робит, всегда помощь найдет, кто слонов гонять хочет, пусть в другое место подается.

Он мнется, обминая твердые кругляшки новых валенок, и сумрачно озирает стоящую в молчании толпу порубщиков.

— Еще предупреждаю, — помолчав, говорит он, — что воровства не потерплю. У меня чтоб ни полена хозяйского не пропало, — замечу, гнать буду. Ну, а теперь идите с богом, начинайте!

Он снимает высокую плисовую шапку и крестится на яркую грушу церкви, блестящую меж редкой поросли. Вразброд, неумело склоняются головы полесовщиков.

На рощу партия порубщиков наступала с двух сторон. Там, где от поля прямо начиналась гряда красного леса, пошла заготовка бревен. От лиственников, примыкающих к Опоке и врезывающихся в рощу, готовили швырок.

Рыжие штабеля бревен оставались за партией порубщиков лежать высокими грудами, кучи обрубленной хвои да лысые пни.

С аршином в руках, обмусоливая карандаш, Никон ходил, обмеривая бревна, ставил клейма и выдавал квитанции. В амбаре, граничащем с домом Вертневых, открыли лавку. Варвара и Мирон отпускали товар полесовщикам.

Рыжая вывеска еще издалека чернела яркими словами: „Торговля чаем, сахаром и прочими товарами бр. Вертневых“.

Лука, посмеиваясь и подмигивая Варваре, говорил:

— С походцем там товарец-то вешай, с походцем, грех народ трудовой обижать, потом и кровью окроплены у них денежки-то.

И вечером, когда торговля кончается, он остается в лавке, зажигает лампу-молнию и долго и старательно устанавливает рядом ушастые гири.

— Так-то лучше, — бормочет он, возясь с сверлом и высверливая на каждой из гирек разновеса дырку. — Курочка, она по зернышку клюет и сыта бывает. Золотничок к золотничку, глядишь и фунт набежал.

В записной книжке, куда вносят записи товаров, выдаваемых в кредит, он округляет копейки в гривенники.

— Для счету вернее! — возражает он Мирону, который застает дядю за приписыванием копеек. — Грамотеи-то мы липовые, — ворчит он, — семь копеек да восемь копеек, в спешке-то оно и не сочтешь вскоре, а денежка, она счет любит, копеечка рубль бережет.

Расчеты с кредиторами он ведет сам, и когда у заборщика возникает сомнение в записи сумм, он, досадливо облизав тонкие губы, говорит:

— Милай, а рази ты про себя меточки не ставишь? Ставить надо, — просит он. — Приходишь ты с своей записью, а я с своей, если разносчет, возьмем и пополам разломим, — я не гордый, бери, наживайся на мой счет.

В очках, плисовой шапке, он из-за стойки кричит проходящим мимо лавки:

— Нилыч! когда должок-то похеришь?

— К Николе! — отвечает тот, не останавливаясь.

— М-м... долгонько! Добры люди процентики бы взяли. А мы по-христиански, надо в долг — возьми, бог с тобой...

К ненастью он делается угрюм, трет озабоченно поясницу и ворчит на покупателей:

— И такая рыба тебе плоха? — упрекает он мужичонку в широком азяме с клочьями мочальной бороды,

тыкая ему под нос хвостом сайды. — Такую бы барин не погнушался съесть, а ты нос воротишь!..

— С кислецой? — переспрашивает он и всплескивает руками. — Вот угоди на них, — одному она солона, другому малосольна, этому с кислецой подай. — Двигает упрямо горбом и ворочает, ожесточенно грохоча, пустые бочки. — Бросим все, закроем, пусть в Аргуново ходят за товаром, там вам дадут в долг, как же!

Потом с красными, как гусиные ноги, от мороза руками принимает мешки с овсом, привезенные порубщиками в обмен на товары.

— Сыроват! — говорит он и дует с ладони овес, любуясь, как зерно золотой цепочкой льется в мешок.

Мужик протестует:

— Лука Прокопьич, верь богу, с овина молочен, откуда сору быть, мало того — веяли, еще баба на решете подсевала.

Лука неодобрительно изрекает:

— Бог-то — бог, да не будь сам плох, народ ныне жох пошел, недосмотри — мякины заместо овса всыпят.

Стога сена с лугов Сухоны высоки, как дома, ометами усаживаются на гумне.

Ходит около них с граблями, подбирая клочья, унесенные ветром:

— Работнички! — негодует он. — Им бы лишь с плеча спихнуть — и все, а хозяин ходи, подметай за каждым.

Тарутин, узнав о торговой деятельности Вертневых, предупредил Никона:

— Старику скажи, чтобы сам за всем смотрел, баба по недомыслию, а Мирон по молодости обидят мужиков, с жалобой пойдут. А я не люблю этого.

Лука, которому Никон передал слова барина, сказал с сердцем:

— Сжалился волк о жеребенке, оставил хвост да гриву. Половников своих пустил по-миру, а туда же, указывать думает!..

И Никон, махнув рукой, прекратил разговор.

Лука заполнил скупленным овсом амбары, а от приема сена совсем отказался.

— Не могу больше! — объявил он, — и так уйму денег в это дело вложил, а не знаю, свои выручу ли. Ныне овес и сено в урожае, будут ли весною его брать — неизвестно...

При этом он горестно вздыхает, и от вздоха шевелится на тугом горбу хрусткий, как короб, полушубок.

Никон же на порубке разворачивается во-всю.

Сплав швырка он решил вести наймом в собственных баржах.

Собрали плотников и на берегу Опоки заложили две баржи. Ночью борта барж, не обшитые досками, казались Тарутину скелетами каких-то чудовищ. Никон торопил постройкой.

Морозы как на зло стояли жгучие, и доски при бортовании лопались, будто струны на балалайке. Тарутин содрогался от деревянного звона, будто что-то обрывалось в нем самом.

Никон утешал его в такие минуты:

— Дело это сноровки требует, а поэтому и мастера здесь уважать надо. Сам в задор полезешь, они норовистее делаются.

Подводы с кокорами для новых барж тянулись чудовищной гусеницей. Барин, тяготясь предчувствием, гулко шлепал задниками туфель по вощеному полу кабинета и ворчал:

— Целую верфь открыли, как бы гробы нам не построили...

Никон, захваченный успехами стройки, не очень-то наблюдал за расчетом рабочих. Денег не давали месяц, и кое-где в группах уже поднимался ропот. По десять рублей, выданных в виде аванса в начале работы, были вроде подачки. В отсутствие Никона рубщики гуртовались у костров и вели разговоры. Особенно негодовал при этом голодаевец Ланча.

— Чорт на попа не работник! — убеждающе говорил он. — У меня, може, кишка кишке кукиш показывает, а тут изволь до весны за посул работать.

Ланчу поддерживали односельчане голодаевцы. Ванька, прозванный Лопта, суча тощие кулаки над головой, запальчиво орал:

— Ко мне на дом чуть не ежедень соцкий ходит, подати требовать. А где, спрашивается, я их возьму? Ползимы проработал, и денег не дают. А он грозит: самовар, гит, опишу! Здорово, дядя! А может, я больной, у меня от жареной водички и облегченье приходит, — без самовара нельзя...

Ноздрин также поддерживал Ваньку:

— Нанимали — что-те соловьи пели. Сколь выробишь, за то, говорят, и деньги получай. Я вон повалил четыре сотни бревен с семьей, а мне пуд гнилой сайды из лавки за это сунули...

— Товар навезли, сам чорт его не жрал, — кричит Ланча. — Рыба сгнила, сахар желтый какой-то, да и тот подмочен, калачи — зубы выломаешь. Не лавка, а обдираловка сущая.

— Ребята! — предложил Ланча, — слушай меня. Придет седни сам, спросим у него денег. Если не даст — к масляной работу бросим.

— Бросаем! — орет за всех Лопта. — Я первый — пусть он тогда с барином сам рубит.

Осторожный Симон Кува, оставаясь после таких сходок вдвоем с соседом Чиркиным, убеждал его:

— А ты не лезь первым — ты выжди. Заработанное — оно, брат, не пропадет. А то, вишь, чем спугать хотят: „Работу бросим!" Да бросайте! Уйдите — на ваше место завтра же новые придут. Богатому мужику хотят они укороту сделать. Да не удастся. Я тебе говорю: не горячись. Ждать можно. Што у нас хозяин — разве лаптями торгует?

Расходы на закупку канатов, гвоздей, болтов съели все сбережения Вертнева. Пошел к Тарутину. Тот, удивленно вскидывая блестящие брови, выслушал Никона.

— А разве они теперь и деньги требуют? — все еще удивляясь, спросил он.

— Вот именно, — ответил Никон. — Я и сам не ожидал,

да ведь вшивики, водохлебы, у них у любого больше десятки в кармане не водилось, разве им что вдолбишь...

Он задумался. Тарутин уже серьезно спрашивал:

— Ты можешь послать брата в город? Письмо я одному купчишке напишу, — он выручит.

На утро пильщики не вышли на работу. Они сидели у огней, разведенных около землянок, и поджидали Вертнева.

Никон пришел к полудню. Завидев его, высыпали на дорогу и молча следили за его нервной и торопливой походкой.

Сухие комья снега лежали на дороге. Впереди толпы, отделившись и выставив уполосованную в синюю онучу ногу, стоял высокий рыжий парень.

Когда Никон подошел ближе, парень оскалил рот и сказал, снимая шапку:

— Ярославскому щеголю, светлому козырю, подайте христа-ради милостинку.

Грубый намек оскорбил Никона. Он, вспыхивая, оттолкнул руку парня и строго спросил:

— Паясничаешь, балаган тебе тут?

Толпа, прыснувшая было смехом, задержала улыбку. Парень, загасив дерзость в глазах, вошел в толпу.

Хмурые, опаленные ветром и морозом, стояли стеной рубщики и пильщики.

Никон пробежал по кругу, который сомкнулся, и спросил толпу:

— Почему работу бросили?

Толпа сжималась, точно стягиваемая обручом, и молчала. Никон, возвышая голос, крикнул:

— Вам, олухи, говорю, почему не работаете?

Будто трава под ветром, сзади зашелестел сдавленный голос:

— Денег не даете!

— Что? — заорал Никон, срываясь с голоса. — Откуда вы это узнали, что мы не хочем денег давать, сорока на хвосте принесла? Мало работали, потому и не даем. Не за что еще.

— М-мало! — опять зашуршал тот же голос. — А мне одному чуть не сотня приходится, можа, тебе это раз плюнуть, а мне капитал...

Вразброд толпа заговорила:

— Оно известно. Чем живем, какие у нас достатки? Мы чужих не желаем, нет, ты нам свои подай!

Укрупнив шаг, Никон круто забегал по кругу.

— Да кто это нуждается в ваших грошах? Если хотите, хоть сейчас всех разочту. — И упрекнул: — А еще на два года работы вам сулил! Теперь вижу, сваришь с вами кашу! Жди!..

Одинокий голос убеждал:

— Да мы тебе верим, как не верить, а все же сумленье берет. Два месяца работаем, а о деньгах и помину нет.

Голос Ланчи среди тишины ломко и молодо выкрикнул:

— Зубы заговариваешь! Нет, раз что заработали, подай нам, а то бастуем!

— Что?—рявкнул, останавливаясь, Никон.—Ну-ко, кто это там ляпнул, покажись!

Толпа, скрывая сказавшего о забастовке, притихла.

— Бунт! — заорал визгливо Никон, намереваясь бежать из круга. — Знаете, что за такие дела будет? — грозил он. — Кутузку не нюхали?..

Толпа ожила и заговорила:

— Один сбрехнул, а все в ответе, не резон это...

— Я это сказал, я! — закричал ломкий голос, и, отчаянно работая локтями, Ланча пробился через толпу.

Молча низали они глазами друг друга.

Задыхаясь, точно от удушья, Никон крикнул:

— А-а, вот ты какой, ну хорошо, мы с тобой поговорим!

После ухода Никона толпа не расходилась до вечера. У огней шли споры. Ванька Лопта, овладев вниманием рубщиков, говорил:

— Работать не будем! На работу не пойдем, — утвердил он. — Да я — да мне, — петушился он, хватая себя за птичью грудь. — В город, коли что, поеду. Аблаката найму. Думают, они богаты, так с ними и говорить нельзя. Ну, мы

сами не лаптем щи хлебаем. Добьемся! Отдай наши кровные и баста!

Раздобыл бумаги, огрызок карандаша и, примостясь на пенек, объявил:

— В сторону отойди, свет не засти, прошенье писать буду. К мировому, а он им наломает хвост-то...

Вечером Никон пришел с Мироном. Он был возбужден, шел, броско кидая ноги. Не доходя до толпы, он выдернул из кармана объемистый бумажник и крикнул:

— А это что? Не деньги? — и хвастливо хихикнул: — С потрохами всех куплю. — Загребая к себе рукой, приказал: — Подходите все, кто желает, и получай полный расчет.

Лопта, успевший несколько раз прочесть прошение рубщикам, комкая его в кулаке, закинутом за спину, подходя, сказал:

— Никон Петрович, я первый говорил и говорить буду, до победы работать согласен и не уйду. — Повертываясь молодцевато на одной ножке, он закричал: — Кто остается работать — сюды ко мне!

Несколько человек тронулись с места, но не подходили. Отчаянно загребая руками, Ванька закричал:

— Дружнее подходи, на ведро хозяин дает!

Толпа поодиночке отслаивалась. Ланча и пильщики остались на своих местах, не двигаясь с места. Никон, решительно подходя, объявил им:

— Ну, налетай, расчет получай!

Заутро, еще по рани, в роще снова звенели топоры. Ланчу вечером пригласил на пару слов урядник и, усадив в кошеву, умчал в волость. На место уволенных пильщиков встали новые.

Лопта, узнав об аресте Ланчи, сказал:

— А я ему не говорил: горяч — остынешь?.. А ему хоть бы хны. За таки дела ныне тоже не хвалят. Седни он тут бастует, а завтра про царя что-нибудь споет. Слава богу, и без него у нас политикантов тут не мало. — И добавил: — А мне вот все едино. Хоть в лоб, хоть по лбу. Подумал я, подумал, то ли бастовать, то ли работать. Да

вижу, просит человек, почему, думаю, не уважить. Он, Вертнев, на поверку всего один, а нас, барахла, хоть пруд пруди. Ну, я и понял, — утверждающе сипит он, — что хорошая голова сто кормит, а худая — свою одну морит.— Шмыгнув носом, добавляет: — И решил я потрафить такому человеку и не перечить.

Когда он идет от огня, ему плюют вслед рубщики и говорят:

— Мозгляк — сума переметная...

Роща, сжимаемая с обеих сторон, день ото дня тает. Мирон ездил в волость за вербовкой дополнительной партии рубщиков.

На стройке закладывали шестую баржу. Ребра шпангоутов день за днем обрастали сосновым мясом досок.

По бирже тянулись высокие штабеля бревен. Бревна подвозили по специально устроенной ледяной дороге. Бревно на санях, перевесив комель, послушно ложилось к барьеру.

По команде: „Толкай бревно!" — отталкиваясь от блестящей поверхности льда, стремглав летит под уклон.

Лука, наблюдая за подачей с биржи бревен, восхищенно охлопывая бедра руками, кричит:

— И до чего умно придумано! Кра-с-сота! А то лошадка трусила бы с парой бревнишек, а здесь, ф-фьють, и готово!..

Он при этом складывает в трубочку тонкие губы и издает свистящий звук.

Он уже с неделю возится на гумне, перекладывая сено, пересыпая его крупной и бурой солью.

— С пылью сенцо-то! — сообщает он Мирону, — гнильца взяла, сдобрю вот, и скушают лошадки, да как еще скушают, облизнутся.

При этих словах у него по лицу плывет сладкая улыбка, будто он сам ел это сено.

Продает он сено пестерями, тщательно обирая торчащие соломинки.

— Сенцо-то ныне кусается! — с состраданием говорит он, поглядывая на кошелек покупателя.

Усиленная работа в лесу подобрала корм у рубщиков, и они валом валили за кормом.

Лука цветет в улыбках и заранее подсчитывает, сколько он может получить барыша за овес. Вечером после молитвы долго возится с коленкоровой книжечкой, щелкая счетами, водя пальцами по ровной колонке цифр. Потом гремит ключами пузатого комода, раскладывает деньги в стопочки, обертывает тряпочками и пакует в мешочки. Пересчитав доход, он встает на молитву. Молится чинно, сжав коленки ног (разожми — бес шмыгнет), и двуперстно мотает рукой.

В горенке, отделенной перегородкой от чистой горницы, стоит полумрак, пахнет ладаном и мятой.

За печкой свиристит сверчок и вразброд, срываясь с хода, тикают часы. Лука сам выстилает постель, отгоняя молодух.

— Дух бабий пойдет, бесово наваждение поселит! — ворчит он.

Бабы, хихикая в рукава, обходят мимо, когда он в длинной белой рубахе и портах, молясь, ковыляет задом. Им это сходит, потому что старик не слышит. Дымный, древний лик иконы занимает в это время его внимание. Краски на иконе потухли, а от младенца, сидящего на руках у богородицы, осталась одна голова.

Когда Луке предлагают дорисовать, он плюется и сердито режет:

— Разве это доска какая-нибудь? Нет, это святыня, и тот, кто ее рисовал, богом мечен.

На пояске он носит ложку, тщательно упрятав ее в кисет, а на черном гайтане — медный складень. Из семьи Вертневых ему следуют Никон да женщины.

Мирон, отбиваясь на заработки, научился курить; тянет и дома, выходя в сени. Пальцы рук у него продымились и пожелтели, точно окрашенные охрой. Это сердит Луку, и он, строго наморщив брови, иногда кричит:

— Табашник, никонианец, грабли-то свои хоть бы водой сполоснул, за версту табачищем разит!

В праздничные дни горбун смазывает маслом реденькие волосы на четырехугольной голове, одевает чистые

порты и уходит в церковь. У них своя старообрядческая лешегонская церковь с попом Шкодой.

Церковь деревянная, с облупленным куполом, окрашенным в фуксин. Голодаевцы зато гордятся церковью из кирпича с золотой луковицей купола. В споре поп Шкода вздымает руки над головой и торжественно изрекает:

— Бог — он безначален. Ни конца ему нет, ни краю, и во всем его дыхание. Он был прост, и ваше благолепие ему не нужно. Важно в душе бога носить,

Горбун, подмигивая влажными глазами, подтверждает:

— Золотые слова, отец Пуплий, именно — везде его присутствие есть!

Прокопий Паньшин, церковный сторож, хромой, с конусообразной головой и левша, вслушиваясь, иногда вставляет:

— А у Ренана иначе сказано...

Шкода наливается страстностью и кричит:

— Ренан, Штраус — слыхали, нет; ты жития святых отцов прочти!..

Они прохаживаются втроем, пока, пузатый и промасленный насквозь спиртом, не показывается дьякон Нетленный.

Он пришел сюда из монастыря, из глухой Коряжьмы; носит скуфью, замызганный подрясник, перетянутый в талии широким кожаным поясом.

— О чем спор? — хрипит он и, узнав, обиженно машет рукой. — Беспредметная толчея воды в ступе, — говорит он. — По-моему, делом надо бога утвердить, так сказать, практически. А то у нас в Коряжьме были такие анахореты. На чреслах вериги в пуд, власяница, акрида и мед — пища, водичка и сосновая каша. А когда помер один — сто пустых бутылок из-под коньяка выволокли. Так сказать — умерщвление плоти...

Шкода строго мигает дьякону, и тот, быстро меняя тон, говорит:

— Ну, пора, поди, и службу начинать.

Лука, оставаясь один, обходит все уголки ограды, чтобы дознать, не пришел ли вздремнуть кто-либо из прихожан.

Иногда он лезет на колокольню снимать ребят, забравшихся в звонницу.

— С толком надо звонить! — брюзжит он. — Что это — доска пастушья вам, что-ля, чай это благовест.

Во время службы он то-и-дело шмыгает в сторожку, стыдить сидящих бородачей.

— „Иже херувимы“ начали! — дребезжит он, — а вы тут базар завели.

В церкви он жжет стрелами сухих глаз женскую часть прихожан, примечая, усердно ли молятся, нет ли разговоров. Заметив ослушника, он крадучись подплывает к нему и, сложив рупором руки, шипит: „Богородица плачет!“

Каждую службу Лука ходит со сборщиками, сам дает сдачи жертвователю.

Поп Шкода любит говорить о Луке при прихожанах.

— Это адамант наш, сила и крепость им владеет несокрушенная. За веру любое поношение готов принять.

Горбуну это лестно. Скромно потупив глаза, он цедит:

— Этого я не стою. Верую, как все, по силам. Доживаю век, курицы не обидел. Я ино думаю — пусть меня обидят, я стерплю.

Сторож, прослышав разговоры Луки, замечает соседям:

— И хитер, бес! Ханжа, каких мало. Поет: „Тебе, господи“, а заместо — к себе тянет. Да он сто очков любому попу даст.

Паньшин в деревне живет недавно, после того, как в порту ему сломало на погрузке ногу. Он отчаянный книжник и говорун. Дома хранит короб лубочных книжек и на дне, в синем конверте, тощие брошюрки, подаренные проезжим политическим. Среди книг хранит засаленный листок с оттиснутой на гектографе песней. Расхаживая в ограде, иногда тянет:

> В это время мимо церкви
> Чорт случайно проходил...

Ланче, тоже работавшему три года в рыбинском порту, иногда рассказывает:

— Не верю! ни в чох, ни в грай, ни в собачий лай,

а попам услужаю. Нога, сволочь, сохнет, потом семья сам-пят. А то бы загнись она, лешегонская сторона. То ли — Волга! Народ — в ногах у них кишки: хоть тридцать пудов снесет, не охнет. Пить ли, бить — залюбуешься. И умниц много. Политиканты к ним ходят.

Узнав об аресте Ланчи, свистнул и сказал:

— Ну, раз фараонам в руки попал, оттуда не скоро вырвешься.

Ночью он старательно собрал книжки, протопил ими печку. Брошюрки сунул в щель под паперть. Урядника встретил, не моргнув глазом.

— Книжки? — ответил он, — есть, как не быть, и песню пою. Человек я бедный, ежели не петь — умирать с тоски надо. Пел и буду петь — песни эти все поют.

Грузно переступая ногами, обутыми в болотные сапоги, подтягивая свисающий в пол темляк, урядник продолжает допрос:

— С Ланчой ты о чем говорил? И книжки ему давал вредные?

— Вредные? — переспрашивает Паньшин и отвечает: — Кому как, отец Шкода и то их читал. Книги сходные — „Князь Япанча“, „Пан Твардовский“.

Он роется в шкафчике и бросает на стол несколько книжек с цветными обложками.

Урядник вяло мямлит губами, читая заглавия, и, забрав их, уходя бросает:

— Ну, смотри, коли что!

— Я и то смотрю! — обижается Паньшин. — Короб уж их проглотил, а в голове ни соринки.

Лука, встретив урядника у лавки, вкрадчиво осведомляется:

— Ну, как, не опасен?

— Книжки взял, — сипит тот, — там видно будет.

Горбун скашивает голову вбок, медоточиво цедит:

— Я и вижу, язычок у его того, подрезать надо, остренький он у него, хе-хе-хе!..

Провожая урядника, добавляет:

— Я хожу и примечаю: много балабонит человек,

и рожа ненадежная. Дай, думаю, упрежу. Порядок, вишь, я люблю.

Урядник, гремя шашкой, равнодушно шествует мимо, не отвечая Луке.

4

Хахала сегодня не по-обычному весел. Святки. Мотается паром в переулках мороз, скрипит снег под бойкими ногами девиц. По селу скопом ходят взрослые ребята, гармонь крикливо рвет воздух и частушка полощет его сердце.

В прихожей темно, воняет тестом, онучами, кислой заварной трухой. Пыхтя, рядом в углу бродит в жбане квас.

Звучно похрапывает на печи конюх Костя. Над прялкой дремлет стряпуха. У господ тишина.

В кабинете барина лениво прыгает пять раз кукушка и смолкает. Тарутин в городе, а барыня еще с вечера уложена в подушки: она зазябла, катаясь на коньках по озеру.

Хахала припоминает дерзкие шуточки о ней веселого Кости:

„Сала на четверть, а на мороз жалится! Мне бы такие ляжки—в одних портах бы гулял!“—сообщает тот озорно и бьет себя по ягодицам. Пухлая стряпуха молитвенно складывает капризные оборочки губ и указывает глазами дверь.

Вывернув полушубок шерстью вверх, Костя еще засветло уходит на село. Нос его жирно блестит, обильно смазанный сажей, и на веселом лице задорно горят белки глаз.

Хахала ему подражает, навязав кудельную бороду и напялив полушубок кухарки. Ударили ко всенощной. Кое-где в избах светляками загораются огни.

В переулках несмолкаемо гремят молодые задорные голоса.

Около бань обмят снег и чернеют сброшенные охапки пихты. Баня натоплена жарко, и через тонкую, пахнущую смолой дверь слышен легкий хруст навешенных под потолок веников.

Там засветло еще принесли стол, стулья, зеркало и свечи — готовятся к гаданью.

Харлампий пристает к партии молодежи и ходит по селу, негромко помогая в песнях. У Тарутиных тишина и сон. Барынька, разомлев от чая с вареньем, смутно вздыхает и глядит в узорную фреску обоев.

Из кухни плывет негромкий голос стряпухи, выводящей песню:

Кабы знала, не ломала
Вишенья, не вызревши,
Кабы знала, не любила
Милого, не вызнавши.

„Вишенье? Что это такое? — думает барыня. — Вишневое хорошо с утренним чаем и сдобными прожаренными булочками. А где эти вишни?“ Припоминает рассказы мужа о теплой стороне. „Где-то там“, — думает она и сожалеет, что ей не пришлось видеть этот чудесный край.

„Время уходит, — думает она, — я дурнею, уходят полученные мужем доходы на содержание каких-то свиней и жеребцов, которых выписывает муж, а она остаток дней вынуждена жить в лесу“. Припоминает сцену с мужем, когда хотела покинуть его с молодым племянником — студентом Петровской академии. Лето, сухое, полное незабываемых теплых дней.

Утром вставало из ближних рощ румяное солнце и, топясь зноем, весь день катилось по голубому небу.

Сухона безмятежно струила индиговые воды, и на ближних песчаных откосах, взлетая вверх, купались чайки.

Воздух днями чист и прозрачен, как стекло, и отчетливо видны на противоположной стороне встающие грядой пихтовые рощи.

За лодкой плетется тонкая паутинка пузырчатой пены, и разбегаются от ударов весел темные воронки.

Он в русской вышитой рубашке, в кителе, где на отвороченном борту блестят, будто золотые, пуговицы. Задорно смеется над тетушкой, которая смешно топырит пухлые, с ямками, локти в сторону, направляя лодку вбок. Белая цепь его зубов бьет ей в глаза, ослепляет. У него полное румяное лицо, голубые водоемы глаз и легкий пушок на верхней губе. Губа капризно приподнята, когда он, ска-

шивая глаза, разглядывает тетушку. От его взглядов ей жарко. Давит корсет, и нестерпимо жмет ногу узкий носок ботинка.

Лодка, не доходя сажен пять до косы, тюкается в песок. От толчка Тарутина сползает с лавки и плюхается на дно, раскачивая лодку.

Студент долго снимает ботинки, показывая белые холеные ноги, и лезет в воду; лодка у берега, и он на руках выносит тетушку. Руки его жгут ей тело будто раскаленные прутья. Она взвизгивает и как бы в забытьи склоняет к его щеке голову.

Уезжал осенью. Было раннее утро, и за садом, на тракте всхрапывали кони. Сам Тарутин не вышел провожать племянника: крупный разговор, произошедший вечером, держал его в плену обидных воспоминаний. Она с ним простилась в сенях, прижавшись щекой к его твердым губам.

Уехал...

Кукушка выскочила и пропела двенадцать. В кухне хлопают двери, и идут мягкие шаги стряпухи.

Голос ее ласков и зыбок:

— Барыня, вставайте, девка пришла.

Проснулась будто от забытья: „Да, она ведь обещала итти гадать!"

Скидывает одеяло, горячие подушки и, шаря ногой по полу, ищет туфли.

Мороз на улице щипнул ей лицо. Поежилась, втянула голову в воротник шубки: „Ах, зачем она пошла из комнаты, там так тепло и уютно". В окне зыбился свет от топившейся печки.

„В качалку бы, — думает она, — укутать ноги пледом, и к печке. Дремать под треск горящих дров и слушать смутную песню ветра за окном".

Стряхнула остатки сна и вошла в сенцы. Девка, прикорнув в углу, задремала. Дрожащие руки не могут найти спичек. Острый язычок огня свечи кривится от ее дыхания.

Скорей к зеркалу — узнать судьбу, стоящую за завесой неузнанного.

Лицо горит. Лихорадочно блестят глаза. Руки сжимают

висок. Что это с ней? Почему так неуловимо смутно в блестящем овале зеркала ее лицо? Уставив глаза в желтую точку свечи, отражающейся в стекле, она замирает...

Хахалу, который спит в бане, разморили сон и усталость. Ребята, натолкав его в загорбок, прогнали от себя. Им вольно, они взрослые, гуляют с девками, и парами убегают ворожить на росстани дорог. Костя засел в голбец и упорно изучает линии на пепле. Две толстушки и хохотуньи — дочери Ноздрина — топят воск.

Партия девок слюнявит карты, забравшись в баню Вертневых.

Идя улицей, Хахала припоминает, что у господ натоплена баня. Уезжая в город, барин до ожесточения бил себя веником. Хахала прислуживал, наливал воду в шайки, подавал белье, трубку и откупоривал бутылки.

Итти на кухню? Но эта толстая дура — стряпуха заставит щипать перья с гуся. Нет, пусть сама пощиплет, а то заставит этого вахлака и сиподуя Костю, который задаст коровам корму — и лежит весь день на печи.

Стряпухе хорошо щипать, она пух и крылья забирает себе, а Хахалке даже ножку гуся не дает пососать.

Подумав, он решительно свертывает на тропку, уходящую к бане, и, остукав ноги, входит в сенцы. Там вьется легкий дымок и щиплет глаза. Морит тепло. Под полком хрустят старые веники. Где-то у котлов, тенькая, сочится вода, падает на камни и шипит. Во сне Харлаша бормочет и ловит себя за нос.

Проснулся он от тонкого лучика света, ударившего ему в глаза. В полутьме увидел склоненную фигуру.

„Девки зашли!“ — думает он и давит дыхание. Ему представляется гибкий хлыст в зажатой руке барина. Велел запереть баню, а он не успел это сделать, и вот девки зашли.

„Трясогузки, своих им бань мало, дак погоди же, ухну я на вас!“ Харлампий набирает полную грудь воздуха, раскрывает рот и рявкает. Череном метлы при этом он решительно стучит в потолок.

Фигура, сидящая у стола, в страхе визжит и падает на пол. Потухает свеча, звенит разбиваемое стекло. Распялив дверь, Хахалка стремглав бежит по дорожке. Надо найти замок, он в кухне. В кухне тьма. В углу глухо спит стряпуха. Девки убежали ворожить. То-то завтра он расскажет ребятам, какие они трусихи: его, Хахалки, испугались!

Навстречу парню, захлебываясь страхом и ветром, бежит Марьяшка. Платок у нее сбился набок, и кургузая кофта смешно подпрыгивает на спине.

— Барыне худо! — кричит она, — ворожила она и кто-то ее испугал.

Марьяшка убегает на кухню, и вскоре там испуганно перебегают в окне блики света и людские тени. Это нарочный отбывает в город.

Въехав во двор, барин подвижно вымахнул костистое тело из кошевы и вбежал на крыльцо. Стряпуха приняла на протянутые руки доху и шапку.

В спальне сквозь спущенные шторы слабо струился зимний рассвет. От лежанки, где смятым узлом лежат женские юбки, скалит зубы сброшенное чучело волка.

Жена лежит на кушетке, и вокруг широко раскрытых в ужасе глаз стоит синяя кайма. Рядом на столе — бутылки с белыми язычками рецептов.

„Эскулапы! — думает Тарутин. — Уж и тут присосались, от тысячи и одной болезни лечат микстурой и касторкой, умучают заживо человека“.

Жена смотрит ему в глаза спокойно, будто не узнает.

Через полчаса Харлаша выкидывается за дверь сильной рукой барина, и деревянная ее челюсть захлопывается.

Плача, Харлампий поднимается, сбивает приставший снег и идет на село. Навстречу с пестерем мякины вышагивает Лопта. Он весело щурится от неяркого солнца и кричит:

— Отставку дали? М-м, плохо! Что ж, зато знать будешь. Господа — они завсегда так, — век служи, час не угоди — катись к чорту. Иди к нам в Голодаевку пастушить, досыта не накормим, зато бит не будешь.

И они уходят на село.

Вечерами, в лаптях, зипуне, подпоясанном кромкой, Харлампий катается на санках с крутого увала Опоки.

Ребята его утешают:

— Скота у нас немного, не как у лешегонов, справишься. Зато жизнь — умирать не надо. Што-те барин какой. Каждый день одежа сменна, и еда разная. Гуляй от хозяина к хозяину. Коров прогнал в выгон, сел под куст, и никаких тебе чертей. Привечай баб, коров корми да в срок гоняй, никто тебя словом черным не обнесет.

Санки визжат, разбрасывая снег в стороны, и бойко взлетают на ухабах...

Ужин — тюря на кислом голодаевском квасе — пучит Хахале живот.

— Ничего! — орет он, — зато весело. У барей этих, что по струнке ходи. Сел не так, прошел не этак. А дерется барин! Как полыснет, полыснет ремнищей, искры с глаз — ей-бо!

Ребята весело хохочут над рассказами Харлампия и, сгрудившись гуртом, сбивают его с ног: куча мала!

У Ланчи в избе мотается клубами дым; мать, высокая худая старуха, поминутно снимает щипцами нагар лучины.

Веретено в руках сестры Лопты, Марфуши, вызванивает зудливую песню.

Лопта вяжет сеть, и деревянная игла с ниткой бойко пляшет в руках. Отец шуршит берестом. Кочедык блестит точно серебряный.

Среди дерюжин и тулупов на полатях тепло и уютно. Хахала слушает воркотню дремлющего рядом кота и засыпает.

Во сне видит прихожую, барина, стряпуху, Костю и в высоком кожаном кресле барыню.

Ноги барыни лежат недвижно, будто бревна, а позади кресла маячит приторно-белое лицо Марьяшки.

— Наворовала у барыни пудры, набелила харю! — хохочет Хахала, но смолкает под грозным взглядом самого.

Кухарка, будто квас цедит, льет слова:

— Матушка ты наша, благодетельница, красавица ты

моя неписанная. Ножки твои ненасмотренные отходили, ручки твои ненаглядные отработались...

Костя у голбца кривит в злой улыбке губы: колода-колодой, вози ее теперь в тележке, а барин Марьяшку на ночь постель стлать звал...

А она, дуреха, заместо того чтобы отбиться, — рада-радешенька, как же — барин пощупает...

Он уходит на улицу, и его визгливый голос доносится в кухню:

Много сахару поела —
К барину захотела.
Б-барыня-барыня,
Сударыня-барыня.

Стряпуха всплескивает руками и бежит на двор. Поймав за ухо, она привлекает Костю к себе и шепчет:

— Миленькой, не надо, барин услышит...

Костя сует в пространство кукиш и, пускаясь в пляс, продолжает:

Дуда-Дура — я не шла,
Я бы барыня была...

Харлампий просыпается и видит, что он в избе Лопты. Старуха кидает огарки в корыто — они фыркают и чадят...

Жена Никона — Варвара — была против увлечения мужа, расточавшего энергию на такое, по ее мнению, бросовое дело, как охота. Когда он уходил с Костей весной на токовища, она, обидчиво супя брови, заметила:

— Смотри, последнюю неделю хожу, тебя не будет — как я тут?

Никон, усмехаясь в черномастную бороду, отъехал шуткой:

— Вы, бабы, как крольчихи, каждое лето родите. Туго будет — дядя поможет, он мастер на это.

Вечером, возвращаясь с охоты, Никон услыхал заливистый крик ребенка. Он машисто влетел в избу, и несдерживаемое нетерпение прорвалось криком:

— Живой!

Варвара лежала в постели и признательно улыбалась мужу. Пахло потом от разбросанных одеял и дешевым мылом. Из горницы, подмигивая Никону, выглянул Лука, указал глазами на Варвару и скрылся. Никон подошел, положил руку на лоб жены и спросил:

— Ну, как здорова?

Она тихо и умиротворенно улыбнулась и подтянула одеяло. Ребенок тонким голосом сверлил тишину.

— А ну-ка, покажи,— приказал он бабке.

Заплетающейся походкой подошла старуха, сунув ему в руки узел розового одеяльца, успокаивающе сказала:

— С дочкой вас поздравить, Никон Петрович!

Слова старухи укололи его, он глухо буркнул под нос и молча прошел в горницу, оставив в недоумении бабку.

Поддерживаемая под руки, Варвара прошла в горницу на приготовленную постель. Она легла, закрыв глаза, и на полотне подушек смутно белело будто высеченное из камня лицо. Хмуро скользя глазами по ее фигуре, Никон обидчиво спросил:

— Опять девка?

Варвара повернула голову на его голос и укоризненно поглядела ему в спину. Неподвижные рассеченные брови поднялись, и тонкие стрелы морщин сползли к ушам.

— Девка!

Ее возмутила несправедливость, но чтобы сгладить неловкость молчания, она добавила:

— А разве я виновата?

Крупные ее губы пересохли и, сводя их в обидную гримаску, она укоризненно заметила:

— Но ты ведь хотел ребенка, не все ли равно?

Никон молчал, стоя, прильнув к холодному стеклу окна, и осматривал улицу. Отдаваясь нахлынувшему чувству отчужденности, Варвара заплакала. Ей стало стыдно за себя, за мужа, за много лет супружеской жизни; она родила двух мертвых девочек, не сумела дать сына.

Глядя в нахмуренное лицо мужа, она тоскливо, со слезами спросила:

— А как же Марина говорила, что сын будет?

Никон вспомнил, что он, уступая просьбам тещи, глупой и суеверной старухи, возил жену к знахарке, и та предсказала ей рождение мальчика. Досадливо облизав губы, он после молчания сказал:

— Врут они, — верить-то им!

Как бы задабривая мужа, Варвара потянулась к нему и попросила:

— Ты не горюй, я рожу мальчика, видит бог, рожу.— И с грустью добавила: — Принесу! Пешком на Афон схожу...

В голосе ее была виноватая робость и тоска.

Мысль иметь сына не покидала все время супружеской жизни Никона.

Движимый этим чувством, он пробовал выехать из села, да помешали голодаевцы, и остался в общине. В праздничные дни, оглядывая расцвеченную нарядным людом улицу, он шумел:

— Сиди, как дурачок, тут, был бы сын, рыбу бы удить пошли!

Многосемейному и кроткому Колобку он, завистливо вздыхая, говорил:

— Тебе хорошо. Сам еще в соку, и ребята на ноги поднимаются. Из годов еще не выйдешь, а работников полон дом будет. Мне бы так...

Колобок, белобрысый, сухой, с вогнутыми короткими ножками, смешно топыря руки около карманов, успокаивал Никона:

— Погодь, твоя-то как еще удружит тройней...

Никон досадливо и укоризненно покачивал головой.

— Чего-то не верится. Нет, кажется, сдохну один, а сына не увижу.

Оставшееся от отца хозяйство, крепкое и справное, умножать не хотелось. Только горбун умножал достатки, откладывая на дно сундука мешки, наполненные кредитками и серебром.

В вешну Никон позже всех выезжал на поле. Солнце грело спину сквозь пыльную рубаху. Вскинув козырьком руку, он перекликался с соседями:

— Загон доворачиваешь?

Мужик останавливался и, вывернув соху, упрекал:

— А ты все с бабой не наобнимаешься никак?

Никон пробовал отшутиться:

— А куда гнать-то, што у меня — семеро по лавкам, што ль, это тебе гнуть надо день и ночь, сам-десять накопил.

А сам завистливо думал: „Хоть бы одного сына, и то бы был утешен“.

В страду, оглядывая квадраты полос, рыжих от жнивья, он негодующе спрашивал:

— А развернуться где, полдесятины пахоты на едока, далеко ли ускочишь? Были бы вот ребята, двое-трое, глядишь, и земли бы прибыло. А то корову да лошадь держишь — и все тут, никакой прибытки... Развернуться негде.

Мирон, тоже бездетный, иногда увещевал его:

— А толку что в ребятах-то? Живи — работай на них, корми, в люди их выведи, а на ноги смотались — пошел кто куда...

Никон возражал:

— Ну, это от самих родителей зависит, — как воспитаешь сыновей, так и относиться они к тебе будут...

Мирон, горячась, настаивал:

— А по мне вот, девки куда парней лучше. Возросла, замуж выдал, ни греха тебе, ни обиды, и в загорбок не накладут!..

Протестующие глаза Никона излучали усмешку:

— Эвона ты как? — спрашивал. — Да што толку в ней, девке-то, в чужую семью корми, а парень — хоть худой, да свой.

На селе знали эту больную струнку Никона и часто вышучивали:

— А вчера твоя половина селедки несла из лавки, солененькое прилюбилось. Поди сын будет.

Накаляясь тревогой, Никон переспрашивал:

— Вчера, говорите? Да ее вчера и дома не было. У матери гостит.

Вечером, краснея за неловкость, допытывал жену. Варвара несмело отбивалась:

— А ты меньше их слушай, бог еще знает, чего тебе наскажут.

Спал плохо, и ночью, просыпаясь, клал руку на голову жены:

— Не скоро? — спрашивал он, заглядывая в глаза.

Варвара сердилась и роняла:

— С ума ты рехнулся совсем, вот што.

Скрытность жены мучила Никона. Ему казалось, что жена на зло не хочет родить ему сына.

В поле, где он распахивает межу, садится отдыхать и в озлоблении говорит:

— А ну ее, работу, ради кого я буду работать?

Варвара пьет квас из темного, попахивающего плесенью жбана. Вместе с кислым квасом на опаленные губы сбегает соленая струйка крупных слез. Слезы застилают ей глаза, от чего ей кажется, будто все поле качается в сетчатой оправе.

— Уйду и брошу все, — грозит Никон и продолжает: — На новые земли выйти — едоков мало, в общине жить — на дармоедов нужно работать. Только полосу сдобришь, стала родить хлеб, и вдруг — передел устраивают. Снова садись на выпаханные полосы и опять унавоживай. А сенокос? Если бы сам я был хозяин — и кусты, и камни сбирал, а то, как набьет весной, так, значит, и лежит. Полосы лаптем делят. Межу вот распахиваю, а по переделу пустошь получу. Камень с полос я сбирал, а мне каменницы дадут. Огород правлю, а у соседа на живую нитку он сметан, скот в поле пошел. Чьи суслоны треплют? Мои. Так в трехполье и живи. То ли бы дело своя усадебка была, пчел бы я завел, клеверку подбросил, кормовой репы посеял, скот переменил, а то и хозяйство менять не тянет. Так и живешь, вертишься из куля в рогожку, а тут еще баба эта!

Никон раздражен и уходит к речке, где Лука поправляет изгородь. Разговаривая с дядей о хозяйственных делах, успокаивается. А вечером идет к вдове Тарутина просить

разрешения сеять на горах лен. Его в полутемную комнату вводит Марьяна и, усадив на стул, говорит:

— Посиди тут, доложу.

Присаживаясь, Никон оглядел комнату. Обстановка со смертью барина переменилась. Не было высокого кожаного дивана, стола из карельской березы и музыкального ящика. Только сквозь спущенные шторы так же сочился полумрак и терпко пахло лекарством, да на стенах остались те же картины и прибавилась одна, где, сердито топорща усы, сидел остриженный под ежика старик. На вместительном столе Никон увидел портрет Тарутина. На кресле валялся пестрый с цветами халат барина.

„Обжулят барыню“, — подумал про себя Никон и ясно представил себе независимого и самоуверенного Костю. Сговорятся с Марьяшкой, обманут барыню и все себе заграбастают. Он чувствует, как в нем вырастает чувство жадной зависти и беспокойства. „Не человеку достанется,— рассуждает он, — да еще кому: дурню набитому“. — И припоминает стычку с Костей, когда он брал у барина зерноочистительную машину. „Мне бы положено владеть всем имуществом, — решает Никон, — я помог им долги уплатить, а то бы концы с концами не свели. А то вишь чем отъехали, сунули две катьки в зубы, и пошел, — не умеют людей ценить“.

За дверьми, шипя, приближалась колясочка. Никон привстал и выжидал, пока Марьяна вкатывала барыню.

Белое лицо Тарутиной было будто обсыпано пудрой, и в подушечках щек утопал нос. Она небрежно кивнула Никону головой и спросила:

— Ко мне? Зачем? Говори!

Холодный тон ее слов будто из ведра окатил Никона. „Все еще из-за рощи дуется“, — подумал он и, вглядываясь в бусинки ее глаз, попросил:

— Барыня, гарь лежит, льну я хотел на нее бросить.

Марьяна, стоя за стулом, удивленно глядела на Никона.

Вдова, пожевав губами, спросила:

— Вертнев, а разве мы тебе не заплатили?

— Заплатили, — согласился Никон, — но я думал, ведь зря гарь пропадает. К тому же барин обещал.

Сообщение о покойном муже взволновало вдову.

— Ты мне о нем не упоминай! — визгливо закричала она. — Мученик он у меня. То было, да прошло, а теперь я хозяйка!

На слове „хозяйка“ она сделала ударение, гордо откинув голову на спинку кресла.

Никон, отступая, поклонился.

— Это я знаю, но дать бы участок не грех.

Своеволие мужика ее возмутило. Голова задрожала, и белое лицо покрылось пурпурными пятнами.

— За что? — низко выкрикнула она. — Что ты рощу погубил? Нет, Вертнев, — жестко объявила она, — не дам я земли, мне она самой нужна.

Когда Никон уходил, ему показалось, что из сеней вслед ему хихикнул Костя.

Лука, выслушав сообщение Никона об отказе, заявил:

— А разве я тебе не говорил — лезть не надо, себя унижать, разве ты не видишь — свихнулась она! Костя да Марьяшка делами заправляют. Ты гляди вот, через год они ее уморят — и сами хозяева будут.

Злость, нарастая, ширилась, мешая Никону дышать.

— Ну, погоди, покажу я вам, — погрозил он кулаком по адресу невидимого врага. — Я заставлю вас со мной говорить иначе.

И через день на заброшенной лесной поляне, где он вырубал жерди, встретил Марьяну. Одетая в легкое платье, в цветные кожаные туфли, она шла, неся корзинку из сосновой дранки. Там на опушке, среди густых трав вызревала земляника. Две каштановые косы жгутом лежали у девушки на спине. Никон заметил ее и подходя сказал:

— На чужие полосы ходить нельзя.

Девушка подняла голову на его голос и спрятала корзинку за спину. Никона этот жест развеселил, и он, лукаво сощурив глаза, пригрозил:

— Вот тебе и шабаш ягодки сбирать!

У девушки дрогнули тонкие, будто подрисованные брови, она смущенно сказала:

— А тебе жаль?

Никон, выступая из тени на освещенную солнцем поляну, заявил:

— Я шучу. Ты на меня внимания не обращай. Это я с барыней ругаюсь, а тебя я уважаю.

Она, удивленно вскидывая на него глаза, протянула:

— Вон ты как! С чего бы это? — Помолчав, сказала: — Я и то примечаю, — и погрозила: — Смотри, жене пожалуюсь.

Никон, проходя, бросил в ее сторону:

— Как будто я боюсь! — Задержав шаг, Никон попросил: — А ты от меня не беги. Я ведь не злой.

В праздник, нежась в уютном тепле постели, Никон, вытянув голову, посмотрел из горницы в черную избу.

Варвара готовила сочни для пирогов и шумно стучала скалкой. Блестящая, словно из кости, скалка в ее руках подпрыгивала на столе, расплющивая тесто.

После смерти родившегося ребенка Никон явно тяготился женой, избегая даже с ней заговаривать.

Похоронив девочку и идя домой с тещей, он высказал опасливую мысль:

— Не больна ли Варька-то, ведь три девчонки были и все умерли?

Теща, в удивлении округлив глаза, зашумела:

— Што ты, што ты! — и поспешила упрекнуть: — От лукавого это да зависти, молись богу да жену люби — и дети жить будут, да еще какие. Не в кого больной-то ей быть, я их ведь полдюжины вытряхнула...

И тут же посоветовала:

— Ревеню бы ей попить, — говорят, помогает!

Ночью, уклоняясь от ласк жены, оборотясь к ней спиной, Никон недовольно ворчал:

— Отстань, смола, спать хочу.

А днем, избегая ее, он уходил на работу, пропадал там до вечера. Такое отношение Никона удручающе действовало

на Варвару. За обедом, виновато потупив глаза, она тяжело вздыхала и, оставаясь одна, плакала. Похудела, лицо ее стало строже, и темноватая поволока легла около глаз. Мать советовала ей приворотить Никона через корень калгана, и раз сунула в руку что-то, завернутое в тряпку. Варвара, чувствуя перемену в муже и вынашивая тревогу, жаловалась матери:

— Сына хочет, а как же, рази я тут могу что?

Мать, склоняясь вплотную к лицу дочери, шептала:

— Он не может, другие могут. Ты спроси, Платонко-то чей у меня? Шесть девок я выкатила, тоже отец ругал, а напоследок парня... Так-то...

На широком, словно ржаная коврига, плече матери Варвара в плаче роняла слезы, спрашивая:

— А ежели узнают, стыдобушка ведь, на люди не выйдешь.

Мать, разводя руками, укоряла:

— Ну и реви тогда, — и, поджав сухие губы, молча уходила домой.

Лежа в постели, Никон припомнил, что сегодня у тестя праздник — и повеселел. Ему внезапно захотелось загладить вину за обиду, нанесенную жене, и, накаляясь подмывающей радостью сближения, он крикнул:

— Варюша, иди-ко сюда!

Она вошла, тая в ободьях бровей изумление и робость.

Пристально оглядев подвитую жену, и довольный, что он обладатель этой крепкотелой, не умятой временем женщины, Никон спросил:

— Варюша, поедем в гости к нашим?

— Поедем, мать шибко звала, давно у них не были, — ласково ответила она, обрадованная, что размолвка уступила место примирению.

У тестя было шумно. Никона сразу же настойчиво втиснули за стол. После первого стакана водки он повеселел. После второго кудрявая смоль тестевой бороды при поцелуе щекотнула ему лицо. Дом загудел точно улей.

Тесть обносил водкой гостей третий раз и, подбирая обвисающий под шуршащей, как короб, рубахой живот, шутил:

— Без троицы и дом не строится.

Волосы на голове у него смазаны маслом, лежат полукружьем. Ворот рубахи расстегнут, где видна короткая шея, налитая, как свекловичным соком, кровью. Шумно рыгая, тесть уговаривает не пьющих:

— Изба о четыре угла, надо и четвертый прирубить.

Дядя Никона по жене, Аникей сидит рядом с Мироном, упрашивая целоваться. После четвертого стакана он вскакивает и, нелепо размахивая руками, кричит:

— Сентя, заведи-ка там русскую!

Гармонист весело рассыпает трель, словно бутылочные осколки. Вихляя перетянутым в талии телом, мелко семеня ногами, пошел тесть Никона. Раздвоенная его борода бочится, он взмахивает руками и вскрикивает:

— Эх, давай, давай!..

Рядом с ним топчется Аникей, кидая вразброс ноги. Он прищелкивает языком и подпевает:

— Жги-жги — говори — у-ух!

Первой на круг вытолкнули Варвару. Она пошла, плавно покачивая стан и высоко неся грудь.

Аникей и тесть отстали, пошел белобрысый высокий парень, племянник тестя.

Парень выделывал замысловатые коленца, и в такт тряслась вихрастая чолка волос.

Никона рассолодило и клонило ко сну. Разухабистый пляс гостя иногда возвращал его к желанию встать, итти на круг, плясать с женой. А ноги точно налили свинцом.

Осекающий низкий голос Варвары выводил плясовую:

Эх! рожь густа,
Да — умолотиста.
Не гляди, что я мала,
Да оборотиста.

Ей из всех углов рявкнули хором гости:

Ходи изба — ходи печь,
Хозяину негде лечь...

Колыхая бедрами под широким сарафаном, на смену дочери вышла мать. Пройдя круг, она запыхалась и повалилась на руки мужу. Снова вызвали Варвару.

Ноги у парня — точно карусель, он летел в присядку через весь круг, кричал гармонисту:

— Чаще, чаще! Дробь!..

К полуночи Никон отрезвел и отчетливо запомнил одну сцену. Сеновал, сухое, пыльное сено. Смех Варвары, вкрадчивая поступь тещи, уходящей с повети, шопот парня, поцелуи, возня. Он не помешал, да и не мог, хмель выкручивал ему желудок. С этого праздника, не высказывая подозрений, Никон затаил к жене злость.

Когда она садилась разливать чай, он вглядывался ей в лицо и находил намечающиеся перемены. Эта грустная поволока глаз, задумчивость, нервное подергивание рук, — все это признаки, подтверждающие его мысль. Огурцов соленых раз захотела, — не иначе — на парня. Вот и сегодня она пришла с поля и глухо, не по-обычному спросила:

— Самовар ставить?

Раньше Никон пропустил бы ее слова, но теперь в них ему чудилась холодность и неприязнь.

Осматривая со злостью припухшее от жары лицо, он отрывисто буркнул:

— Трепаться меньше надо, люди давно уже поужинали!

Варвара не удивилась окрику и, брезгливо поджав губы, ушла за водой.

Напившись чая, он ушел из дома, не сказав никому ни слова, и пролежал всю ночь около пади. Утром с воспаленными от бессонницы глазами он сидел у поляны, наблюдая за женой, ломающей веники. Но к ней никто не пришел. Это обескуражило Никона, и он бросил наблюдать.

А через неделю, на повети, починяя хомут, он услыхал хруст малинника у двора и чей-то придушенный шопот.

Был вечер. С пастбищ гнали скот. Пыль оранжевым облаком висела над дорогой. Никон, привстав, выглянул в щель и увидел у тына, окружавшего огород, Варвару и парня.

Как видно, она была в уверенности, что мужа нет дома

(еще утром он сказал ей, что уйдет в осек), и вела себя непринужденно.

Улыбчиво склоняясь вплотную к его лицу, она что-то говорила парню. Руки ее были подсучены, и на локтях намечались ямки. Парень жал ей локоть, склонив вбок голову, и усмехался. Вероятно, она говорила что-то смешное, парень жмурился, обнажая белозубый рот. Никону стало муторно, точно его выкупали в помоях, он швырнул хомут в угол и ушел в осек.

5

Стояла страда, и с полей, как гуси, плыли тяжелые телеги ржи. На гумнах прочно и обжимисто усаживались копнастые скирды.

Утирая подолом рубахи запотевшее лицо, Никон неспешно прошел в избу. В запыленном окне назойливо бились мухи, и на гладкой с темными пазами стене играл солнечный зайчик. С печи доносился придушенный храп Дарьи.

Варвара, услышав стук дверей, вышла из горницы, но, увидев мужа, поспешно отвернулась к печи. Лицо у нее было злое, а глаза таили горечь и обиду.

Как бы не замечая перемены в жене, Никон прошел в куту и разделся. Вешая рыжий от времени пиджак, он, сбочившись, оглядел хмурое лицо жены и сухо бросил:

— Чего рюмишь?

В голосе Никона звучала дерзость. Варвара, моргая беспокойно глазами, отошла к окну, готовая заплакать.

Как бы желая смягчить грубую выходку, Никон упрекнул:

— Все хныкаешь, веньга...

Варвара дернула плечами и захлюпала в фартук.

Недоумевая, но желая показать строгость, Никон напористо закричал:

— Ну, довольно тебе глаза-то мочить, — у людей страда, а у вас ахи да охи только...

Роняя выжатую слезу на сарафан, Варвара с обидой и злостью в голосе ответила:

— Борода седеть начала, а он такими делами займается, — и зло ввернула: — Правда, люди говорят: „седой волос в бороду, а бес в ребро“.

Ошалев от неожиданности, Никон, отступая к порогу, спросил:

— Белены объелась, али как? Где ж седину ты нашла?

Тяжелая злость округлила холодные глаза Варвары. Суча кулаки над головой, она крикливо заговорила:

— Думаешь, за санник укрылся, так и ладно, — и, наступая, повысила голос: — Видели, видели тебя, хахаля, горазд ты Марьянку за грудки хватать.

Никон вспомнил, что это было вчера, после паужен, и, краснея до корней волос, хмурясь бросил:

— Негде тебе меня видеть, бабы это про меня треплются!

Как бы оправдываясь, он, помолчав, добавил:

— Да я ее месяц уж не видел.

Рубцеватый, согнутый крючком палец запутался в бороде; насупив брови, Никон хитро глянул на жену, верит ли она его словам.

Варвара попрежнему стояла у окна, и во всей ее фигуре было что-то обиженное и замкнутое.

Глотая обильные слезы обиды, она с недоверием упрекнула:

— Ведь врешь ты все! Мало ты еще в молодости с чужими бабами изгилялся, так и теперь неймется...

В словах ее звучала правда и укоризна.

Распуская сухие губы в улыбку, Никон пробовал отшутиться:

— Марьянке и молодых невпроворот, нужен я ей, как собаке хвост... — и спокойно, не опуская глаз, заглянул жене в лицо.

Обезоруженная улыбкой мужа, Варвара, вытирая концом платка увлажненные глаза, спросила:

— Да ведь это было?

— А ты видела? — кинул он, сохраняя натянуто-независимый вид.

Она, тупясь, созналась:

— Я-то нет, зато другие видели.

Радуясь исходу, он солгал:

— Да я вчера у кума был, дура, спроси ево, коли так. А тебе впредь лучше самой надо увидеть, чем поклеп взводить.

Успокоившись, она, недоверчиво покачав головой, сказала:

— Такой жох, да не вывернется!

Повеселев, он урезонил:

— Своим глазам верь, вот что!

Сожалея, что он подбивает жену наблюдать за собой, Никон сел за стол в ожидании завтрака.

Хлопнув дверью, Варвара вышла в сени. Ему надоело ждать, и он, за ней пройдя до двери, крикнул:

— Копайся, есть-то скоро подашь?

Голубая приветливость глаз батрачки Дуни облила его из полуотворенной двери.

— Чичас-чичас!

На печи хрипло и надрывно закашляла жена Мирона.

Она простыла по весне на сгонке бревен и теперь тихо тянула лямку болезни. Никон, проходя по улице, не раз слышал голоса соседей: „Ровно народу нет, — баб, и тех на работу гонят. Сдохнут, черти-жадюги“. Чувство виновности не покидало его все время, когда он был около больной.

Подходя и вытягиваясь на носках, чтобы позвать Дарью, он увидел прядь ее волос, слабо закрученных на затылке. От волос шел терпкий запах пота и мыла.

Дуня внесла чашку студня.

— Дарья, есть хочешь?

Больная оставалась лежать, не повернув головы.

„Спит или обиделась? — подумал он. — Поди, узнала, как мы смерти ее желаем, чтобы Мирошку оженить после вдовства“.

Шумно и тяжело дыша, больная спала. Белое, словно обсыпанное мукой, лицо было иссечено болезнью.

На впалых щеках играл болезненный румянец, а у глубоко запавших глаз чернела отстойная кайма синевы. На

вытянутой из-под одеяла руке устрашающе вздухли вены, и на нижней выпяченной губе бродила муха.

Никон брезгливо сморщился и отошел от печи к столу.

Варвара вносила пироги и, садясь за стол, спрашивала что-то об урожае.

Никон ответил невпопад и неохотно. Аппетит пропал. Студень отдавал затхлостью, а кислый квас неприятно щипал язык. Отодвинув чашку, он встал, одеваясь на ходу, бросил Варваре:

— Приеду к вечеру! — и, тяжело громыхая сапогами, ушел в поле.

После встречи на поляне Марьяна перестала дичиться Никона. И он не был удивлен, когда она через день, словно ища встречи, пришла на старое место. Простота и безыскусственность обращения Марьяны подкупили Никона. Он забыл свою подспудную мечту о тарутинском имуществе и, увлеченный девушкой, запросто, как знакомый, разговорился.

Она не отстранилась, когда он привлек ее, и спрятала лицо в его бороде.

В минуты нежности Никон спрашивал:

— А ты меня любишь, ведь я же мужик?

— А я баба, — не моргнув глазом, ответила она, оглаживая полыхающее румянцем лицо.

Упоминание о Косте вызывало у Марьяны брезгливую гримаску.

— Такого мозгляка любить... Брр...

Это смешило Никона, и он, прижимая ее, сказал:

— Да я его и не считал тебе под пару, вертушка он. Такого уважать нельзя, а ведь ты же красавица.

Они сидели на стоге пересохшей соломы, слушая шорохи и голоса на селе. В надвигающейся тьме неясно вырисовывался ближний лесок. Заглядывая Никону в глаза, Марьяна спросила:

— А твоя жена об этом не знает?

Упоминание о Варваре смутило Никона. Он решительно отмахнулся:

— Знает, и пусть.

О жене вставали недобрые мысли, хотелось высказать свою ненависть, но удержался и заговорил:

— От нее мы избавиться всегда сумеем, вот попробую, развод выхлопочу. Две сотни брошу, не пожалею.

Задумавшись, Марьяна сообщила ему свою затаенную мысль.

— Барыня вот на ладан почти дышит. Днем отдохнет на солнце, выспится, так еще ничего, а чуть к вечеру — хоть святых вон выноси. За руки меня ухватит и кричит. То ей поясницу стреляет, то ноги ломят, мечется, мечется, на шею повиснет, к утру кое-как уложишь. Она помрет — это я знаю.

В Никоне вновь просыпается жадность, он затаенно шепчет:

— Сами хозяева будем, дядю, Мирона отделим, половников наймем, ты в дому хозяйничай, а я в поле. Уж я сумею дело поставить.

Марьяна ничуть не сомневается в этом и, ласково сощурясь, глядит в серьезные глаза Никона. Ей смешно, потому что кончик его бороды щекочет ей подбородок.

Ветер шелестел зеленым бурьяном и леденил лицо Кости. Костя лежал у заброшенных огнищ, расположенных по косогору. Дальше уходили зеленые купы березняка и остролапчатого пихтача и грядой сливались с горизонтом. Голубая чаша неба опрокинулась над падью, будто огромный эмалевый купол.

Уставив глаза в перистые всплывающие тучки, он следил, как у горизонта подплывал кумачом отливающий лоскут зари. Обида и отчаяние ковали его тело. Воспаленно засыхал язык, и сухая перша неприятно клокотала в глотке. Костя зажмурил глаза и ясно представил себе вечер, далекое блеяние овец, гуд звенящего шмеля и Марьяну с Никоном.

Он слышал не раз от сельчан на праздниках (хмель развязывает языки) о связи ее с Никоном, но не верил, пока не увидел сам. И теперь рядом с этой грубо сколоченной фигурой Никона круглая румяная Марьяна казалась девочкой.

Видел, не хотелось верить. Может, оно и так, ничего

не было. Мало ли девки о чем языки чешут. Не похоже что-то на нее. Вспомнил манеру Марьяны блудливо поводить карими на выкате глазами — усмехнулся:

— Завлекастая девка, это верно, поколотил в пьяном виде раз, перед писарем вертелась. А так что-то не замечал. — Представил, как от обиды при упреке задрожали бы угнутые круто над глазами тонкие брови девки. — Оправдалась бы, она на это мастак!

За день в думах перебрал все подробности их пятилетней связи. Ведь с девчонок он с ней дружит. К барину по ночам ходила, и его находила время ласкать. Ну тот хоть барин, а это кто? Мужик.

— Чего же ей надо? Я не болен, рази вот ростом не вышел, так разве таких мало, да с такими ли живут? Опять, ее не забижал, жила в теле. Ждал смерти барыни, чтобы уйти и пожениться. А Никону? Бабы своей мало, что ли? — И злость, расширяя сердце, ударила ему в голову. — Поучить бы надо, — прошептал он. Да драться он вот не может — слаб. — Нет, подкараулить, всыпать заряд дроби в спину, на! Носи на память! От Кости.

Устало сопя, он скрипит зубами и, чертя руками ссохшуюся за день землю, поднимается на ноги.

Над падью устало свисает остывающий зной, растекаясь около плетней жидкой желтенью.

Ржавый флюгер на тонком шесте печально никнет острым крылом.

Он идет селом, не встречая никого. Все в поле, и над дорогами плывет тоскующий скрип колес...

На печи, давясь духотой куреня, спит пастух, и жидкие пряди зеленых волос косичками текут с грязной подушки.

Отвертываясь и поджимая черствые губы, он толкает дверь в гостинную. За стеной стучат четки в руках барыни. Эта не встанет. Спросила — не отозвался и, скрипнув дверью шкафа, снял ружье.

Холодная ложа берданки уколола пальцы.

Сдерживая биение сердца, он вышел в сени и зарядил ружье крупной картечью. Поддерживая свисающую с плеча рубаху, прошел на двор.

Мимо на толкучей одноколке лениво пылил Лука. Он скучающе оглядел Костю и, сощуривая пыльные глаза, неспешно спросил:

— На ворон? — и, как бы догадываясь, прибавил: — И развелось этой падины, не дай бог! У Язовихи полосу с ячменем у меня в лоск истолкли. Пугни их там, сделай милость!

Костя, склонив низко голову, прошел к гумнам, держа на вытянутой руке ружье.

Сквозь серые нити изгороди он увидел с развальцей выхаживающего Мирона. Только что они кончили молотьбу. Рыжее зерно, сдвинутое в ворох, отливало оранжевой кипенью. Опаловая полоска жита протянулась вдоль тока.

Мирон сбирал блестящими тройчатками словно золотую солому и относил ее в омет.

Никона не было. Сдерживая в ногах легкую дрожь, нажимая на гладкую тыль ружья, Костя, приседая, оглядел гумно.

Сбоку, где стоял прошлогодний омет соломы, до него долетел густой перхающий вскрик Никона:

— Костюха, смотри, не ляпни в меня заместо зайца!

Покачивая обнаженными ягодицами, на корточках сидел Никон, оскалив широкие блестящие зубы.

Обезоруженный видом врага, Костя опустил берданку.

— Лесовать идешь? — смеялся Никон, вставая. — Дай, думаю, упрежу парня!

Никона звала Варвара; перемахнув через изгородь, он ушел на гумно, оставив Костю у омета. Злобствуя на неудачу, Костя повернул домой.

Не доходя до ворот, отделяющих гумна от села, он услыхал вдогонку заливчатый крик:

— Костюшка, пог-г-оди!

Костя остановился, вглядываясь в синюю марь, висевшую над гумнами. Никон, махая рукой, звал его к себе.

— Марков из Бортян вчерась заходил ко мне, — сказал он, встречая Костю, — в пади задрали медведи корову ихнюю. Пойдешь со мной сидеть на стерво?

Правая бровь у Никона угловато ломалась.

У Кости ожило вызревшее желание мести.

— Пойду! — сказал он сухо, — а когда?

— Да с утра! — ответил Никон, — пораньше встанем — девку я пошлю за тобой...

„Лиса! — подумал Костя, — зубы хочет мне за Марьяшку заговорить. Нет, голуба, спасибо! Ты мне жизнь расстроил, душу испакостил, а я на тебя смотреть должен?.. — и зло утвердил: — Убью, а Марьяшки не уступлю!“

Утро встало погожее. Над падью мягко проплывали дымчатые воланы тумана. Звонко и дробно бились ручьи, стекая в болото. Из лабаза, пристроенного к лапчатой пихте, виднелась поляна, поросшая мелким кустарником. Поляна уютно дремала под жидкими лучами встающего солнца.

За поляной рисунчатые, с широкими кронами ветвей, уходили ели. У темных сизых корней стыла янтарем прозрачная смола, подтаивающая к полудню. Под навесом тяжелых и недвижных ветвей веяла грибная свежесть. Остро, словно перестоявшийся спирт, ударял в нос тлен сгнивающих трав.

Стараясь не хрустеть лаптями по чешуйчатому ковру прошлогодней травы, охотники осторожно прошли в лабаз.

На поляну, поддерживаемые рогатками, нацелились точеные рыльца ружей.

Встревоженные шорохом сучьев, в чаще завозились птицы. Убочив хвост, с ближней ели, каркнув, отлетел ворон.

Редко и дробно стучавший по дереву дятел смолк. Уркнув сквозь заросль ельника, мелькнул рябым оперением глухарь.

Угомонились — стало торжественно и строго, и ломкая тишина прижухла в лесу.

Костя сидел с левой стороны лабаза и в упор разглядывал широкие подрагивающие лопатки Никона.

К подолу широкой Никоновой рубахи клиньями текли слинявшие ластовицы.

„Слон, а не мужик, — подумал Костя, — только картечью и взять такого“.

Его с вечера мучило беспокойство за исход охоты, и, нарушив молчание, он спросил Никона:

— Если из ружья не снимем, тáды што?

Голос с ночи у него отстоялся и пер густотой.

Приглядываясь к синеющей спине дикого булыжника, лежавшего недалеко от них, Никон ответил:

— С ножом пойдем! А что? — и повернулся к Косте.

— Да так, — поспешил ответить тот и повернул вбок голову, избегая Никонова взгляда.

От темных и жалящих его глаз Косте было не по себе. Потирая уставшую от необычного положения ногу, подумал: „Придется ли с ножом-то итти, как бы заряд в пояснице не понес!“

Никон, покрутив головой, сморщил насупленное лицо.

Костя догадался о причине нервозности Вертнева: ветер нес на лабаз отстойную волну гнилости.

— Под ветер сели, всю гнусь нюхай!

Над взгорьем поднялось солнце, и сухие стрелы пронизали ветви деревьев. Ветер отнес дымку и отчетливо обнажил просеку, пронзившую лес.

Вслушиваясь в застывшую тишину леса, Никон глухо сказал:

— Идет! — и вжал коленку в холодящую землю.

Легкий ветер доносил шорох шагов зверя. Сухой валежник трещал под тяжелой лапой медведя. Непередаваемая настороженность ожидания затаилась в лабазе.

Зверь шел к стерву уверенно и тяжело. Словно кто-то огромный кованым сапогом тер и ломал перезрелую, в дудке, сухую траву.

Никон шевелил занемевшей в недвижности ногой и сгребал в кучу прелый пересохший лист.

Выцветшая бровь у него угловато ломалась, и нервно на смуглом веке глаза прыгал живчик.

— Ш-ш! — защипел он придушенно, и сухая, с острыми култышками рука легла на тыльную сторону ружья.

У Кости от волнения зарябило в глазах. Болезненно

морщась, он уткнул голову и хлопотливо оглядел поляну. Ноздреватая береза словно застыла, не шевеля редким листом.

Из боковой тропы, теряющейся в зарослях ольшаника, колыхаясь, отделилось бурое пятно. Две пары глаз изучали его движение.

Медведь шел неторопливо, склонив вбок голову, и короткие тупые лапы точно волочил по земле.

На хребте можно было разглядеть бурую, свалявшуюся в узкие сосульки шерсть.

При ходьбе обвисающая у подгрудка кожа мягко волнилась. Не доходя до стерва, зверь остановился и, подняв тупую морду, вслушался.

Поляна спала. На засушенной временем березе безобидно стыл ворон.

Рыча и злобствуя, медведь кинулся к стерву и вывернул с рудыми ошметками мяса оставшуюся от ужина ногу.

Тяжелая скула зарудела кровью, и в прорези блеснувшего оскала зубов заворочалось красное месиво.

Леденистый холод уколол спину Кости. Он первый раз в жизни присутствовал на завтраке царя пади. Преодолевая страх, он, придвигаясь, шепнул Никону:

— Стрелять?

Тот молча коротко двинул локтем. Солнце в упор просвечивало его хищные ноздри и кисточку уса, чернеющую над тугим овалом щеки:

— Тс! — я первый!

Глухо и злобно ворча, медведь, повернувшись боком, лег на лапы. Костю подмывало желание дать выстрел.

Палец Никона, белея, стыл на шероховатой личинке курка в ожидании удобного положения.

Костя, давясь, глухо выдохнул заполнивший легкие воздух и пустил шип:

— Бей!

Отрывисто и коротко стукнул в тишине выстрел.

Когда у кустов рассеялся дым — зверя не было. Он уходил в чащу, и на тупой морде в ощур сочилась темная полоска крови.

— Ранил! — сказал Костя и, напирая до скрипа на истолченную шелуху листа, спустил курок.

Медведь взревел и мягко прянул вбок.

— Мимо! — досадливо и уверенно сказал Костя после выстрела и щелкнул затвором, выдергивая пустой патрон.

Окруживая поляну, медведь уходил.

— Пошли! — крикнул Никон и, поджимая подрагивающей рукой к боку винтовку, выскочил из лабаза.

Медведь, плюхаясь на оседающих кочках, пересекал суболоть. Пуля, взвизгнув, сбивая сухие ветви низкорослых сосен, пошла вдогонку зверю.

У божачины зверь остановился и, скупо мигая будто вшитыми в шерсть глазами, заревел.

Рыжая шапчонка, кинутая Никоном, ткнулась медведю в скулу.

Это был вызов человека зверю. Медведь засопел и, чертя лапами приплясывающую при ходьбе мотню живота, пошел на Никона.

Костя, выжидая, сидел в лабазе.

При виде Никона, вышедшего на борьбу со зверем, у него сладостно заныло сердце. События мешали планы. Ему не придется пускать картечь в спину врага: медведь изломает его в неравной борьбе.

Двадцать первый медведь, на которого вышел с ножом Никон, нес по примете гибель. Так сложилось в веках поверье, и так будет!

Зябко поеживаясь от внутреннего озноба, Костя выбежал из лабаза.

На взбухшей и влажной земле просеки надежно хранился когтистый след зверя.

Взбираясь на лобастый увал, Костя оглянулся и опять побежал от лабаза.

Сквозь флер расползающегося тумана вставала во весь рост падь. Солнце поднялось высоко, и сквозь золотую пыль, как в дымке, проходили кудряшки облаков.

Стало жарко нето от сугрева, вызванного бегом, нето от суетливого беспокойства за исход борьбы в суболоти; томительная и острая неизвестность пугала Костю.

На заброшенном сенокосе дымилось согретое солнцем одонье, оставшееся с зимы. На ископытенной земле тропки полоса — то падала тень от ребер шалаша.

От перелаза, отделявшего болото от сенокоса, долетел сухой треск ломаемых сучьев. Точно вековая ель, подточенная короедами, грохнулась в землю.

„Свалил!“ подумал Костя и зло улыбнулся.

Он представил себе, как тяжелая лапа зверя заворачивает кожу врага, от спины на голову. Дернув головой в брезгливой дрожи, он без сожаления сказал:

— Ну, Никоша, значит квиты!

Итти было тяжело. Суболоть перешла в болото, и тяжелая в мшистых кочках осока вязала ноги. Неловко оскользаясь на мшистых и заплесневелых бревнах, он пересек Опоку.

За речкой был бор, где стоял полумрак и остро пахло можжевелем. Зубчато изламывая горизонт вершинами, далеко уходили леса.

Вон и тропка, по которой пришли утром в лабаз. Выбираясь из чащи, Костя успокоительно хмыкнул:

— Ого, а крюк-то приличный сделал!

Смоченная росой трава скрипела под ногами и мочила лапти; четко и свежо блестели их квадратики на жирной земле тропки: широкие у Никона и угловатые его, Кости. Стараясь попадать в след, думал: „Походил — и хватит!“

Вот и поляна, где сутуло и настороженно дремлет лабаз. Мелькнула у примятых и сизых ольшняков синяя спина камня. Вот и осек. Примятая борьбой трава и пятнистый след пурпурной крови. Это зверь уходил в суболоть от человека.

Крепя в сердце нарастающую струю радости, Костя перелез за осек и вошел в болото. Ржавая гниль да бель мохнатых кочек тянулись перед Костей.

В болоте дремали недвижно, хороня гниль и тину, окна чарус[1]. Уродливые корявые корни сосенок тянули пищу

[1] Чаруса — окно в болоте.

из ржави и гниющей годами чернеди торфа. Сквозь седую траву Костя увидел бурое пятно. Присел и напряженно вгляделся в качающееся марево.

„Это его исконная медвежья повадка, убив человека, заваливать хвоей и листом...“ Косте стало легко, будто из него вынули пласт злобы. Поднялся, осмотрел винтовку и, обходя вислые кочки, пошел к бочажине.

Оранжевая марь солнечной пыли качалась над болотом. Сухая желтень мха с хлипом сосала ноги.

Ложе винтовки холодом жгло стынувшие в недвижности и немоте пальцы.

Мысль настороженно подстерегала: зверь ранен, залег, может встретить.

Втягивая горячую голову в нывшие от перенесенных волнений плечи, Костя вполз на горбатую кочку и лег.

Седой осочный мох жестко хрустел под локтем. Болото уходило в пармы[1], необозримое и накаляемое солнцем.

Только, что это? Почему уродливая лапа сосны сломилась и безжизненно упала на кочку?

Колючий холод испуга кроет цыпками тело Кости.

Придерживая исполосованную в борьбе рубаху, из бочажины вылезал Никон.

Да, это он! Вороная борода словно течет на грудь, и за поясом играет узкое жало ножа... Немота сковывает тело Кости.

Жив? А как же приметы, ведь на двадцать первом все ломают шею. Как же так?

Черпая лаптями ржавую воду, Костя перемахивает на соседнюю кочку. Сухая ветвь сосны царапает щеку. Тронул рукой — кровь! Вставало желание: надо уходить.

Никон его заметил, замахал руками, заулюлюкал, подзывая к себе:

— К-костя! Костяшка, я тут!

Отчаянно работая ногами, Костя не бежал — летел. Спазма страха закладывала глотку. Болото стонало под ногами. Голос догонял:

[1] Пармы — глушь.

— Костяшка! По-го-ди!

Может, он и не знал о побеге? Вернуться, сказать-де, зашиб ногу, не мог итти...

Э, кто поверит? Ушел, бросил, пусть хоть и врага, но одного со зверем...

Хлюпкие кочки не держат тела. Качаются и под напирающей тяжестью оседают в воду.

Широкой лентой разлеглась безбрежная топь. Мшистый ковер качается под ногами. Кусая воспаленные губы, Костя оглянулся. Марево зноя висело, как радуга. Крупные опаловые кочки точно проросли в горизонт. Узорный лист осени охапками сгребал ветер и уминал в колдобины. Звенела перезревшая трава.

Взывающий крик Никона ломался под ветром:

— Куда ты, ку-да, п-п-агади!..

Костя думал:

„Знаю, — зверя уложил под лопатки — и меня не сдрейфишь! А то в село приведет и скажет: вот он трус, на стерво ходили, в штаны наклал. А деревня тогда не даст тебе проходу“.

Липкая соленая кровь, стекая со щеки, мочила тугой ворот рубахи.

В ярости и волнении сорвал пуговицы:

— А, к чорту!

Кувшинки роняли в воду цветные гроздья чашечек. Клюква лиловела на оранжевой копне мха. Гривастые кочки реже, значит конец болоту.

„Эх, перемахнуть бы болото, добежать до гати, а там выждать и влепить в спину заряд...“

В падь одна дорога, гати не минешь!

Ровная, до рези в глазах, легла лужайка. Мягкий мох выложил ее ложе, и пестрый травный ковер покрыл ее, как шалью.

Раскачиваясь, Костя вымахнул над головой руки и плюхнулся в отстойную недвижность трав.

Горькая, с запахом тлена вода заполнила рот. Судорожно разрывая руками лохмы вяжущего мха, распялил в истошном крике рот:

— Тону! Помогите!

Но голос скрыла вязкая и смрадная горечь. В глазах, качаясь, сломался голубой столб неба.

Пуская пузыри и отплевываясь, Костя вынырнул и опять ушел на дно. Неодолимая сила цепко умела держать жертвы.

Тина разошлась, потом прихлынула и заполнила разрыв. Волнистая зыбь побежала лужайкой.

На ярком фуксине воды закачался плисовый ободок картуза.

Поднимаемые со дна, растаяли прозрачные пузырьки. Встревоженные движением, булькнули лягушки. Но они смолкли, и вновь стало дремотно и тихо, как прежде.

Над падью висело осеннее солнце.

Жизнь под одной крышей с Варварой тяготила Никона. Ее вид, добреющей с каждым днем, вызывал в нем бессильные приливы злости. У нее появилось желание со вкусом и просто одеваться. Наблюдая за ней злым взглядом, думал: „Когда верна была, внимания на себя не обращала, а как спуталась — сарафан — не сарафан и кофта — не кофта".

Сегодня рукава гладкие, завтра с буфами, там с кружевной отделкой, с вышивкой. Стоячий, будто на обручах, сарафан Варвара сменила на модную городскую юбку. Ступанцы из березовых лык — на башмаки со скрипом и резиновой растяжкой. Однажды он увидел на пальце перстень, блестевший синим камнем в оправе.

„Горой несет, — негодовал он, — иные как пойдут по рукам, с тела в одночасье слезут, а ей это в пользу".

Связь жены вызывала в сердце Никона тупую боль. Вчера теща с заискивающей улыбкой поднесла ему свернутую бумажку.

От бумажки исходил запах ладана и горелого масла.

— Старица у Николы-на-капельках сказала — обязательно родит к Покрову парня Варюшка.

И Никону в ту же ночь приснилось, что жена родила сына, и теща подносит его ему, радостная и заплаканная.

Никон принял ребенка на руки — разглядел и ахнул. Крутые надбровные дуги — от матери, носик с широким мясистым основанием и ямочки на подбородке — такую ямку он видел у парня, плясавшего с женой.

Прозрел, понял, чью кровь он держит на руках. Сдерживаясь, чтобы не кинуть сморщенный комочек мяса на пол, он передал его теще.

В злости думал: „Так вот он чей ублюдок? И он будет вынужден его, как отец, пестовать, считать за родного. Нет, он лучше убьет этого выродка“.

Им овладевает бешеный приступ ярости; мешает ему дышать.

В нем выросло неотвратимое желание итти, кричать, избить жену и убить ее хахаля, нарушившего его покой.

Преодолевая усталость, Никон вышел на улицу. Туда — в падь, обдумать план действий.

Лес заворожен и спит. Никон присел на обомшалый пень у проселка и стал думать.

Глухо колотилось сердце. Там в уголке его зрела жгучая ненависть. Нет, не надумаешь, нужно итти. Он порывисто вскакивает и идет просекой. Но что это? Он не туда идет. Это волок, глухомань, суземы, идут кочки... Шел долго. Смягчел, и злость растаяла, схлынула.

Остыл, и итти становилось легче. Ночь источала запахи багульника и смолы.

Припомнил первую связь тайком от жены с озорной и вертлявой Марьяшкой. Почему это она встала в памяти? Варваре не говорили. И не было стыдно. А все-таки, почему это ему можно, а жене нельзя? Вздохнул тревожно и про себя сказал:

— Правда, я поступал нехорошо, но ведь я не страдаю ничем. — Встала отчетливо в памяти поговорка: „Погуляю — в подоле не принесу“. — А она вот принесла!

Дорога на утре зыбка и пустынна. Розовел восток. Ночь уходила, отягченная думами, опустошившая сердце. Из глубины сознания плыла и другая, неясная, отгоняемая Никоном мысль:

„Может неправда? Ложь? Ничего не было? Почему

это он не может быть отцом! Ведь были же девчонки от него... Ну, стояла с парнем, спала..."

И вдруг на дороге перед Никоном вырос парень. В непокорных вихрах у него щегольски блестит лаковым козырьком картуз. Он в кумачевой рубахе, подпоясанной цветным поясом. Сапоги у него с ремнями, бубенчики на них издают хрусткий звон. Парень пляшет в присядку и кричит Никону:

— Покою тебе не дам, Вертнев! Тоской изведу, с ревности счахнешь...

Рот парня полон ослепительных зубов.

— Никон, — кричит он, — а на лбу у тебя рога, сохатый ты!

Никон поднимает руку, бежит, хочет ударить, но парень увертывается и дразнит его...

Просыпается он в поту. Сердце давит тоска. За перегородкой громко дышит Мирон. В окна бледнеет утро. Рядом спокойно спит жена. Влажный чувственный рот открыт, обнажая цепь зубов. Дрожащей рукой Никон откидывает одеяло. „Дьяволица, — думает Никон. — И род у них ведьмаческий. Ишь развалилась. И с мужем может и с другими... Полную избу ребят наносит, а я корми их".

Он цепко захватывает накаленную подушку, набрасывает на голову жены, наваливаясь всем телом.

Варвара мычит, царапает ему руки. Ноги ее судорожно стремятся сбросить его. Напрасно. Слабеет и, вздрогнув, вытягивается.

Поднялся. Отбросив подушку, прислушался. Тишина. Кончено. Выпученные белки глаз, закушенный кончик языка. Никон проходит в кухню, достает нож и, открыв Варваре рот, вталкивает язык на свое место.

Голова мертвой качается. Пястье ее руки обжигает холодом. Никон дергается, вскрикивает и падает на пол.

Перепуганные Лука и Мирон, подняв его, держат за плечи.

— Никоша, что с тобой? Али заболел?

Никон вяло кивает в сторону постели.

— Умерла. Проснулся, она как лед.

Ему насильно вливают в рот вина и укладывают спать.

Дуня обряжает мертвую, накладывает на темные глазницы медные пятаки.

6

Никон, настойчиво идущий к своей цели, добился того, что Марьяна стала его женой. Он и брат его Мирон свадьбы играли одновременно, так как лежавшая год на одре жена Мирона Дарья померла.

Через два года Никон мог наслаждаться счастьем отца. Марьяна подарила ему наследника, а еще спустя два года родила второго.

Заветные мечты, лелеемые Никоном, были осуществлены, кроме двух: получение тарутинского наследства и выхода на отруба.

Мнительная болезненная барыня после выхода Марьяны замуж окружила себя приживалками, странниками и отнюдь не думала умирать.

Права же на владение имуществом у Марьяны только приходили со смертью барыни. Марьяне, избалованной ничегонеделанием в барском доме, не улыбалась роль хозяйки у Вертневых.

На ее плечи ложилась тяжесть домашних работ, которые ей были незнакомы и утомительны.

Младшая сноха Луша, еще почти девочка, также не знала домашнего обихода.

Дымка мечтательности, присущая в первый момент сближения Марьяны с Никоном, рассеивалась. Несмотря на то что Вертневы были богаче всех на селе, полевые работы Марьяне приходилось нести, как и другим.

Ситцевые кофточки и узкие модные юбки пришлось сбросить, так как они рвались при первом прикосновении к серпу или цепу.

Засучив до локтей (где собирались две полукруглые ямки) матовые руки, она обливалась потом, месила хлебы. Никон был неутомим в труде, и жене, разделившей с ним любовь, не преминул предложить делить тяжесть труда.

В косьбе набивала на ладони кровавые мозоли, а в мо-

лотьбе, путаясь в очередности ударов по снопу, случалось, задевала цепом себе по лбу.

Никон будто этого не примечал. Иногда принимал как должное и даже нравились ее неловкость и наивность.

Но к концу первого же года надоело, и один раз на молотьбе он, отозвав Марьяну в сторону, сказал:

— Я тебя люблю больше, чем себя, но посмешищем всего села быть не хочу. Надо поучиться работать.

Марьяна, вспыхнув до корней волос, стала браниться, заплакала.

— Мужик, хам, уходи, провонял навозом... Шла я за тебя, думала, ты мне жизнь дашь, а ты только мою молодость сгубил!

Размолвка кончилась примирением. И Марьяна дала слово, что постарается научиться деревенской работе, пусть только ее не торопят.

Правда, в минуты общего веселья Никон, взяв в руки неудачно испеченный женой пирог, носил по углам, восклицая:

— Тебе, господи!

Но это уже не вызывало у нее того чувства озлобления и слезливости. Лука, промышлявший летом ловлей рыбы, откладывал в мешочки попрежнему деньги, иногда вмешивался в управление домом.

Мирон стал после смерти Дарьи отбывать в отход и также доходы копил для своей семьи. Хотя у Никона были и свои средства, но обособление дяди и брата его удручало.

В нем вновь с неодолимой силой встало желание выйти на отруба, отделить дядю и брата и зажить одному.

Но налетевшие после десятилетней жизни с Марьяной события перемешали его планы. Весть о войне ворвалась будто шквал и расстроила все хозяйственные предположения Вертиева.

Дни мобилизации особенно отчетливо стоят в памяти Никона.

Косили траву. День изнывал в пыли и зное, донимая косцов. Чертя парной воздух, летали шмели. Розовая пыль моталась над необозримой равниной лугов.

Луга стлались будто цветные шали, кое-где перемежаемые стальными полосками пересыхающей Опоки.

Там и сям темными пятнами садились копны и громоздились зароды. Звон кос, хруст срезаемой травы, песни гребцов — все это сливалось в волнующую музыку.

Никон косил у вершняков, ловко кидая косу, — темным валом за ним ложилась трава.

Хотелось пить, и он прошел к соседней полосе, где стоял жбан с квасом. Марьяна оглядела идущего к ней мужа, бросила косу и, сузив умоляющие глаза в его сторону, сказала:

— Не могу, тошнит! — и присела в тень куста.

Влажные ее глаза выражали бессилие и усталость.

Никон хотел было распорядиться, чтобы она шла домой, но раздумал и опаленным ртом припал к жбану.

Цокот конских копыт по укатанной дороге заставил Никона поднять голову и посмотреть в даль. Круглый и бородатый мужик подлетел к ним. Пепельная пыль неторопливо оседала за лошадью.

Увидев Никона, мужик смаху осадил коня и, вытягивая руку, закричал:

— Эй, дядя, подь сюда!

Кося, углом по направлению к Никону, снижался к земле выброшенный пакет.

— Сотскому передай! — кричал мужик. — От старшины это, война объявлена, ерманцы на Россию идут!

Никон, преодолевая испуг и держась рукой за саднившую от пота спину, поднял письмо.

Через полчаса набат всколыхнул село. С лугов и полей побежал народ.

Пластаясь в беге, скачущие кони ломали перезревшую траву. На проселке запела телега, и мимо Никона, бешено настегивая лошадь, проскакал Кобозев. Порожний жбан, подпрыгивая в передке, оглушающе грохотал.

Гремя ведерками и чайниками, вприпрыжку пронеслись мальчишки. От изб потянулся дым — это готовили подорожники.

Заплаканные бабы топили для мужей бани, и их бабий

вой создавал суматоху и напряженность в селе. Спешно мазали дегтем сбрую и бежали на выгон ловить лошадей.

У Ноздриных отчаянно голосила гармоника, а младший сын плакал пьяно на плече отца.

Испуганно кучами слонялись ребятишки.

Напуганные ревом гармоник, выли собаки.

Вечером, когда жар спал, собрались у околицы.

Вереница телег, выстроенная от ворот до избы Кобозевых, стояла в какой-то обреченности.

Понурые кони, мешки и торбы с хлебом, вязки лаптей, зипуны — создавали картину похода.

Вразнобой и навзрыд плакали бабы. Мужики крепились, и когда только тронулись по тракту, кое-кто, крестясь на церковь, уронил на грудь слезу.

Толпа женщин с детишками сопровождала повозки до шестой версты.

Уже все отстали, рассеялись, ушли обратно в село, а молодая жена Ноздрина шла за мужем.

Он, обняв ее покатые плечи, тихонько увещевал, упрашивая проститься. Там, где тракт делал луку, они поцеловались. На эту сцену хмуро посмотрели соседи и отвернулись. Ломая руки, она повисла у него на шее, безумно целуя его загорелое лицо.

Когда он ее стряхнул, она сдернула с головы платок и, дико взвизгнув, бросилась к задней телеге. Но ноги отказались служить, и она, держась за задок, поволоклась, чертя лаптями песок.

Ее грубо оторвали; она вскрикнула и осталась лежать недвижно.

Мобилизации следовали одна за другой. После первой партии взяли сразу четыре года ратников. Пошли слухи, что возьмут всех мужчин до сорока лет. В Раменье устроили сборный пункт, так как волость отстояла за сорок верст.

Через месяц был смотр лошадей. И сорок перворазрядных угнали в город.

После мобилизации лошадей были взяты коровы. Перед

тем как их угнать, у церкви поп отслужил молебен. Бабы, подгоняя коров хворостинами, ругались:

— Почему это только у нас, а голодаевские где? Чем они нас святее?

Никон, наблюдавший за этой сценой, сказал Кобозеву:

— А ведь верно это, и народ наш, и скот наш, а эти, как байбаки, — и добавил: — Мобилизация лошадей, а они безлошадники. Коров просят, а у них на поверку одна подойница. Самих брить — то грыжа у них, то килуны, все не слава богу. Чудной народ.

Голодаевец Довбня, прослышав разговор Никона, высказался вслух:

— А откуда нам взять? „Ни кола, ни двора, зипун — весь пожиток". Чем скот-то кормить, если сено на десять лет вперед богатому мужику продано? Земля запустошена — хлеба нет. А насчет грыжи — это верно. У лешегонов ей быть не с чего. Около баб всю жизнь околачиваются. Пудовки лишней не перебросят. А ты чуть смотался на ноги, тебя в колье, и в мелье, и в лес по дрова. Меня с восьми лет в оборот взяли. В сенной лавке гири ворочал, сено отпускал возчикам. Одиннадцати — на пароход к Варакину поступил. Не принимали, мал, говорят, пошел отец к писарю, сунул рублевик, подмахнули лет в пачпорт до шестнадцати — и приняли.

Вздохнув, Довбня продолжает:

— Ну, вот и понятно, почему я болен и раньше времени состарился. А Вертневу негде урваться. Меня чуть ветерком хватило, — и насморк готов, а он в сенокос квас со льдом жрет — хоть бы хны. Зимой в мороз дрова рубит и рукавиц не имеет, а ты в тулупе засох. Д-да! Такие-то дела у нас.

И когда он узнает, что богатеи Кобозевы и Вертневы остались в городе и не пошли на военную службу, спрашивает:

— А говорят: „правда"! Да ее днем с огнем не сыщешь, правду-то. У богатого мужика в мошне она, наверно. Недаром сказывают, деньги вострее ножа. Ты скажи только, пожалуйста! И раньше в старину богачи не ходили на

службу, какие-то квитанции покупали. Заплотят деньги, а за его другого служить пошлют. А наш брат, беднота, по двадцать пять лет парились в казармах. А служба такая, что в каторгу итти, то и туда. Сгрубил дядьке и — дисциплинарный батальон. Защищаться — заколют, а то поставят роту солдат, каждому по палке дадут, руки тебе назад выкрутят, к ружьям привяжут и поведут...

— Царя этого Палкиным так и звали. Ну, понятно, он все это знал, а для приличия отговаривался:

„Зато, гит, у нас смертной казни нет“.

Довбню слушают пять мужиков у костра в лесу, где они заготовляют для зимы дрова.

— Сволочь какая! — кричит в ответ Ванька Лопта и вскакивает в негодовании с места. — Да я бы такому царю...

— Чего-чего? — спрашивает Ваньку Чиркин, придвигаясь ближе. — Ты о царе-то не очень. Не знаешь, что было Кочину за то, что он на царском портретике глаза выколол? И теперь в Сибири парится.

Ванька беспомощно машет рукой и, усаживаясь плотнее, бросает:

— Знаю я, знаю, а все-таки подлость, понимаешь! Взять человека и двадцать лет в казармах держать, пока не состарится.

— Это еще ничего, — говорит Довбня, — а вот кантонисты такие были. То есть к военным их причисляли на всю жизнь, дак у них и сыновья сызмала к ротам приписывались. Вы понимаете? — обводит он глазами лица мужиков, освещенные пламенем костра. — Всю жизнь не только сам, но и потомство на военной ноге. Муштра, палки.

— А теперь лучше? — кричит Лопта. — Сколько народу вшей в окопах кормит, а наши богачи лизоблюдами служат. Фараонов почему не берут на фронт? В город я не могу из этого ездить. Стоит на перекрестке рожа, что решето, а воевать не хочет. Хотел я было добровольцем итти, да вижу такое мошенство, раздумал.

Когда Довбня уходит сбирать для костра хворост, Лопта, склоняясь к Чиркину, шепчет:

— Ты слышишь, как он про царя-то гнул?

Чиркин, топыря бороду, отмахивается:

— А ты не слушай!

Ванька принимает строгий вид:

— Скажи пожалуйста, мне говорят, а я уши затыкать должен? Я хоть и не пойду воевать, а не могу терпеть, коли войну нашу хают. Газеты, гит, врут. Если тридцать тысяч пленных и сто пушек там черным по белому написано. Кто же ее, газету, выходит, выпускает, ведь власть, и неужто она врать будет?

Непримиримость в Довбню была вправлена еще японской войной. Он охотно слушал Паньшина и Ланчу, которые были его близкими друзьями. Кроме того ему приходилось встречаться с политическими, которых гнали на север по этапу.

В Раменье была этапная изба, которую содержал Кобозев. Хотя конвойная стража и не разрешала арестованным общаться с населением, но все же удавалось видеть Довбне ссыльных, говорить с ними и доставать для них продукты. Он вначале, как и все мужики, не понимал и сторонился этих людей.

Кличка „политикант" казалась ему позорной и звучала чуть ли не хуже, чем арестант.

Он иногда раздумывался над этим и крайне удивлялся той силе воли и терпению, которые были присущи этим людям.

Он видел седых стариков, лица которых были изборождены морщинами, и юных подростков с светлым пушком на губе и ясными глазами, девушек стройных, застенчивых, добрых и таких простых.

— Зачем они идут и куда? — спрашивал он себя и не мог найти ответа.

Он слыхал, что они не веруют в бога и идут против царя. „Может, бога-то и в самом деле нет? — думает он. — Ведь его никто не видал, а царя-то они зря. Поди-ка, какая уйма ему дела, царю-то? Сколько народу, всем услужи, и милуй, и суди, и налог сбери, и обучи". И все же он не мог мириться с тем, что человек бросает семью, дом, землю,

идет по этапу в чужие края, терпя голод, холод, оскорбления от стражи и урядников.

— Не понимаю, — шепчет он. — Почему это они не живут как все, как я, тихо, мирно, как у Христа за пазухой. Никто меня не бьет, не гонит.

И охотно верил попу Шкоде, уверявшему, что „политиканты“ мутят народ. А поэтому, если какой сиганул из-под ареста, его надо держать и не пущать. Он даже охотно служил этому, и раз на десятой версте поймал политичку. Молодая, хрупкая, почти девочка, она сбежала во время чаепития конвойных. Когда Довбня поймал ее за острый локоть и сжал, она, вывертываясь, ударила его в подбородок. Скверно ругаясь, он грубо схватил ее за волосы и притиснул к земле. За подвиг ему дали пятерку на чай и урядник пожал руку.

После того как к Кобозевым поселили ссыльного Козляка, он сам предложил уряднику следить за политическим.

— Рубль в месяц — не баран чихнул! — сказал урядник. — На табак не мешает, и царю послужишь.

И высокий старик, стриженный под ежика, попал под незримую опеку Довбни.

Шел ли в лес — за ним следовал Довбня, оставаясь невдалеке, делая засечки на сосенках или вырубая жерди...

Шел купаться, а Довбня сидел вблизи с удочкой.

Старик вначале было не примечал, но однажды, когда Довбня себя бесцеремонно повел, заглянув через окно в комнату, тот его приметил. Перевешиваясь через подоконник, старик поманил Довбню.

Тот, напуская на себя развязность, подошел, ожидая выговора.

— Куришь? — спросил он мягко, мигая ресницами.

Довбня сознался:

— Курю, но с собою ничего нет.

— А-а! — сказал многозначительно Козляк и подал ему через окно сигару.

Довбня оглянулся, не наблюдает ли кто, и несмело взял подарок. Повертел в руках, пососал кончик, плюнул и, положив в шапку, откланялся.

— Закуривай! — предложил старик.

Довбня, тупясь, сознался:

— Вишь, я не умею.

Старик усмехнулся, попросил сигару обратно, срезал кончик мундштука ножницами и, зажигая спичку, вернул обратно.

Через день, подходя к окну, Довбня поздоровался со стариком, как с знакомым. Облокотясь на подоконник, он прикурил от протянутой спички.

— Весь день сосал, — сообщил он и осведомился: — А поди, дорогие они?

Старик сказал.

— А крепкие какие, прямо страсть! — довольным тоном заметил Довбня. — Курнул два раза, и голова шумит-шумит...

Вечером он повел старика показывать, как нужно ставить помчи и ловить хайрузов.

Урядник, узнав о знакомстве Довбни с политическим, посоветовал:

— А ты губы-то не распускай с ним. Рубль я тебе за то дело еще накину. Узнаешь, кто к нему ходит, с кем балакает и о чем.

Неприязнь Довбни к старику сменилась признательностью, после того как тот научил его шить сапоги.

— Ремесло за плечьми не висит! — убеждающе говорил Козляк, — а кусок хлеба этим делом ты всегда добудешь.

Зимой они вместе с ним организовали валяное дело. Урядник заходил в квартиру Козляка, заставал Довбню, который гудел струной, разбивая шерсть, и, усмехаясь, уходил домой. Но после того как к старику стали частенько наведываться Паньшин и Ланча, он обеспокоенно спрашивал Довбню:

— Ну, как там они, царя ругают?

Довбня махал рукой.

— Какой там царь, в лото весь вечер дуются.

Скоро квартира старика стала чуть ли не каждый вечер посещаться деревенцами. То заходил мужик, упрашивая рассказать состав окраски для дуг. То тянулась баба с просьбой

показать, как готовить впрок огурцы. Несли грибы, прося произвести при них пробную засолку, ягоды. Старик стойко шел навстречу и, ласково улыбаясь, помогал советом каждому.

Такое обращение Козляка с людьми перевернуло взгляд Довбни на политических.

— Это не человек, а ангел, — говорил он Ланче. — Год живет — черным словом никого не обругал. Не чета уряднику, который в бога да в рот только знает крыть. — И удивленно разводил руками: — Не понимаю, за что таких людей ссылают?

И после того как старик рассказал, за что он страдает и борется, Довбня бесповоротно решил: допытаться обо всем самому из книг. Книжки, которые давал ему Ланча и Паньшин, он хранил в особом кармане, подшитом изнутри в брюки.

— Эвон оно как! — сказал он, узнав, что царь — самый крупный помещик в России. — Ведь как народ опутали! Пятнадцать тысяч платьев после смерти царицы Лисаветы осталось. А почему, скажи, моя баба двумя обходится? Одно на себе, другое в стирку. Нет, скажи, с жиру они бесятся, вот что!.. Нам жрать нечего, с голодухи пухнем, а они в теплые края ездят жир спускать. Собак стаи держат, лакеев наймают, мыть в ваннах, блох вычесывают, — конурка, што те моя изба. А тут людей ни во что не ценят. У, сволочи! — скрипит он зубами, сжимая кулаки, и в нем встает желание избить урядника.

Он заверяет старика после беседы:

— Я-то, может, сам и сгожусь в политике, а ребята растут — по ней прямо и пойдут, я им так и накажу: Тихон и Платон, слушай меня, старого дурака. Идите за бедный народ.

Он охотно подтягивает Ланче и Паньшину, которые поют:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног,
Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог.

— Ненавистен! — утверждает он и будто заряженный злобой уходит домой.

Однажды старик прибежал к нему в избу и, растроганно обняв его, заговорил:

— Ударил час, свершилось, свобода идет, встает народ!

Довбня спросонок тер глаза кулаками, не понимая — в чем дело.

— Ты понимаешь? — возбужденно кричал Козляк. — Революция идет, бунты в деревне, мужики именья громят. Рабочие с флагами ходят, забастовки устраивают!

Вечером из города приезжают Ланча и Паньшин и делятся новостями.

— Народу собралось уйма. Красные флаги. Львов речь высказал. Марсельезу спели. Думу царь обещает, и землю и волю.

Козляк, слушая, все же недоверчиво качает головой:

— Обманут, ох, обманут! — говорит он. — Это их приспичило, ну и сулят. Отойдет, завинтят, не охнешь.

Срок высылки его кончается, и он покидает село, обещая переписываться с друзьями.

Узнав о расстреле рабочих, шедших с просьбой к царю, Ланча объявил Паньшину и Довбне:

— Знаете, я тут не могу, я еду в Архангельск, денег зароблю на дорогу, а потом в Питер подамся. Тут у вас со скуки сдохнешь.

Но ехать ему не удалось. Его в тот же день арестовали. Забрали и Паньшина. Их, связанных, держали в телеге, и перед выстроившимися в ряд мужиками урядник кричал:

— Сгною в тюрьме сукиных сыновей! Упеку, куда Макар телят не гонял!

Он пьян, возбужден.

Довбне, стоящему в толпе, приходят в память слова Козляка: „Я не могу так, я критически мыслящая личность, а вы куренок, которому мякину суют в рот, и он ее глотает". Довбня хочет что-то сказать в защиту друзей, но урядник жалит его глазами, и он опускает голову.

Лошади круто берут с места...

— Семь лет! — шепчет Довбня, узнав о приговоре по

делу Ланчи и Паньшина. — За что? За то, что пели песни против царя.

— И ты пел? — подозрительно сощуривая глаза, спрашивает его урядник и машет рукой. — Скажи, расположен я к тебе больше всего и прощаю, но чтоб о политике ни гу-гу.

Довбня внешне подчиняется, но при всяком удобном случае сеет семена злости и недоверия к царскому строю.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Годы царской войны, сникнувшие как вода, положили сетку морщин на покатый лоб Никона Вертнева и высеребрили бороду. У него поднялись женихами вихлястый, с постным лицом Пантя и Дмитрий, любимец Никона.

Наливаясь добротой, Никон как-то утром с женой поделился вынашиваемой мыслью:

— Внучка бы заиметь не плохо, — и заглянул Марьяне в глаза.

Она, разглаживая трубчатый подол сарафана на согнутых под прямым углом ногах, согласилась:

— Это ты верно, только боюсь я, бабы ныне вольные пошли. Такую возьмешь, что и не возрадуешься. Весь дом перекрутит. Живем, живем вместе, а вдруг на дележку собьет.

Никон, подумав, осторожно заметил:

— А ты не гони, чай не перестарок, оженить успеем, вот дом новый отделаем, и засылать можно. А пока с свахами там пошукай, бабы они продувные, девок насквозь видят.

Вертневы строились, вытряхивая из заветных шкатулок деньги, скопленные за войну. Война прошла боком, не задев вертневского дома. Сыновья не подпадали под призыв по молодости, а Никон с Мироном дальше своего уездного города не выезжали. В то время как у других хозяйство упало, Никон сумел его удвоить. Весть о падении царя он встретил сдержанно:

— Без царя жить не будут, — заявил он после известия

от ктитора Кобозева, выведавшего в городе, что царя нет. — Какого-нибудь, да сыщут, — и примирился с этим.

— Наше дело маленькое, — резонерствовал он, — поел, да и в хлев. Нас, мужиков, мало кто и понимает, кого посадят, того и слушать будем! Временная власть, так временная, мне все равно!

Мнительный Лука, ощерив чернь ущербленных зубов, засоривших рот, сомневающе возразил:

— Ты, брат, пальца им не клади, это они спервоначалу добреют, а потом зажмут, не охнешь.

У всякого добытчика так повелось, что новая метла всегда чисто метет. Но после того как Кобозев попал выборным в земельный комитет, Лука добрым голосом объявил:

— А эти куда чище Николки будут. Народ свойский. Приезжал из ихних один в волость и речь балакал, дескать, все для вас, мужички, золя и свобода. Земля и воля! — поправился он, — это я понимаю. Это в нашу, брат, пользу, — потому, вишь, мужиков-старателей и выбирают, не голодранца какого-нибудь, а степенного, домовитого.

Возвращаясь от церковной службы, он поведал:

— А переменная власть эта из умных мужиков, стало быть, собрана. Батюшка читал бумагу такую, где об мужиках все просказано и просьба до нас. Ни вершка земли русской для неметчины. Война до победы над супостатом. Все, как один, умрем на поле брани. Здорово говорил, индо меня слеза прошибла.

— Умный у нас поп, — помолчав, сказал Лука, — таких попов, я смекаю, вряд ли сыщешь, довоенный поп, без подделки... Что скажет — мертво. Да как начал все из писания примеры приводит, из библии вывертывать, даже на душе захолонуло. „И мор, и глад, гит, посетит землю, и египетские казни. И война несусветная пойдет между людьми, и брат на брата, и сын на отца". И объявил еще, что какой-то шпион немецкий к нам в Россию под пломбой привезен, и он мутит народ и братоубийство устроит. На войне солдат настраивает оружие бросать да брататься. А ты скажи, — всплескивает он руками, — брататься! Это

нехристеву рожу-то целовать? Да я думаю, у них и бога нет вовсе, а так, видимость одна. А раз нет бога, рази это народ? Так...

Он смолкает, прохаживаясь в раздумьи по избе, и продолжает:

— Сумленье, значит, шпион-то этот, Лениным его кличут, сеет в народе, смуту затевает, — кричит — долой десять министров баржуев! И прозвище какое-то немецкое, — заключает Лука.

— А спросим его, любезного, кого заместо этих десяти? Голодранцев? Ведь руль власти велик есть, не все могут этот жребий нести, а избранные только, опять не всякого к этому делу допустить можно. Скажем, у нас в волости? Неужто Хахалу какого-нибудь старшиной выбрать, а Ветлугина забраковать? Первый — пастух, нищета, а второй — в достатке человек, ума отменного, в летах и уважением пользуется. Так и там. Выбирают тех, кто посноровнее. Еще про деньги говорили, заем слободы какой-то. Шибко-то я не понял, но уразумел одно — денег требовают. Ты как думаешь, — спросил он Никона, — дать им?

Никон, державший на уме мысли, что ему все равно не владеть дядиным богатством, предчувствуя возможность раздела, когда горбун уйдет с Мироном, сказал:

— Я думаю, надо. К чему тебе их дома держать? Первое — хлопотно и опасно, чуть что — пожар, избави бог, — голеньким выскочишь, а там, в казне, они сохраннее. Опять проценты. Годовые пойдут, их немалая толика наберется, я думаю, на одни проценты жить можно.

Лука скромничал:

— Какие уж там проценты, велики ли мои достатки, просто сказать смешно...

А заутро, тщательно сосчитав золотые, снес их попу Шкоде, оставив кредитки. Полегче хранить будет, — рассуждал он.

Поп Шкода, заручившись денежным подкреплением, в ближайший праздник выступил с проповедью. Проповедь, выдержанная в духе непримиримости к неметчине, возымела успех, и старики, жавшиеся доселе, раскошелились.

Лука, волнуясь от публичного прославления его попом, вечером кричал Никону:

— Кто я есмь, червь незаметный, а обо мне говорят! Заговорят, — подмигнул он Мирону, — учитель обещал в газетах обо мне пропечатать. Что, дескать, такой-то крестьянин жертвует все свои деньги государству и просит добить немцев. Добить и изничтожить, как пакость! — заключает он, повертываясь на каблуке. — А то нет, — немцем пушку зарядить и выстрелить. На! Лети, Ирод, и вперед не смей лезть на святую Русь. Сказывают, нам в помощь гличанка и хранцуз подкатились, а наши так будто бы и не очень, а все же говорят: пожалуйста, раз на немцев у вас такой зуб имеется. Втроем драться посноровнее...

Харлампий, пришедший по ранению на побывку, собрав на голодаевской стороне мужиков, рассказал им правду о войне.

Колобок, выведав о речи матроса, прибежал к Вертневым и заговорил:

— Вы понимаете, милые мои, какую речь он подводит. Ленин, гит, за бедный народ страдает. Он-де землю народу даст. А эта власть — баржуйская, обманывает нас и облегченья не дает. Те же штаны, гит, вышли, только назад гашником. В комитетах этих министры ихние земельные все законы о земле похоронят. А надо, гит, раскол форменный сделать. Весь народ на бедных и богатых разбить. У богатых взять и бедным дать. Землю поделить, лес, сенокос, деньги, чтоб все были ровня, никому чтоб было не обидно.

Никона взорвали слова Колобка.

— Вон оно как! — низко закричал он. — Делить, а они наживали нам имущество-то? Я работал, у меня мозоли с рук не сходили, а он там, лежа за кустом, сало наращивал, да я с ним и делись. Н-нет! — отчеканил он, — этот номер им не пройдет, война будет, — и в изнеможении сел на лавку.

Лука от кута помог:

— Вот оно и выходит по писанию, как наяву: „Придут люди, будут ублажать зас и речи медовые говорить и гнать будут пророков ваших...“

Никон, отмахиваясь, бросил:

— Поехал, „пророки, пророки“ — заладил одно!.. Тут, скажи, воевать народ не хочет, устал. Озлобление растет, хлеба нет, скот отобран, товаров нет, деньги дешевеют. Вот беда в чем!

— Эх, зря они войну-то! — сказал он. — Поукоротить бы руки кой-кому надо, чорт с ним и с немцем. Пусть бы хоть вперед свои дела домашние устроили, а то в Рассее кутерьма такая. Война — наша гибель, ей-бог гибель.

Лука, прерывая Никона и брызгая слюной с губ, кричит:

— Нет, хорошо! Правильная это власть, законная. Пусть нас не замают, а то окажи слабость, всяк тебя забидит. Одолеем немца — все будет, и хлеб, и товары.

Весть о расколе власти и выступлении „большаков“ приводит Луку в бешенство.

— Ведь горстка их, горстка, — говорит он, — а, скажи, живуче крапивное семя. Нашего одного Хахаленка убрать из деревни — пустяк, а там в Питере их уйма. Да я бы их, чертей, за ноги да головой об угол.

В октябре в село приехал Хахала с сыном Довбни Тихоном. На матросе поперек тела была надета патронная лента, и в желтом кобуре виднелся револьвер.

Он собрал голодаевских мужиков около церкви и сказал им:

— Товарищи! Слушайте меня...

— Говори! — ответил стоявший в переднем ряду Довбня, — да порезоннее, чтоб и задние слышали.

— Товарищи! — начал матрос, выждав, когда толпа стихла. — Вы знаете, как я жил?

— Знаем! — потупясь, сказали солдатки. — Известно, пастушье дело — не сладость.

— Во! — подтвердил матрос, — а теперь я гражданин — большевик. Ленин наш начальник, всю буржуйскую сволочь на мушку взял. Большевики взяли власть. Советы заместо земств будут и в советах вы сядете. Приказано вам сказать, что все теперь наше, и земля и небо. Как вы беднота есть, то всему полные хозяева. Комитеты бедноты сказано сбирать и бедных от богатых отсортировывать.

— По-евангельски: одесную и ошуюю! — крикнул Лука и спрятался.

— С богатых контрибуцию приказано комитету собрать, — продолжал матрос, — и чтоб деньги те в сохранности поступили в волость. А также велено земельные комиссии организовать и приступить к дележу земли. Ну, ребята, вот пока и все. Поговорил бы я больше, да в город ехать надо, красную гвардию мы собираем, а вы тут орудуйте. Тихон вас научит.

Сказал и сел в машинку, — она зачихала, закашляла дымом и укатила за околицу.

Когда на деревне появился комбед, Лука угрожающе рассказал Никону:

— У этих не шипи: сказывают, чуть што — к стенке, и нет ваших...

Никон, хмурясь, недовольно одернул дядю:

— Это ты зря, как это так к стенке? Без суда никакая власть не живет, без дела не пришьют!

Упорствуя, горбун убеждал:

— Да еще как пришьют-то, да и ответ держать не будут, чего уж хорошего, коли Хахалу в комбеду эту самую выбрали. Правитель тоже, трем собакам щей разлить не умеет, а к власти приставлен. Я и то с Тихоном нонче поругался. Кричит, за вас ходили бороться, а вы в тылу, гит, тут ханжу гнали да лопали. А я ему и скажи: „Вы за шинелями ходили, а то одеться у вас не во што было". Дык, понимаешь, аж побелел весь...

Никон гневно и вызывающе заорал на горбуна:

— А ты слюни распустил, попадись бы он мне, я бы ему показал!

На столе, оплывая кипятком, журчливо фыркал самовар. Кот, выгнув коромыслом спину, спрыгнул с недовязанным чулком, брошенным на лавку Марьяной. Поймав чулок, Никон спросил затихшего у стола дядю:

— Да, гишь, комбеду организовали, и што жа она будет делать?

Горбун отмахнулся:

— А кто их знает, сбираются все, чего-то толкуют,

а что — мне не известно. Меня с тобой, вишь, в буржуи зачислили!

Утром в ближний праздник Никон встретил Колобка на мельнице. Жернова дробно и гулко выбивали дробь, тревожа замкнутую сонь замшалого сруба. С серых стен, попыхивая, падал на пол пепельный бус. Пахло махрой и тленом сгнивающих бревен. Сухо здороваясь за руку, Никон испытующе взглянул мужику в глаза, спросил:

— Говорят, Тихонко и Хахала меня к буржуям причислили, ты не знаешь?

Лукаво улыбаясь, Колобок уклончиво и неспешно ответил:

— А кто их знает, молодые-то — они нас, стариков, к себе не шибко принимают. Жизнь ныне обернулась к нам боком, чево молодые скажут, на том и остановится, а наши слова и во внимание не берут!

Никон неодобрительно покачал головой.

— Ишь ты, как они дела-то ставят. — Помолчав, он спросил: — Это што же — они без стариков жить вздумали? — и, горячась, напористо крикнул: — Развалят все, развалят, нахрапом жизнь берут, а жизнь жить — не поле объехать, надо умеючи за нее браться!

Разговор с Колобком поселил тревогу в сердце Никона. „Что же это за распорядок? — думал он. — Самую что ни на есть шантрапу собрали, белогубиков, молоко еще у них на губах не обсохло, и верховодить над деревней посадили“. Тоска и злоба распирали ему грудь. Жалуясь на порядки, он, возвратясь домой, рассказал Марьяне:

— Ныне, вишь, баба, старых на-смарку пускают. Ходил Ветлугин девять лет старшиной, почет от всей волости заслужил, а для нового дела не подходит, на сходе голоса не дают!

Марьяна, утирая тыльной стороной руки губы, предупреждающе сказала Никону:

— А тебе ровно больше всех надо. Кто тебя страдать за всех просит? Сидел бы дома да за делом смотрел, а то тебя все на деревню за чем-то тянет.

Никон протестующе отмахивался:

— А рази утерпишь! Што я — оглашенный, што ля, какой, — дома сидеть? Этак посидишь, посидишь, да с тоски и счахнешь...

По утрам в горнице молодая жена Мирона Луша готовила холсты.

Никон, ворочаясь на полатях, шумел, спустив нечесаные хлопья волос:

— Спать не дают, все уши прожужжали.

Марьяна, перебегая от печи, огрызалась:

— Помешали, вишь, ему! Спал бы тогда с вечера, как люди, а то как полуношник бродит, а утром ему спать давай!

Тоска, не рассеиваясь, захватывала Никона. Отплевываясь, он грустно соглашался:

— Верно это, а што если я не могу? Зажало сердце, а с чего бы, ума никак не приложу!

Никон страдал за добро, добытое во время голода и войны. Излюбленная Марьяной рухлядь занимала сундуки. Хлеб при товарообмене с приезжими из города грел руки Вертневым. Тяжелые кованые сундуки перекочевали к ним из тарутинских покоев после смерти барыни. Зеркала с мраморными подставками заняли углы горниц. Дремала в пыльных чехлах мебель, Кричаще с пузатого комода пятил трубу граммофон. На рояли, за недостатком места приютившейся в сенях, спала окотившаяся кошка.

Дмитрий и Пантя щеголяли в шикарных, в полоску, костюмах. На смену лаптям пришли с узким носочком гамаши и модные, в шашку, носки.

Жизнь советов считалась днями. Никон Вертнев на собраниях деревни в присутствии Хахалы и Довбни высказал эту укоренившуюся со временем мысль:

— Коммунистам и дыху осталось неделю!

А мельник Марушко на селе объявил:

— Власть падет, уступаю два бревна и слегу для виселицы!

Кобозев, церковный староста, потрясая вожжами, восклицал:

— Вот на этих вожжах всех вас, коммунистов, само-

лично перевешаю! Рядышком, рядышком. В первую голову Тихонка, Платонка и Хахалу!

Довбня, вслушиваясь в слова свирепеющего старика, пошутил:

— А как, со скамеечкой будешь вешать или без?

Кобозев, ошалело мотая головой и отплевываясь, убежал домой.

С приходом Хахалы домой, по ранению, Раменье ожило. Комбед расколол до дна лешегонское гнездо. Никон, узнав о затее комбеда с постройкой мельницы, кратко заключил:

— Ничего не выйдет, голова у них не на том конце...

Но молодежь поддержала комбед, организовав партийную ячейку. На взносы по фунту муки с едока приступили к постройке мельницы.

Больших надежд на эту затею не возлагали и старики. Уходя с собраний, сетовали:

— Есть вот фонд-то — и постройка дышит, уйдет фонд — и замрет все!

После смерти первого председателя Горюшкина выбрали Хахалу.

Выбирали — так, запросто: пусть послужит.

С папкой подмышкой он обходил село, а ему вслед, улюлюкая, пели раменские мальчишки:

Комитеты, комитеты,
Комитеты бедные.
Не от вас ли, комитеты,
Стали люди бледные...

Через месяц Хахала выхлопотал жернова и оборудование для мельницы. Кулаки раздосадованно заключили:

— Буса мельничного не нюхали, а за помол берутся, хлеб только им портить...

А все же выжидали, что будет.

Дорога с весны еще не просохла, и бревно, положенное комлем на ось, вдавливало телегу до трубиц. Тогда настелили жердей, на бревнах дали по лысинке, зацепили веревкой и потащили бревно волоком. Нагнали плотников на закладку мельницы. Хахала прыгал с ватерпасом в руке и, ложа его ребром на бревно, задорно кричал:

— А ну-ка, давай его сюда!

Бревно послушно, будто живое, ложилось на клеть.

Вертнев слюной истекал от злобы и подбивал бедноту:

— Время — вешна на носу, своей работы невпроворот, а вы его, беса, слушаете?

Хахала разубеждал сомневающихся:

— Ничего, ребята, дело общее, друг другу помогать надо!

Таскали голодаевцы бревна, ворча и негодуя:

— Подумаешь, купцы какие, мельницы строить берутся, а истолочь в ступе пуд овса не умеют!

С заброшенного в лесу частного заводика перевезли оборудование и открыли смолокуренный завод. На собрании Харлампий насел на деревенцев:

— Все зимы слонов без дела гоняете, а глянь, што лесу-то? Руби сто лет — не вырубишь. Дела-то, дела!..

Через год на Опоке работали мельница и смолокуренный завод.

— Эвона, сырья-то что! — говорил Хахала. — Робь годы, не изработаешь!

Старики смягчились и сетовали на себя:

— Вона она, казна-то! Хочешь купить скотинку, дают денег, машину — тоже. А то раньше из долгов у мельника не выходили. И верно ведь, обществом-то оно жить слободнее!..

Когда Харлампий, мобилизованный на фронт партячейкой, уезжал, то на станцию вся артель вышла его провожать. Он вместо себя оставлял Довбню, дав поручение хранить мельницу и не допускать развала артели.

Из армии писал письма, где давал советы, как вести дело. Но война росла и захватывала артельщиков на фронты, ломая костяк артели. После двухгодичного хозяйничанья заводик закрыли, а лесопилку и мельницу сдали в аренду. Гневное письмо на имя Довбни, посланное Харлампием, со всей строгостью било фактами.

„У вас нет чувства ответственности за общее дело,— писал он Довбне. — Вы кулачью потрафляете и даете ему жить за наш счет. Вместо того чтобы отбирать у них

имеющиеся мельницы, вы выстроенные народом отдаете в аренду. Это измена (извини за резкость) партии и советской власти. Уж от кого угодно, но от вас этого ждать было нельзя. Если вас сбила отсталая часть артели, то надо ей противопоставить организованность более сознательных. Ведь мельница — это кулацкий форпост. Вы пишете, что сдали ее под контроль агента из исполкома. Но я сомневаюсь, будет ли стоек этот человек перед кулаком. Скрыть норму размола, недоплатить налог — это хорошо умеет кулак, а тем вы обрекаете на голодовку на год две-три семьи. Если вы не исправите этой ошибки, то я вас не считаю друзьями и по приходе буду драться до бесчувствия.

Известный вам Харлампий Дюдин".

Прочитав письмо, Довбня сказал присутствовавшему при этом Ноздрину:

— Уж напорист он, да некстати. У меня Платонко весь год больной лежит, Тихонко на войне, сам я, как волчок, верчусь на работе. Ему хорошо там петь, — и голос Довбни зазвучал обидой, — он один, баба и ребята за плечами не висят. А тут кое-как управляешься. То тебя с лошадью на заготовку леса гонят, то красноармейкам землю обрабливай, то в совете нагрузка. Извелся на пашне. На одной лошади пашу, другая кормится, первая в корму, на второй поехал. До мельниц ли тут? Брошу помогать, кто работать будет у солдаток землю? У Вертневых вон два парня выше отца, да и сам любому молодяжке салазки загнет, а много они землю в обработку берут? Говорят, ни к чему. А я так не смотрю. Раз не сгодился на фронт, давай в тылу хлеб делать. Дай срок, кончится война, придут ребята, будем опять дела обмозговывать. И никто кулаку уступок не думает делать. Лучше, по-моему, хоть сто пудов муки за аренду мельницы получить, чем ничего не иметь.

Но письмо, посланное Довбней Харлампию, осталось без ответа. Крутой в действиях, матрос был непреклонен и в течение трех лет не сообщал о себе, где он.

А в селе накручивались на колесо жизни события, одно

другого стремительней. Рубили в лоск корабельные рощи и делили сенокос. Разграбили пустовавший винокуренный заводик и сожгли дачу выселившегося в город помещика Ноготкова. Бесхлебье и бесскотье ломало лешегонские семьи, как буря карточные домики. Приезжавших с фронтов на побывку односельчан осаждали всем селом, пытаясь выведать о конце войны.

Но конца ее было не видно. Враг со всех сторон обкладывал страну. При неудачах или дурных вестях с фронта богатеи Раменья поднимали голову.

— Конец приходит! — говорили они. — Дай только срок — власть сверзить, припомните вы наши контрибуции и обыски.

Лука, удрученный тоской по сгинувшим деньгам, вложенным на заем свободы, сказал:

— Падет власть антихриста, выйдут им мои деньги кровные боком!

С бранью встречал он отряды, заходившие проверять хлеб:

— К стенке стану, — верещал он, топыря на голове редкие седые волосы, — а не уступлю своего, нет у меня вам хлеба!

Рослые загорелые армейцы легонько оттирали его плечом.

— Брось, дед, зря ты это. И тебе хватит. Как тебе не стыдно на старости лет хитрить? Ешь ты, сколько хочешь, а в городе рабочие на осьмушке сидят!

— Зато они власть имеют, — язвил старик. — Дектатура, а чай ложками делят, по десять фунтов овса на нос дают. Намедни на сорок голов бабьих один платок дали.

Армейцы, усмехаясь, покидали двор. Оставаясь один, Лука находил кого-либо из сельчан и высказывал мучившие его слова:

— А почему раньше все было? А потому, что зависти не было. Все за одного, один за всех. А теперь последнюю кожу с мужика содрать рады. Полосы пустуют — и хлеба нет. Трава гниет на корню, сена нет. Ничего нет, окромя воды, что oратели льют на собраниях. Приедет та-

кой в кожанке, шпалер через плечо, у штанов задница кожаная, карманы обвисли, мера ржи за нужду влезет, — выйдет, и пошла трепня: „Товарищи! капитал нас давит, голод давит, буржуй давит, генерал давит“. А на поверку выходит, никто их не давит, между собой из-за мест дерутся. Кому бы потеплее да повыгоднее захватить да как бы чин комиссара заполучить. Довели до ручки, можно сказать, ни товару, ни денег. Вон, кредиток у меня воз почти собрался, а для ча их? Рази стену оклеивать.

Никон мало жил дома, пропадая в городе, куда он возил продавать выгнанный Лукой самогон и муку.

По трудгужу мужиков Раменья гоняли на станции железной дороги возить фураж, но Никон, по уговору с председателем исполкома, уклонялся от этого.

Не раз Никон помогал дезертирам, снабжая их хлебом. Сытый бунт богатеев, не желающих сдавать хлеб, встретил сочувствие Никона.

— Это — прорва! — сказал он. Давали хлеба и хватит, пусть сами сеют...

Дезертиры, сыновья кулаков, кочевали в лесах, собираясь в зеленые банды. Уездные города были наводнены офицерством, готовым поднять восстание и соединиться с частями англичан, идущих с севера. На берегу Сухоны рыли окопы. А Вертнев оттоварилвался болезнью. Там строили укрепления, опутывали проволокой, готовили землянки. У Березников был фронт.

Враг пачками сеял плевки из орудий всех калибров, крыл перекрестным из пулеметов и штопором вонзался в небо аэропланами.

В Раменье привезли стодвадцатимиллиметровые пушки. Пушки уставили на гребне Брусничной горы, и они зевлорото и жадно глядели на Сухону.

В затоне разыскали две баржи, положили на днища брусья из бревен — и батареи были готовы. Буксирный пароходик отвел батарею на луку, где дали пробный залп. Баржа прыгнула и зарылась носом в волны.

Никон с берега хахакнул:

— Вояки, на курей бы вам ходить только...

Но флотилия отплыла, истошно голося на перекатах, будя сонную тишь сухонских берегов.

Отряд матросов сопровождал баржи. Среди них был Хахала. Одетые в суконные пары, в нарядных фуражках, некоторые матросы отказывались итти болотом. Они жаловались, что их загнали к чорту на кулички, не дают табаку, и они вынуждены курить коровий помет. Тосковали по проспектам Питера. Там они ходили партией, мели аршинным клёшем улицу и перемигивались с девочками. Но Харлампий, обнажив оружие, бросался в бой первым, увлекая за собою остальных. Когда его наградили за подвиг оружием, Вертнев, выведав об этом, заявил:

— За язычок ему награду дали, а не за геройство.

Из Раменья все здоровое мужское население ушло на войну. Домовничать остались женщины, старики да дети. Толпы солдаток ходили в исполком за пособием. Пособие выдавали охапками кредиток, бабы их хранили в чулках, под печкой.

Никон, как бы соболезнуя, спрашивал:

— Ты куда это столько, бабонька, копишь, — стены оклеивать?

По ночам Лука в бане варил ханжу и самогон, а Никон с Мироном разливали в жбаны и несли отстаиваться в погреб.

Беднота же деревни бурлила ненавистью и злобой на врагов, мешающих заниматься мирным трудом. В то время как сыновья лешегонов дезертировали с фронтов, голодаевцы достали ржавые вековые кремневки и вступили поголовно в отряд добровольцев. Самопалы рвало от первого выстрела, тогда их сменяли вилы или рогатина.

В Пучугу, где стояли наши части, прибыли голодаевские мужики во главе с Ноздриным.

Серый газетный лист принес известие о бунте капитана Орлова в Яренске. Снялись и под командой Харлампия пошли давать отпор.

Была зима, и сорокаградусные морозы сеяли куржу на Северной Двине.

Снег лежал безжизненной равниной. На берегах рек

маячили горбатосерые унылые кресты. Кресты — память в веках о захороненных голодаевцах.

В Айкине, куда прибыл отряд голодаевцев, потерявший из шестидесяти человек пятерых, нашли мертвую тишину.

На голос выполз откуда-то бородатый зырянин и, покачав головой, сказал:

— Локтаче!

Ноздрин двинулся ему навстречу. Тогда старик, закутавшись в тулуп, привел отряд к реке.

Здесь около проруби рудовела кровь и виднелись следы гвоздей английских сапогов.

— Били! — поняли у зырянина. — Нашли коммунистов, выдавали их богатые. Ночью вывели коммунистов, на колени ставили и, как быков, в лоб убивали колотушкой. Потом под лед.

Старик заплакал, и слезы, стекая, приморозили его вислые усы к бороде.

— Многа убили! — сказал он и стал считать по пальцам. Их нехватало, закачал головой: — Многа, многа...

Мужчин, способных носить оружие, англичане захватили с собой, а остальное население, состоящее из детей и женщин, пряталось по сеновалам.

Отряд голодаевцев, насбирав по избам картошки, углубился в лес на поиски бандитов.

Через два года к рождеству, с очередной оказией, Довбне принесли письмо.

Лиловые чернила расплылись пятном на конверте, и скрепленные хлебным мякишем срезы отклеились. Не без волнения, вбежав в избу, Довбня читал письмо:

„К рождеству ждите домой. Война кончилась. Младшие годы красноармейцев переводят в трудармию. Привет коммунарам и трудящемуся Раменью... Харлампий Дюдин“.

Щелкая по конверту сухим пальцем, Довбня, глядя признательно в глаза старику Ноздрину, сообщил:

— Жди, какие дела еще закрутим. А то остался один, как рак на мели. Туда давай, сюда давай. Езжай, ты, говорят, коммунист. А ты думаешь, я так и широк в полах-то? Вот теперь-то мы поговорим кое с кем...

И верно, через месяц нагрянули обмороженные, раненые голодаевцы.

Зашумела, заварганила деревня, запиликали гармоники, заверещала песня.

На лешегонской стороне, будто перед грозой, замерли голоса и закрылись ставни.

Перестала куриться вертневская банька. Горбун на огороде разломал аппарат и вылил затвор.

— Шабаш! — сказал он. — Будет, рыбку половили, пора и удочки смотать. Товарищи приехали, пронюхают, к суду потянут, — и невесело поглядел в сторону голодаевских изб.

Кобозев, встретив Колобка на улице, подозвал его поближе и, касаясь рукой груди, таинственно объявил:

— Старатель, спишь, а землю-то советские правители к рукам прибрали. Пришли горлохваты наши с войны, теперь нам живьем хоть в землю лезь.

Голос у него был вкрадчивый.

— Помнишь, как они в восемнадцатом году пели, когда революцию делали? Земля и свобода-де для народа. Дескать, хватит, мужички, помаялись, дадим вам жизнь, умирать не надо. А на поверку вышло: земли, как было — некуда куренка выпустить, так и не прибавили. Сенокос в Огурешном кому ушел? Мужику? Н-нет, монашенкам под коммунию. К-коммунистки каки, подумаешь! Чернодырницы суматошные... С какого это боку коммунское-то в них объявилось? Оратель намедни с нашим трепачом Хахалой разъезжал по волости, в коммунию зазывал. Так ему вопрос о монашках ставили. А оратель и выскажи: „Монашки, гит, сызмала по-коммунски живут, и грех их лишать этакой жизни“. Мы вот, за землемером ходя, ноги до колен сносили, а им в неделю участки вырезали. Почему так? А потому, что землемеру мед, масло да баранов отваливали. Лучшую землю за собой закрепили. Аргуновцы теперь волком от них воют. Стали было супротивляться, а землемер их вызвал и объявил: „Плант не допускает наделы клиньями отводить!“ У мужиков лучшую землю взяли, а взамен от коммунии песку намеряли. Паши, сиволапый чорт, все равно тебе с голоду подыхать.

Проходя за Колобком к дому, Кобозев продолжал:

— А посмотри, што это за коммуния такая. Намедни иду, гляжу, а она, как и ране, в монастыре обосновалась. Ребята все так же ночью к монашкам на любовны утехи сигают. На мельнице, как и раньше, с нас за помол дерут. Машины получили от подземельного отдела, свои земли обрабливают, а мужику кукиш. Райкомтруд, што подводы с нас требовал, их от трудгужа освободил. Мануфактуру лошадью привезли и на подрясники перешили. Днем в коммунии бездельничают, вечером в церкви горло дерут. Батюшку голоса лишили, а монашки вот... И печать завели. Учрежденье у их, вишь. Игуменья—председатель коммунии, остальная бабня — члены. Ребят из беженцев понабрали, рожи, плечища — во! Намедни один такой якорь в гору прет. Вот так, думаю, батрак, да такой — не токмо монашку... — Кобозев едко засмеялся, обнажив прокуренные зубы. — Плохо ли, дармовая сила, беженцы-то? Из-за хлеба-соли живут.

Проводив до самого Колобка, остановившись, старик сказал:

— Сегодня сход надо сделать. А то матросня наша совхоз на тарутинской земле открыть хочет. А мы ее в раздел пустим. Надо ходатайствовать, — приговор напишем и ходока пошлем.

Колобок согласился:

— Ну что ж, к вечеру это мы обмозгуем, — и, стукнув дверью, исчез в темноте сеней.

Кобозев сход застал в полном сборе.

В углу, между Никоном и Довбней, сидел мельник Марушко. Пять братьев Марковых и Ноздрин разместились около стола. За столом сидели Хахала и Клушин.

Собрание открыл Дудов, секретарь партячейки.

Он был русоволос, тонок, и узкое, будто девичье лицо его носило печать замкнутости.

Кобозев, толкая Шаньгу в бок, едко шепнул:

— Партийный, а голова как... — и постучал пальцами в сиденье.

Высказывался первым Колобок.

Тыча перед собой короткие руки, он взывал тоненьким голоском, как понамарь:

— Вот о чем, ребята, собрали мы вас, — и выждал, пока не смолкли в дальнем углу разговоры. — Вот у нас какие голоса от мужиков идут. Как земли нехваток у всех, то все подсобные земли предлагают по едокам разделить.

— Давно бы надо! — резанул Шаньга, сморкаясь в полу полушубка.

Колобок продолжал:

— Свои земли деревенские мы поровняли без обиды, так вот просят разделить именье барское. — Оглядывая Хахалу, хмуро глядевшего в стол, Колобок добавил: — Еще потому, что хотят отобрать эту землю под совхоз. А одни мы это сделать не можем. Вот сельсовет мы и призвали и хочем приговор в город с ходоком послать. Ну, решайте.

Голоса нестройно и вразброд закричали из углов избы:

— Давно бы надо, спите все!..

— Власть тоже называется: без спросу не могут...

— Знаем, куда гнете: камунею организовать. В раздел, и никаких!..

Перекрывая шум и выкрики, выступил Хахала. Он кидал в толпу слова крепкие, как комья сухой земли.

— Верно, знаем это, — заявил он, — но то не от всей деревни, а от тех, кто и своей земли невпроворот имеет.

— Теперь таких нету, — прервал матроса Никон, — теперь всех уравняли.

— Нет, не уравняли, — пронизывая сухими глазами Никона, ответил матрос и спросил: — А дерюги где в разделе? Нет! Кто ими владеет? Богачи!

— А вы их и не пахали! — вставил Кобозев с места.

— Верно, — отвел довод матрос. — Нам было некогда пахать, по батракам мы ходили, богатому мужику за версту в ноги кланялись. У некоторых на три едока десять душ было, как у Васьки Белушка, а у других на пять душ — десять едоков. Это правильно по-вашему? Правильно, когда полдеревни хотели землю в собственность закрепить, на хутора выйти, купчими крепостями от неимущих оттородиться?

Мельник, прерывая Хахалу, закричал:

— Старое поминать не надо, на то у нас закон был!

— А, был? — въедался матрос. — Знаем, какой это закон. Столыпина закон это, кулаков плодить. Поделить Рассею надвое, на нищих и богатых. Нищих на потраву кулакам отдать — закон этот...

— Можно бы и наобратно сделать, — подсказал мельник. — Закон дышло, куды повернул, туды и вышло.

— Нет, — дерзил матрос, — как ни вертай, не выходило. А вот, спасибо революции, что крест на законе этом поставила. Меньшевики да Черновы хотели его воротить, да не удалось.

— В штаны наклали... — подсказал сидевший рядом Довбня.

Покрывая смех мужиков после шутки Довбни, Хахала выкрикнул:

— Нет! Тарутинское имение делить нельзя.

— Почему? — заорали в десять глоток мужики и привстали с мест.

Выждав, пока звонок навел порядок, Харлампий заговорил:

— Нельзя — и не будем делить. Потому не будем, что это не имение, а экономия. Не может власть по рукам пустить хозяйство, которых на весь уезд одно. Знаете, как Ленин писал тем, кто много орал о немедленном равенстве и дележе? Нельзя делить пароход по рабочим или железную дорогу, — это значит разворовать ее. Так же и здесь. Ну, землю мы разделили. А машины? Молотилки, сеялки, косилки? Мне барабан, тебе колесо, что ли? — и матрос ткнул рукой в направлении к Никону. — Одному отдать не резон. На деревню дать — делать ими на наших полосах нечего. По полосе в аршин с сеялкой не поедешь. Вот почему мы, ячейка и сельсовет, по соглашению с уземотделом решили организовать совхоз. Агронома нам пришлют. А вот причтовую землю и удельную делите.

— А монастырскую? — пытал Кобозев.

— Тут коммуна! — ответил Хахала. — Мы ее имеем как коллектив. Будут хорошо вести сообща хозяйство монашки,

будем их поддерживать, а не сумеют — разгоним, а куда имущество девать — видно будет.

Оттесняя Хахалу, к столу подошел Кобозев и попросил слова.

Он был возбужден, и на крупном его лбу дулись багровые жилы. Тяжело раскачиваясь, он гневно заговорил:

— А, вона вы как? Такие у вас посулы-то о земле!

И озирая точно незрячими глазами сход, он спросил:

— Это значит по-коммунистски: кому — на, кому — нет, твое — мое и мое — мое? Советских помещиков на мужичью шею сажаете?

Кобозева поддержали горланы:

— Жалиться в губернию пойдем!

— Ходоков в центру пошлем!

— Власть на местах, значит...

Хахала вылез из-за стола, старался перекричать сплошной шум избы:

— Слушаете! Уши, как капустные листья, развесили! Собак дохлых на власть советскую вешают. Кто вешает? Богатеи-зажимщики. Те, кто землю до сих пор и сенокосы лесные не пускает в дележ. Тот, кто мельницы захватил. Тот, кто в долгу вас держит, семена дает под проценты...

— А вы бы рады, да нечего дать, — зло бросил кто-то от печи.

— Нет, есть что! — крикнул напористо матрос. — Кто паек давал бедноте? Совет. Кто семенами обсеял большинство деревень? Совет. Кто бедноту землей наделил? Совет. Кто из кабалы их вытащил? Коммунисты. Мало кулаки вас жали?! Не работали вы на лесозаготовках за пятьдесят копеек двенадцать часов в день на кулака? Не жрали дохлую рыбу и хлеб с мякиной?

— Не брали бы, силком не навязывали! — вставил Никон.

— За границу миллионы пудов хлеба гнали, — гремел Хахала. — Через Котлас гнали. Амбары на пять верст настроили, а рядом зыряне хлеб с еловой корой пекли. Сахар везли в Англию свиней откармливать, а мужики пили с хлебцем в прикуску, языком подслащивали.

— Охо-хо-хо! — завздыхала изба. — Всяко было... Чево уж там, попили они нашей кровушки...

— Во! — кричал, распаляясь злостью, Хахала. — Попили — и хватит! А почему кулаков зло берет? Пощупали из них кое-кого. От пирога сладкого оттянули.

— И не нуждались! — бросил Никон. — Своих пирогов невпроворот...

— Вот именно — невпроворот! — шумел матрос. — Награбастали денег в войну, девать их некуда, да как награбастали? Чужими руками...

— Уж не твоими ли? — ехидно кинул Кобозев, — когда холуем ты в городе был?

— Не был я им, — отрезал матрос...

— Умны стали, — бросил Никон.

— Дал бы умишка понюхать! — попросил смешливо Кобозев и закричал: — Айда, ребята, домой! Вправляют вам тут арапа, а вы и не замечаете.

Колобок, неловко поднимаясь, двинулся с Кобозевым к двери. Встали мельник с Никоном и Шаньга. Задвигались еще несколько человек, пытаясь следовать за уходящими.

Хахала, выскочив на средину избы, насмешливо поклонился вслед уходящим:

— Валите, товарищи, кройте, скатертью вам дорога, — и, обращаясь к остающимся, объявил: — А наши за одно сердце действуй — нога в ногу.

Тяжелый волосатый его кулак плыл над головой.

— Вот он сжат — отпор даст. Разогни, разве насмешишь кого, не ударишь.

Довбня, вздыхая, потный и красный от возбуждения, поддержал матроса:

— Это уж как есть, собча гору сдвинем!

Лукаво сощурясь, его сын Платон, сидевший поодаль, спрашивал:

— Ну, как протокол писать?

Ему закивали:

— Да уж видно так, царапай, что ля... Землю совхозу дать без препятствия...

2

Поезд, теряя в конец состава голубую дымку, подходил к станции. Голые перелески, кружившиеся обочь дороги, уступили место полям. Кое-где квадраты полос перемежались куртинами рыжих вересков.

Качнулась красная водокачка, резанул желтым пятном вокзал, и поезд, замедляя ход, остановился. В вагоне кто-то глухо кашлянул и отстоявшимся голосом объявил:

— Вот она и Нея, — вылезай — приехали!

Задерживая в ногах зябкую дрожь, Локтев вышел на перрон. Пассажиров было мало, и начальник станции стыл столбом, потирая скучающее лицо. Шел дождь, напоивший доотказа податливую землю, и от полей тянулся настой сгнивших трав. В луже воды, скопившейся на платформе, дробился скупой свет фонаря.

Минуя вокзал, Локтев уверенно двинулся к постоялому двору. Бородатый возница заломил за подводу неслыханную цену. Локтев хотел протестовать, но, оглядев улицу, сосущую сапоги прохожих, поспешил уложить багаж в телегу. Ямщик вывел на отсвет фонаря низкорослую всхрапывающую лошадь.

У большака дорога раздвоилась, проселок же увел в лес, откуда потянуло сыростью и прелым листом. Слепо мигнув, исчах одинокий огонь железнодорожной будки. В лесу стояла плотная темь. Глухо чавкали колеса, окруживаясь калачом глины.

Тарутинское имение, куда приехал Локтев организовывать совхоз, брошенное хозяевами, пустовало. Среди большого, поросшего сорняком двора валялась косилка, ощерив ржавые зубцы пил. В дырявом кузове веялки жила отощавшая собака, разучившаяся лаять. Господские сани, прислоненные к амбару, кто-то любезно освободил от ковра. В пролетке среди желтени мякины хлопотливо ворчали куры. На облупившемся балконе в беспорядке лежали колченогие стулья, обнажая сквозь истлевшую ветошь бархата голубую сталь пружин.

Пустующий дом, чернея глазницами окон, пугал нежитью. Ветер, врываясь, трепал почерневшие от времени

обои и ворошил листы книг, брошенные на пожухлый паркет. Титульный лист поднятой Локтевым книги четко назвал автора: Октав Мирбо „Сад пыток“. На тонком форзаце переплета уныло болтался гарусный витень закладки. От книги исходил тонкий запах духов и сгнивающей бумаги. Локтев усмехнулся, сунул книгу в карман и представил хозяев усадьбы.

Лето. Зной. Золотая сетка солнечной кипени цветет на паркете и качает столбы пыли. На террасу струится запах сирени, и сквозь ажурную паутину портьер видно, как блестят в саду серебряные шары клумб.

В гамаке, разомлев от изнуряющей духоты дня, лениво листает книгу жена хозяина. Изящная вязь строк сливается в глазах, клонит в сон... В саду дремотная тишь, и от амбара, где густой кроной скрыла липа беседку, тянет отстойный запах жимолости...

Улыбка кривит губы Локтева: да, жили люди, и он жил, их нет, и он за пачку советских кредиток вынужден продавать свой мозг. Вспомнил кузину Феню, тонкую, затянутую в талии, как рюмка, завитую и не выговаривающую букву „р“. У нее были чуть-чуть косящие голубые глаза. Ямки на полных локотках рук и нежный пушок, как на молодом персике, на подбородке. Себя он помнил в мундирчике, с хохолком на начинающем крыться пупырышками лбу и почтительно целующего ямочки рук. Из писем знал, что тетку после революции выселили в сторожку, а потом увезли в город. Она теперь где-нибудь дремлет в кресле, кутая подагрические ноги в плед, а роскошные локоны кузины мнет прокуренной рукой комиссар.

В сундучке, окрашенном в фуксин, на чердаке наверное еще остались его тетради с записью лекций. Кормление коров по весу. Экстерьер. Силосование кормов. Зачеты и шпаргалки. Чинные и ехидные линии баллов. Форшмак в советской столовке, чечевичная мазня на блюде и муть супа из воблы. Готовил себя для крупной фермы. Мечтал по вечерам с кузиной, как он развернет в экономию захудалое имение дяди.

Ждал окончания учебы, командировки за границу к „кла-

дезю мудрости". Все скомкала, смяла революция. И итог — глухое село, лешегонский край, как сказали ему в земотделе, имение — разбитое корыто.

Вздыхая, Локтев проходил по комнатам, и паркет взвизгливо скрипел под тяжелыми его шагами.

Крышки книг, блестя золотыми обрезами, хрустко ломались под каблуком. Поднял одну, вспухшую как фолиант, где уложил вынашиваемую годами мысль ученый Шильдер. Четкий шрифт носил следы позолоты. Небрежно кинул книгу в угол, где тревожно возились крысы. Царей и историю о них зачеркнула революция!

Вечером из сельсовета пришли: секретарь партячейки Дудов и матрос.

У матроса сухое, обветренное лицо и пепельные выцветшие брови. Усаживаясь на просиженное ложе дивана, он радостно говорил Локтеву:

— А мы вас тут заждались, товарищ. Пишут — выехал, ан вас все нет. — И, жалуясь, сообщил: — Коммуну хотели было организовать, да народу мало, а совхоз нам во как нужен! — Голос у матроса глухой и слова обточенные, как булыжники. — Хоть и хранить-то особо нечего, — сообщает он, — да и остатки растащат! Сторож не вооружен, а народ у нас, не гляди, что живет в лесу и пням молится, а на ходу подметки режет. Вороватый народ. На-днях одного поймали, с пасеки медогонку прет. Подделал в омшаник ключ и понес. Добро бы ночью, а то средь бела дня. Привели в совет, а он себе воровство в заслугу ставит. Крыша, гит, у вас прохудилась, боюсь сгниет казенное добро, у меня ему сохраннее будет...

Матрос задорно хохочет, напружив тугие, будто резиновые щеки, и неловко потирает крупные руки.

По вечерам он навещает Локтева, занятого составлением инвентарной книги, и басовито сообщает:

— А мужики на деревне вольнку крутят. Второй год тягаются с советом, как бы имение к себе заграбастать, сход сбирают...

Выпуклые глаза матроса пытливо изучают агронома. Локтев, помолчав, отвечает:

— Ходатайствовать им не заказано, только напрасны их происки, ведь имение утверждено Наркомземом как совхоз... Сход можно собрать, — добавляет он, — и кстати поговорить о прирезке к совхозу пустующей причтовой земли.

— Вот это дело! — шумит матрос и, громыхая по полу, уходит в волость.

С приездом Локтева тишина неторопливо уходит из дома. В передней и кухне вставили рамы и протопили печи. За дверью, качаясь, заухали удары — это сторож колол дрова. С раннего утра уже хлопали двери, и бабы, с высоко засмыканными подолами, носились с шайками воды.

Тускло заблестел ободранный дресвой пол. Сквозь неплотно припадающие двери с кухни потянуло жирным запахом щей и свежеиспеченного хлеба. Тревожно и гулко замычали не прижившиеся ко двору коровы.

Мелко кроша узкую, стреляющую из-под топора щепу, плотники чинили сараи. С визгом сдирались с пыльных ребер слег доски, — перекрывали крышу. Слесарь, звенькая гаечным ключом, смазывал и чистил ржавые машины. Сторожа выметали из погребов мышеедину и сор, копившийся годами.

Спустя неделю по приезде Локтева в совхоз, батог старосты постучал в переплет окна. Утро только вставало, и Локтев спал. Стук согнал дрему. Прислонясь к окну, Локтев спросил:

— Кто тут?

На дворе порывисто крутился ветер, стучал ставнями. Где-то жалобно бренчала сорванная доска. Перхающий низкий голос с улицы ответил:

— На собранье!

Шаги за окном зашуршали по сгнивающей плите прошлогодней травы и заглохли. Локтев оделся быстро. От кадки, когда он умывался, пахнуло горькой ржавью, и вода покрыла руки цыпками. Осторожно прикрыв дверь, вышел на двор.

Мимо Локтева, здороваясь, проходили двое мужиков. Один из идущих был коренаст, низкоросл, имел короткие выгнутые ноги и шел, будто катился на колесиках. Другой

был тощ, прям, выбрасывал при ходьбе ноги, словно он шел на ходулях.

Они говорили об агрономе, и ветер скупо бросил Локтеву, не поспевающему за ними, обрывки слов:

— Агронома завели, опыты делать будут...

Хлебозапасный магазин был тронут основательно временем. Крыша его проломилась, и сквозь черные провалы буйно пробивались лишаи.

Колченогий стол плотно окружали ряды скамей. Локтева встретил Хахала и Клушин, председатель исполкома, с которым он познакомился, принимая имущество поместья. Здороваясь с агрономом, они в голос деловито осведомились:

— Ну, как поживаете?

Присаживаясь к столу, Локтев уклончиво и неохотно ответил:

— Спасибо, тянусь. Да, по правде сказать, дело это для меня не новое, так что привыкать-то не к чему!

Сидевшие поодаль мужики говорили о совхозе. Ладно и добротно скроенный бородатый мужик рассказывал:

— Вот организовали они ферму и планы наметили, как мужиков в коммунию затащить...

Сидевший рядом с бородачом старик, вслушиваясь, хмыкнул:

— Ишь чего они удумали!

— Вот машины привезли, — продолжал мужик, — а как к земле приступить и в устройство ее привести — не знают... Пришла осень, из губернии приехали, именье ихнее осматривать. Сколько и чего агрономы заготовили. А собрались попозже, к концу страды. На дворе белые мухи летят, а гости у ворот. Осмотрели и ахнули. Машины поломаны. Овес перезрел, сломился, снегом занесло. Ячмень в лоск истолкла птица. Картошку — свиньи роют... Скот обожрался черемицы, и трех коров нокоть[1] свалил. Сочли убытки, в год не залатаешь. Ну, подумали-подумали и отдали совхоз мужикам...

[1] Нокоть — колики в животе.

Локтев, всматриваясь в хищное лицо, подумал: „Наверно, всю деревню в кулаке держит“.

Спросил Дюдина:

— Кто это такой будет?

Матрос, не отрываясь от бумаг, ответил:

— Мужик кормной, Кобозев это, — и, оглядывая толпу, зазвонил в колокольчик.

Когда разноголосый и нестройный говор затих, Харлампий открыл собрание.

Сообщение агронома о совхозе прослушали молча.

Локтев сел, мужики путанно и вразброд заговорили:

— Эвона вы как! А приговор где? Где постановление наше о переделе земли? Новых барей на шею сажаете?

Желтая морщинистая рука протянулась из сплошной стены мужиков. И, точно по команде, несколько голосов закричали: „Колобку слово, Колобку!..“

Раздвигая толпу плотным, как клин, плечом, к столу протискался низкорослый, с суетливыми движениями мужик. Тонкое вежливое личико не гармонировало с грубо скроенной фигурой. Он прикрыл ладонью, будто от света, глаза и, вежливо процеживая слова, спросил матроса:

— Милочка, дай слово...

— Милочек нет — есть граждане! — оборвал матрос Колобка, рассматривая его в упор.

Колобок не сконфузился и, мелко моргая глазами, заговорил:

— Ну вот, ты, Харлаша, уж и сердишься, нельзя так, милок, я с любовью к этому делу подхожу. Вот говорили вы о совхозе. Прекрасное дело этот совхоз, мне он спать три дня не дает, от хлеба отбился, о нем думая. И вдруг он организуется...

Локтеву показалось, что с тонких губ мужика поплыла патока, до того была незлобна речь.

— И вот, милочки, мужиков призывают о нем поразмыслить, говорю — поразмыслить, потому не к спеху дело и раздумья требует. Поспешишь, людей насмешишь, милочки. Мы помрем, ребятки наши подрастут, а тут — совхоз, прекрасно, как раз им по зубам. А нас не торопи, милок.

Скоро родятся кошки, да и те... слепые. А мы — живые люди, так сказать, милок. От спешки расстройство между нас, мужиков, произойти может. Вредное расстройство. Бедный с богатым супротивное дело поднимут. А к чему? Я вот бедный, а на богатых зла не имею, еще Христос сказал: не пожелай ни раба его, ни осла его, ни всякого добра его...

Колокольчик прервал тишину утра. Локтева отрезвил голос Хахалы, прерывающий мужика:

— Тут не амвон, чтобы проповеди вести, о совхозе говорить надо.

Кроткого Колобка сменил его высокий рыжебородый сосед.

— Мы не против совхоза, — бойко заговорил он, — но против того, чтобы отдавать ему самую лучшую землю... А что коммунисты делают? Хотят опыты ставить, землю улучшить, урожай увеличить и мужика приучить по-ихнему работать. Мы опять не против, — учите, только сядьте на песок. На песке рай устройте и потом меня аль Колобка за ухо да носом ткните: на, гляди да делай, как мы. А то, — повышая голос, продолжал он, — лучшую землю взяли и говорят: мы вас заставим нам верить! А мы вот и не верим...

Собрание настойчиво и шумно выражало одобрение оратору.

Его сменил старик Кобозев.

— Верно брил парень, — выпалил он в упор, — так и надо, а то все по книжечкам. А мы книжечек не читаем и век сыты живем. А вы книжечки завели и животики подвели... Вы только раскумекайте, мужички, — продолжал он, — какую штуку они отмочить хотят. Говорят, буржуев нет, — хорошо, верим — нет и не надо, потому они нам вот, — и темная от загара его рука чиркнула по оплывшему огрудку шеи. — Так позвольте спросить, зачем еще новых к нам буржуев прибавлять, коли от старых мы избавились? Земли у нас и так кот наплакал, а ты ее совхозу дай, фабрике дай, там детскому дому какому-то дай. Эдак мы сами в доску обезземелимся и в половники пойдем.

Матрос опять зазвенел голосом, прервав мужика.

— Высказались?.. Неправда, — прорвал он тишину. — Земли у вас много, но пахать ее вы не хотите. Привыкли испокон веков сенокос лаптем делить, межи развели, а на межах лес вырастили. Лес надо срубить, пустоши надо пахать.

Крайний мужик поднял руку, как школьник, ребром и попросил нетвердо:

— Позвольте еще мне речь выпустить?

Хахала, садясь на стул, бросил:

— Выпустишь — не поймаешь!

Передние мужики засмеялись.

— Ну, извиняюсь, я не оратель...

— Мельник это! — подсказал на ухо Локтеву Хахала и показал зажатую в кулак полу пиджака. — Половину деревни в долгу держит, не мужик, а налим.

— Слушал я вот вас всех, а истины не уловил, — начал мельник. — Один Колобок правильно и по-человечьи рассудил...

— Заливай! — гукнул было длинный мужик, но его дернули за полу, и он умолк, не закрыв рта.

— Да, не вижу правды в словах сельчан, — продолжал мельник. — Вижу у всех желание такое, как бы подстроить что-либо во вред себе и людям. Много бревен в глазу тех и других есть. Говорят, землю взять надо и совхозу отдать. Плохо это или хорошо? И то, и другое. Плохо то, что одного от земли оторвут, как от пуповины, а хорошо то, что лишнюю сотню пудов хлеба в мир дадут. Совхоз куда лучше землю обработает, чем поп.

— Слышишь, куда гнет, — прошептал Хахала, склоняясь к Локтеву, сидевшему спокойно. — Пригладит: уснешь и не заметишь.

— Я говорю о том, — продолжал мельник, — что беречь то и другое надо. Против рожна итти не стоит. На уме зацепку всяк держи: сила солому ломит. Ну, вынесем мы приговор о разделе земли, а Клушин его отменит. Не сам он, а там в городе его поддержат. Выходит, выносили приговор мы для непотребного места... Таково! — утвердил он,

рубанув воздух. — Раз сказали совхоз организовать, значит и крышка!

Резолюция о прирезке к совхозу причтовой земли была принята единогласно.

Провожая Локтева домой, Хахала, усмехаясь, спросил:

— Видел, какие хлюсты у нас водятся?

Направляясь к дому, Локтев думал:

„А ведь и правда, интересные мужики эти лешегоны".— И про себя заметил: „Народ горячий, надо к ним со своим делом поближе подойти..."

3

Личная жизнь Харлампия Дюдина сложилась неудачно. Взятый по мобилизации в царскую войну, был брошен с маршевой ротой в Карпаты, ранен в руку и возвращен на лечение в тыл. В гражданскую он, уже коммунист, ушел добровольцем на северный фронт, плавал на плоскодонных баржах и в наступлении под Березником лишился ноги.

От отца Харлампий усвоил независимый взгляд на людей и цепкость к жизни. Пастушья доля в нем выработала наблюдательность, любовь к природе и необходимость общения с людьми.

Но работа в городе Харлампию не нравилась.

— Города не знаю, — говорил он, — и жить там не люблю, гнетет меня там пыль, камень, — деревня куда лучше.

Но земля его встретила сухо.

Старая курная изба умершей солдатки Мотри отдана была ему исполкомом. Занятый раньше общественными интересами, Харлампий не думал о женщине. Но придя на хозяйство, он особенно остро почувствовал свое бессилие в домашних делах.

Хлеб выпекался у него сырой, с закалом и кислый. Рубашки стирал усердно, но они после двух стирок лезли клочьями. Корова, полученная от исполкома, отгуливалась второй год без отела.

Довбня, увидев его раз за выпечкой хлебов, высмеял до злости и уходя сказал:

— Брось, парень, не за свое дело ты взялся, — нашел бы бабешку.

Хахала ругнул вслед Довбню, круто, по-матросски, но вечером, успокоившись, всерьез подумал о словах приятеля.

Румяная и бойкая соседка Феклуша, дочь Николушки Седуна, приглянулась матросу, и он решил, выждав осень, заслать сватов. Но в выборе усомнился, так как боялся отказа.

Встреча Харлампия с Феклушей произошла на выгоне. Подходя, он озорно и в упор заглянул девушке в лицо. Блестящие зрачки его глаз смутили девку. Но молчать было неловко, и она спросила.

— Совсем приехал?

Харлампий остановился и, повертывая косу — он шел косить траву, — ответил:

— Совсем. А тебе что за спрос?

В доме вотчима Феклуше жилось плохо, и узнав о намерении матроса, она подумала: „Что же? Он уж не так страшен, как бают. Правда, нога с деревяжкой, но разве лучше, если вотчим за вдового выдаст?“

Видя ее замешательство, Харлампий сказал:

— А про тебя мне страху наговорили, что и бука ты, и людей боишься...

Обтирая рукой пухлые губы, девушка с достоинством ответила:

— Вот уж неправда, никого не боялась — и сама не трушу...

Матрос, подступая ближе, усмехнулся:

— Ого, да ты, как видно, огонь-девка!

Феклуша, кокетничая, лукаво обронила:

— Раз огонь, то и не играй, обожжешься!

— Обожжешь — вылечишь, — проговорил Харлампий и запросто положил ей на плечо большую, поросшую редким волосом руку.

Отрочески припухлый рот девушки манил матроса неизъяснимой прелестью. Феклуша не уклонилась и, шутливо ударив парня по спине сорванной веткой, предупредила:

— Проходи, да смотри хвастать, как другие, не смей, а то... — и она запнулась.

Возбужденное лицо матроса залила краска. Сощурив подобревшие глаза, он спросил:

— Ну, а тогда што, неужли поколотишь?

Девушка погрозила:

— Глаза выцарапаю — вот что...

Свадьба требовала расходов, и тесть предложил свести на базар корову. Харлампий пробовал протестовать, но тесть резко заявил:

— Если свадьбы не хочешь делать, то тогда и девки моей тебе не видать, как ушей своих.

Свадьба расстроила хозяйство Харлампия, и он, сдав в обработку пашню тестю, весной уехал на заработки на Урал. Чтобы успокоить жену при расставании, матрос говорил:

— Мне на корову только заработать — я и домой, а там уж больше никуда от тебя...

На замечания соседей, что ему, поди, жаль покидать молодую, отвечал шуткой:

— Баб што ля там на мой век не хватит? У нас, у бурлаков, завсегда так. Дома я женат, отец семейства, а как вышел за околицу — к холостежу приписался.

В день отъезда он пиликал на гармонике, припасенной от рекрутской жизни, и пел:

Славу богу, не женился,
Горюшка не хапанул...

Феклуша, слушая песню, упрекала:

— Чортушко-нескладень, жена-то с чем остается, об ней бы подумал.

Харлампий вызывающе подмигивая, шутил:

— Э, милка! Поживешь и одна, похожу — дома буду.

Ночью, обжимаясь около мужа, как хмель вкруг тычины, Фекла шептала:

— А ты меня не забудешь, не бросишь?

Отстраняясь, Харлампий любовно ворчал:

— Неужель ты мне и в этом не веришь?

Фекла, помолчав, сомневающе начала:

— Бабы в том городе, говорят, до мужиков зряшные, как доедешь, так и закрутишься.

Улыбаясь, матрос осуждающе сказал:

— Это у тебя от бессонницы такие думы, зря это...

Омут черных глаз жены таил раздумье. Положив горячую голову на плечо мужа, она испытующе шептала:

— Ты уж меня прости, но боюся я за тебя, ох как боюсь!

— Брось пустое молоть, на полгода какие-нибудь еду, кому я там нужен! Вон она, — и, двигая деревяжку ноги, Харлампий убеждающе заявил: — спасибо хоть ты любишь!

Письма приходили часто. Прислал фотографию, где он был снят в полушубке, папахе, сухой и настороженный.

Марфа, восхищаясь видом зятя, попросила дочь:

— У тебя ее и повесить негде, отдай мне, я рамку и стекло для нее найду.

Не протестуя, дочь согласилась. Тоска Феклуши по мужу, ощущаемая в первые недели, проходила. К пасхе от Кобозевых пришли ее звать мыть полы.

Максим, сын Кобозева, служил в городе на лесной бирже и, приехав на побывку, застал дома предпраздничный переполох. Столы, вынесенные на улицу, мылись щелоком, а шкафы, стулья и комоды протирались керосином. Фекла с ожесточением терла тряпкой стены горницы.

Максим, подобрав полы пальто, бочком было протиснулся в избу, но на него закричала старуха:

— Назад, назад, пол испачкаешь! — и он вернулся в сени. Разделся, носил ведрами воду и помогал Феклуше белить мелом печь. Близость крепкотелой красивой женщины радовала Максима и волновала.

Когда Фекла уходила вечером домой, старуха неожиданно заметила Максиму:

— Золотые руки у бабы, — и сожалеюще досказала: — только за неудалого ее выдали, бескопытника, муку с ним она примет, а домом не живать. Не такой бы ей муж нужен!

Максим, начищая сапоги, как бы недоумевающе спросил:

— Мне-то, скажи пожалуйста, зачем это нужно?

После праздников, приглашенная старухой ткать холсты, Феклуша днями находилась в доме Кобозевых. Оставаясь вдвоем с Феклой, старуха иногда соболезновала:

— Смотрю я на тебя, бабонька, и казнюсь. Из огня ты да в полымя попала. От мачехи — к пастуху, от пестеря — к рогоже.

Разжалобив Феклушу до слез, совала при уходе домой хлеб или кусок солонины и утешающе шептала:

— А ты думаешь, хромой чорт, он придет к тебе! И не жди. Это уж ты так и запиши, пока там он всех баб не облазит — и домой не заявится. Мое дело маленькое, — ворчала она, — но скажу тебе я прямо — подыскивать тебе другого надо мужа, это тебе не притулье.

По ночам Фекла, обеспокоенная жужетней старухи, томилась мрачными предчувствиями и плакала.

После того как Максим разбился, упав с лошади, Фекла почти на месяц села к его постели, заменяя сиделку. Недвижный и молчаливый, он походил на бревно, спрятанный в широкие крышки луба. После трех недель тяжелой болезни наступило выздоровление. Этот прилив жизненности в теле молодой Кобозев ощутил в один из вечеров. Солнце еще не совсем село, и луч, проникавший в горницу через окно, бросал багровый отсвет заката. У постели, участливо вглядываясь Максиму в лицо, стояла Феклуша. Разжимая жаркие губы, Максим попросил пить. Напившись, тихо обронил:

— Спасибо.

Первое, что обрадовало его, это то, что он будет жив и его выходила Фекла. Кроткая, ласковая баба нравилась Максиму своим обращением, участливостью, и он, чтобы сделать ей приятное, сказал:

— Молиться мне на тебя надо, от смерти спасла.

Утром, когда все еще спали, он прошел к постели Феклы...

Муж пришел домой через месяц. Фекла только что пришла от Кобозевых. Харлампий при встрече показался ей сдержанным и сухим. В первый же день, нацелясь глазами на тяжелый жгут волос жены, он неожиданно спросил:

— Почему это ты днюешь и ночуешь у Кобозевых, али и работы у тебя дома нет?

Голос у него был густой и пугал замкнутостью. Фекла, пяля от немого испуга глаза, пробовала вывернуться:

— А чем было жить-то? Чай, сам знаешь, с чем оставил.

Феклу с приездом мужа точило беспокойство. Связь с Максимом могла выйти наружу и грозила неприятностью. Муж пропадал дни в исполкоме, приходил домой вечером, недружелюбный, злой, и спешил ложиться спать. Максим приходил в его отсутствие, настаивал на переходе ее к ним в дом. Однажды вечером она встретила молодого Кобозева у колодца.

При виде парня она смешалась и перестала греметь ведром. Клепаные обручи ведра холодом кололи ее дрожащие пальцы. Бочонок, в который она наливала воду, опрокинулся и, глухо тенькая, покатился по улице.

Максим, подойдя, поднял бочонок.

— Бросать нельзя! Добро хозяйское!

Пытаясь вызвать улыбку на испуганном лице, Фекла проронила:

— А тебе жаль?

Максим, заглядывая ей в глаза, усмехнулся и скороговоркой пропел:

— Жаль тебя, да не так, как себя!

Тон его слов налил бодростью Феклу, и она ответила:

— Не жаль, так нечего и ноги зря мять!

Помаргивая увлажненными от смеха глазами, Максим продолжил:

— Если б не привечали — и ног бы не мяли.

Заметив, что краска смущения заливает лицо Феклы, он участливо спросил:

— Страдаешь, а итти не хочешь?

Потупясь, Фекла созналась:

— Да так, ведь нельзя же ни с того ни с сего, вдруг взять и уйти?

Максим, отступая назад, властно отрезал:

— Значит, жить с ним будешь! — и разочарованно за-

метил: — Что же, матрос парень крепкий, не наш брат — деревня — сиподуи. И слово сказать умеет, и приголубить тоже. — Трогая рукой всклокоченную на виске русую прядку волос, он жестко резанул: — Совет вам тогда и любовь. Мы ведь не какие-нибудь злодеи. Семейную жизнь разбивать не намерены.

Остановив его движением руки, Фекла сообщила:

— Меня ведь он не забижал, уйти — скажут, разведенка, не ужилась. Деревня, бабы — сраму не оберешься...

Максим, жмурясь, точно глотал скверную воду, хмыкнул:

— Э, ты чего испугалась! — И успокоил: — Ну, на это я тебе скажу прямо: снявши голову, по волосам не плачут. Ведь знают все, что ты ко мне ходила? Все! Спали, как муж и жена. Потом заметку, хоть на совести моей и грех лежит, на всю жизнь я тебе оставил. Я лечусь, и тебе надо лечиться. Любил и говорил: жить будем вместе и умирать вместе!

Расширяя от внезапного испуга глаза, Феклуша, побледнев, спросила:

— Чего это ты? О чем?

Кобозев напрямик выпалил:

— Худая болезнь у меня, вот я о чем.

Фекла, проглатывая сухой ком, застрявший в горле, упавшим голосом спросила:

— Как же это так, почему же ты мне не сказал об этом?

Привлекая ее к себе, Максим объявил:

— Брось нюниться, иди заяви своему инвалиду, что уходишь к нам. Чему уж быть, того не миновать!

Тело Феклы налил испуг, и немота сковала движения. Она будто уже ощущала внутри себя кучу смердного гноя. Молниеносно встали в памяти последние дни с подозрительной усталостью и головными болями. Ей казалось, что у нее уже огрубел ломкий голос и встает ноющая тупая боль в переносье.

Провожая безжизненным взглядом Максима, Фекла сказала:

— Доигралась — на всю жизнь, принес гостинец.

Цветастая с разводами шаль, подарок Максима, напомнила о падении. Грязная всклоченная постель отдавала тленом и запахом едкого пота. Со стены настойчиво лезли в глаза выклеенные в ряд дешевые олеографии. От угла сочился запах табаку. Синяя матроска мужа немо упрекала Феклу.

С улицы доносились негромкие голоса проходивших баб и грохот проезжающей телеги. Под окном скрипел колодезный журавль, заглушая шум улицы. Опускаясь на кровать, морщась от внутренней боли, про себя сказала: „Господи, да неуж он и взаправду меня заразил?"

Приторная горечь опять подкатила к горлу, вызывая тошноту. А вечером, кутая лицо в шаль и прижимая руки к подрагивающей при ходьбе груди, прошла к фельдшеру. У него кто-то был на приеме, и сквозь тонкую фанеру перегородки доносился плач ребенка. Женский хриплый голос убаюкивающе уговаривал:

— Маленький, маленький, худенький, худенький!

Густой бас говорил громко и властно:

— Ну, малец, терпи, сейчас кончу!

Фекла молча присела на окрашенный розовой краской диванчик. Мимо нее, заботливо поддерживая под локоть укутанную в тулуп женщину, прошел Шаньга́. Высморкавшись наотмашь, он присел рядом с Феклой и спросил:

— Чего сидишь, твой ведь черед!

Фекла безучастно ответила:

— Успею, я попозже!

Когда Шаньга увел жену из приемной, за стеной кто-то зашуршал водой и, не выходя из двери, бросил:

— Следующий!

Фекла поднялась со скамьи и увидела плотное, обрамленное черной бородой лицо фельдшера. Вороные жесткие волосы горшком лежали на квадратной голове.

Фельдшер, точно сомневаясь, спросил:

— Ко мне?

— К вам! — прошептала Фекла.

Деланно улыбаясь, широким жестом он пригласил ее войти и раздеться.

Волнуясь и глотая слова, Фекла рассказала о болезни. Указав на белое полотно диванчика, фельдшер попросил:

— Прилягте!

Белый потолок низко нависал над головой. Мягко и волнующе по гладкой поверхности бежали желтые лучики света. Выбивая зубами дробь, выслушала жесткие, как удар, слова:

— Болезнь протекает быстро. Организм поражен. Необходим курс лечения!

Обрывки слов, брошенных фельдшером, Фекла не поняла, переспросить боялась. Когда надо было уходить, все же, осмелившись, спросила:

— Куда же она протекает-то?

Тот, не слушая, написал что-то на клочке бумаги и, передавая ей, сухо объявил:

— Необходимы вливания, зайдете через день.

Уходя думала: „Вливанья... Протекает?..“

Харлампий был дома.

— На случку бегала?

От испуга Фекла сжалась, — втягивая голову в плечи, села на лавку. Пальцы рук, синие от напряжения, подрагивали.

Сощуривая светлые глаза, Харлампий спросил:

— Так, значит, мужу верны бывают?

Она молчала.

— Ну? — повторил он, возвышая голос, и шагнул к ней навстречу. Фекла вскочила спугнутой кошкой и, путаясь в шали, бросилась к куту. Оттуда попросила:

— Ты не грози, а выслушай!

Вислая его челюсть тряслась от волнения.

— Говори!

Подбежав к нему, Фекла сползла на пол и, охватывая его колени, зачастила:

— Виновата, каюсь, бей меня, делала я нехорошо. Мать его, сводня, уговорила. Шаль подарил он мне...

С отвращением отстраняясь, Харлампий выдохнул густые, как брага, слова:

— Кого послушала, кулацкого сынка послушала! Я не

хорош. Нога гремит, и слава в округе худа. Пастух. Куда меня любить, — кнут мне да рожок.

Закрутил, точно от удара, головой и закричал:

— Вот уж не ожидал, не такая, думал, ты, а ты вон как, на шаль польстилась!.. Через неделю забыла мужа. А я на работе мерз. По горло в ледяной воде стоял, думая о тебе. А ты вон как! Повесилась первому дурню на шею.

Фекла плакала. Потом вскочила, будто ее подстегнули, и закричала:

— Не прощаешь — не надо, сам будешь прощенья просить, у ног валяться! Вот ты каков! А еще в армии был, образованный. Сипак ты, а не коммунист.

Презрительное сожаление ковало бесстрастное лицо Харлампия. Стараясь выдавить горькую улыбку, бросил:

— Ты коммунистов не цепляй, себя пожалей, почему опустилась... — Помолчав, заговорил: — Шаль честной выдюжкой заработала, наволочки головой стирала!

Выпростав руки из-под шали, Фекла, красная от нахлынувшей злобы, закричала:

— Меня не осудят, я баба, а тебе что скажут? Спросят, почему не учил меня? Водил за собой, как телку... Сделаешь, что тебе надо, и пошел шиманать по собраньям. А не то чтобы жену подучить, помочь ей. Баба я темная, долго ли меня с толку сбить...

Не слушая ее, он заговорил:

— Дурочку из себя не играй, это не пройдет. Чтобы честной женой быть — ума большого не надо. А нет, скажи — тебе стыдно уйти к хахалю без предлога. И ты теперь предлог изобретаешь. А то ведь стыдно будет бесстыжие глаза на людей показать. Раз уж надумала итти — и уходи.

Выпалив, убежал в сени. Перехваченный страхом голос Феклы полетел вдогонку:

— Харлаша, обожди!

Встала, прошлась по опустелой избе и плачуще сказала:

— Ушел!

Свет лампы от соседней избы тускло падал на дорогу. Шла, спотыкаясь и глухо бормоча:

— Что же это я наделала?

Вяло потирая руки, думала: „Как же это так, жить и уйти?“

У Кобозевых еще не спали, на столе кипел самовар. Постояла, махнула рукой и, отжимая тяжелую дверь, вступила в избу.

4

У Вертневых засекла ногу лошадь, когда свозили дрова с гарей, и околела. В праздники в ближайшем городе назначалась ярмарка, куда и собрался поехать Никон.

Вечером, советуясь с женой, он говорил:

— И не хочется, а надо ехать. С одной лошадью нечего и думать в вешну выезжать, — и велел приготовить лошадь к поездке.

Город мало привлекал Никона. Трясясь на прокатинах дороги, подсадив попутчиком мельника, он жаловался:

— Нет, ты скажи, разве жизнь это пошла? Ни базара приличного, ни купца обхожливого, и торговать-то нечем. Захожу раз в кооперацию, покупаю ситцу, а мне в надбавку варежки предлагают. Я так и этак, говорю, баба свои вяжет. Нет, говорят, это принуждающий сортимент. Так и втюрили. А на дворе июль. Дела, думаю, товарищи крутят, не помрут, далеко заедут...

Мельник заливчато хохочет, сотрясая крупное тело, и переспрашивает:

— Так, гишь, сартимент? Ах, язви их в рот, купечество красное!

Никон продолжает:

— Церкви позакрывали. Кресты сняли, глаза, вишь, они им режут. В одном монастыре щетинную фабрику устроили, другой под детский дом отвели, в третьем столовку открыли. Надо бы лучше, да некуда. Собор недостроенный разобрали, а кирпич — баню городскую строить увезли.

Мельник, приглядываясь к бегущим мимо перелескам, подтверждает:

— Это бы еще ничего, если б церкви не обирали. И не поймешь, чего хотят? Церкви закрывают, монахов гонят, колокола в лом. Приведут попа и просят: „Присядьте, батюшка!“ Присядет он этак годиков на пять, и никаких гвоздей. И жаловаться некому, — басит он. — Камень, что у собора лежал, с которого Прокопий-чудотворец на Сухону глядел, — на мостовую положили.

Выслушав мельника, Никон успокоил:

— Все это временно. Помни, в народе зреют надежды на бога. Дай срок — придут пророки и скажут свое слово. Вождя вот нет, — сокрушающе изрекает он. — А был бы ты вот вроде Николая с Синеги, — многое бы можно сделать!

На постоялом дворе, где они ночевали и кормили лошадей, Никон увидел сон. Будто он въезжает в город Устюг один. Стояло утро, и на набережной дремали особняки. Рыхлый берег крепили сваями. В окованные концы свай шлепалась чугунная баба. Работа свайников умилила Никона. Веселея, он подумал: „Вот оно, русское-то, кондовое. Большевицкий камень выломали, а деревцем крепят“. Перевозчик дал Никону с пятака гривну сдачи. На гривне парил орел, разинув клювы двойной головы.

— Ждали-ждали и дождались. За две копейки везут, да гривну сдачи сдают! Эх ты, неразменная!

Гривна, подпрыгнув, запела металлической дрожью, ударившись о камень.

— Чистая медь, — сказал сам себе Никон, — а у коммунистов сплав...

Базар был в разгаре. Около телег, расчесав надвое веерные бороды, зазывали покупателей хозяева, одетые в армяки и лыковые лапти.

„Рассея-матушка!“ — думал Никон, пролезая мимо телег.

Над сенной площадью возвышались, сияя гербами вывесок, управа, полицейское управление и пошта. У пошты стояли полосатый столб и схожая с больничным халатом будка. На перекрестке улиц столбом застыл городовой.

В волнении поджимая руки к колотящемуся сердцу, Никон шел мимо блюстителя порядка. Около больницы раз-

лились лужи грязи, где, сладострастно хрюкая, ворочались свиньи. Рядом присадилась тюремная церковь и длинный нескладный флигель публичного заведения. Бандырша, колыхая упитанными плечами, появилась в окне, блудливо оглядев Никона. Порочные глаза бабы жгли его, и он, стыдясь себя, прошел мимо. Ночью здесь зажигали красный фонарь, рослый вышибала дремал у входа в ожидании скандала.

Базар шумел. Большаки, бородатые и важные, ходили по лавкам с красным товаром. Скупали чай, деготь, сахар, окаменелые баранки, цветастые с разводами полушалки, леденцы, с которых заходились, как с мороза, зубы, и пили магарычи. В скотном ряду ходили гуртовщики, маклаки и конобои с живодерни. Мимо лошадей, как ошпаренные, дико вращая белками глаз, метались цыгане. Звонко щелкающие бичи словно наливали молодостью лошадей. Норовистую, с запалом лошадь поили вином и показывали выезд.

Никон шел городом, изумляясь твердости властей, вернувших вспять жизнь за такой короткий срок...

Адвокат Нибергаль в очках, горбоносый и подвижной, шел играть в преферанс с исправником.

Никон поклонился ему — ведь это он, Нибергаль, ему помог в деле, когда утонул в болоте Костя.

У перевоза Никон был неожиданно остановлен городовым. Супя усатое лицо, тот поманивал его к себе. Холодея от испуга, Никон двинулся ему навстречу. Тронув за рукав, городовой вдруг сухо и жестко объявил:

— Лошадь ты, Вертнев, купил, а она ворованная, пожалте в полицию, там разберут.

Никон заупирался. Городовой, свирепея, катал желваки на пыльных плитах скул. Про-запас он держал засевшую гвоздем в голове мысль: „Держи и не пущай!“ — и, вымахивая руку, сыпанул Никону в зубы. Сникая в землю, Никон крикнул с ртом, полным крови: „Фараон!“ — и... проснулся.

Было еще темно, и с печи плыл сочный храп спящих хозяев. Мельник, сопя и дергая ногой, метался во сне. Огла-

див ушибленное место, Никон подумал: „И до чего сон жив, как наяву!"

Утром, рассказывая о ночном сне мельнику, услышал в ответ:

— Сон — это отражение живой жизни. То, что думаешь и видишь наяву, то тебе и снится. Никакой сон не бывает сам по себе, всякий сон правдив. Значит скоро власть кувырком полетит.

Приехав в город, Никон шлялся жидким и малолюдным базаром, не купив ничего. К вечеру напился пьяный и, кое-как усаженный в телегу мельником, отправился домой.

Проснулся заутро дома и, вслушиваясь в журчливую речь цыгана, засланного к нему мельником, сказал, оглядывая его подвижную фигуру:

— Три года не был в городе, — съездил, и больше ехать не хочется. А лошадь, если добрая, куплю...

Цыган, юля и лопоча, увел Никона на улицу.

Посмотрел на желтые зубы поджарого солового жеребца, сказал:

— Весь зуб съела! До осени не протянет!

Цыган разметал окружья плисовых шаровар, кнутом изрябил улицу, оглушив Никона:

— Молодой, крепкий, — для работ способный!

Улыбаясь недоверчиво Никон оглядывал вилявшую кочерыжкой хвоста унылую лошадь.

— Три воза клади — свезет, не охнет! — сыпал цыган заученные слова, вглядываясь в Марьяну, следившую из окна за мужем.

Прогоняя лошадь по двору рысью, Никон спрашивал:

— А лучше этой не будет?

— Есть, есть товар, но дорогой товар — сам бы ел, да денег надо.

Продавец, порываясь, уметнулся за двор и привел носатого, в черной шерсти лица, цыгана и крупную, в яблоках, лошадь. Точеная ступенчатая раковина копыт коня отливала блеском. Ощупывая струнчатые ноги, Никон шумно дыхнул:

— Эта получше!

Конь, кося выпуклым глазом на витень ремня, зажатого в руке цыгана, приплясывал. Прогоняя коня по двору, цыган верещал:

— Зуб первая сорт, ноги струна, — и, заворотив бархатную губу, постучал коню кнутовищем в зубы.

Конь, фыркая, отступал к крыльцу, приседая на кособочащий зад. Задирая на сторону хвост, цыган лебезил, мешая думать:

— Смотри, хозяин: на ять лошадь, на ять!

Все же, не доверяя, но будто под обаянием чьей-то силы, Никон отсчитал деньги. А вечером, тревожась за покупку, проснувшись, сошел во двор. Был легкий весенний морозец. Никон отворил ворота в хлев и, вдыхая горький запах навоза, прислушался. Качающаяся тьма двора стирала предметы. За стеной отрыгивали жвачку коровы, блестя из темноты зеленоватыми глазами. В яслях лежало нетронутым сено. Загораясь тревогой, Никон прошел вперед, ощупал лежавшую корову. Попыхивая, она лизнула ему руку.

Никон выругался. Нарастающее волнение внезапно согрело ему спину, спускаясь к ногам. Отталкиваясь от сшитой изморозью земли, он побежал к мельнику. Тот осовело вскочил с постели, сунул ноги в валенки и, набрасывая на ходу полушубок, выбежал на двор. Спустя минуту, хрупая звучными подковами, стояла у крыльца лошадь. Никон молодо вскочил на коня и с силой ударил арапником. Конь ошалело привскочил на дыбки и разостлался в беге.

Багровая луна кувыркалась в тучах.

От росстани, чернея, плыла дорога. Яростно лупцуя лошадь, Никон летел в опор, кидая за собой версты. Редкие боры бежали мимо скоро и неприметно. Потертые шипы подков коня срывались, но кнут выпрямлял его, и он, наливаясь горячностью, рвался вперед.

Через час Никон вернулся и привел к крыльцу всхрапывающую лошадь. Лука, морща лицо, недоуменно оглядывал Никона. Тот рубанул сухо рукой воздух и таинственно и веско заявил Луке:

— Лошадь покрали, я нагнал и цыгана списал в расход. Смотри, умирая, будь немым!..

Совхов по разверстке земотдела получил для рабочих рожь; ее сушили, готовясь ехать на мельницу.

Локтев спешил закончить отчет и ожидал, когда запрягут коней.

Со двора выехали гуськом на трех подводах. Вечер сходил на землю, и дорога под горой казалась неуловимой. Лунный свет красил в голубую лазурь небо. Деревья плыли черной стеной мимо возов, стирая просветы. Из боковых просек налетал ветер.

Приехали утром. Пока выгружали в засыпку мешки, Локтев, облокотясь на помост, следил за медленно тающим полотном воды, падающим через плотину. Вода пенилась кружевом и, ниспадая, гоняла в темных воронках крупные ошметья пены. Из трубы помольной избы, крутясь, низко оседал дым. Перегибаясь за перила, Локтев увидел, как по узкой тропинке к пруду шла девушка. Не замечая Локтева, она опустила ведра и зачерпнула воды. Локтев заметил, что у девушки серые, широко расставленные глаза и тонкий рисунок бровей.

„Дитя природы, дикарка!“ — подумал он и невольно еще раз оглядел, как округло и ровно лежат над глазами точно подрисованные брови. Трубчатый новенький полушубок, перетянутый в талии, подрагивал при ходьбе.

Сдерживая дрожь ног, Локтев пугнул:

— Смотри, утопнешь!

— А тебе жаль? — ровно спросила девушка, не глядя на него, и подняла ведра.

Задав корму лошадям, пошли пить чай.

Сбрасывая с плеч пальто, Локтев увидел ее выходящей из горницы. Она шла к столу, внося самовар, оставляя за собой чуть уловимый запах духов и хруст стоячих юбок. Крепкие, с кулачок, груди пугливо топорщились под узкой кофточкой. Очутившись под взглядом Локтева, она покраснела и, туго поджав пухлые губы, ушла за перегородку.

Грея озябшие руки о стакан с чаем, Локтев не уставал следить за ее движениями. Ему нравился и узел каштановых волос, закрученных на затылке, и поблескивающий дешевыми бирюзинками гребень.

В сенях застучали, и, закрывая за собой дверь, вошел мельник. Он небрежно оглядел сидевших за столом и сказал, не обращаясь ни к кому:

— Заночевать придется, очередь большая!

Изучая крупное подвижное лицо его, Локтев спросил:

— А сегодня нельзя?

Мельник, не отвечая, прошел в горницу. Напившись чаю, работники Спиридон и Кузьма легли спать. Локтеву спать не хотелось. Надев пальто, он вышел в сени. Сквозь узкое окно скупо сочился свет утра. Вспомнил о девушке, задержал подмывающую дрожь сердца и, остановившись, прислушался. За дверью глухо шаркали ноги. Он отскочил в угол, где висели хомуты, и притаился.

Шурша соломой тюфяка, дверь отворилась, и прозрачный сноп света залил сени. Девушка, увидев Локтева, смутилась и отпрянула вбок.

— Не бойтесь, это я! — проговорил Локтев и в то же время боязливо подумал: „Накричит, поди, ударит?"

Отклонясь в угол, где пахло кожей сбруи и конским потом, она досадливо зашептала:

— Чего пристал, увидит отец, прибьет...

Локтев молча прижался к ней, привлекая ее несопротивляющееся тело.

Голос у нее был низкий и боязливый.

— Утро ведь, выйдут!

Локтева будто налили расплавленным металлом.

Склоняя к плечу податливую головку, успокоил:

— Не выйдут, спят! — и, воровато оглянувшись, припал губами к ее пылающей щеке.

Богатый и независимый мельник чурался бедноты и жил особняком.

Он умел водить за нос богатых раменян и стягивать бедноту обручем кредита. Строгий, не терпящий возражений, он в селе хозяйничал, как в семье. Стоило только ему высказать с чем-нибудь свое несогласие, как все завязывали рты и соглашались. Несогласных он обрывал резко:

— Молчи в тряпку и не рыпайся!

Черты упрямства и своеволия он унаследовал от сурового, в гневе доходившего до беспамятства, отца. Старик, рассерженный однажды медлительностью тульского самовара, не желающего закипать, вынес его на пруд и, энергично потоптав ногами, поучающе сказал:

— Ну, хватит с тебя, — и закинул самовар в пруд.

Марушко перенял мельничное дело отца, зверюжью силу и цепкость к жизни. Сметливый, покладистый, он умел держать нос по ветру.

Революция, обстрогавшая жир с тела многих богатеев, прошла мимо него. Над неудачниками он издевался, говоря:

— Голову с мозгами иметь надо и в корень смотреть, тогда все хорошо будет. Жизнь уметь обломать надо. Да сноровкой, а не силой. Как ни жиловат, а изорвешься. И будь хоть ты семи пядей во лбу, лопнешь, не сдюжишь. Держись около народа — пей его силу, и жив будешь.

— Я в черном теле жить не буду, — говорил он своим дочерям в минуты душевного излияния. — Придется, и за комиссаров выдам, а уж около вас всегда притулье найду.

Старшая дочь, крупная, в мать, поводя бойкими, как стрижи, бровями, улыбаясь, молчала. Зато младшая, тонкая, с голубыми водоемами глаз, пробовала протестовать:

— А я не хочу за комиссара, от их табаком несет, и богу они не молятся. Можа я еще в монастырь пойду.

Обрывая веселую болтовню дочери, мельник, посмеиваясь, соглашался:

— Иди, трясогузка, молись, это тебе сгодится к старости...

Потом вдруг, осерьезив лицо, спрашивал:

— А где они, монастыри-то? Кои были, и те скопытились, а ты — в монастырь...

К дружбе дочери и секретаря партячейки Дудова он отнесся неодобрительно:

— Мелок! Дальше волости он не пойдет. Мне надо такого, — недовольно заявил он, — чтобы у людей коленки гнулись при встрече с ним. А этот нынче на ревизии в кооперации чуть сам в штаны не наклал, — и, вздохнув, мельник дополнил: — Грехи, а не женихи...

Мельничиха, виновато заглядывая мужу в лицо, подсказала:

— Ты все по-старому, а ныне, знаешь, какие девки пошли. Не знаемо, не ведомо, приведет парня и скажет: вот жених, — и зятем назовешь.

Ухнув кулачищем в стол и вращая сердито глазами, мельник заорал:

— Что? Я ей приведу, так приведу, что недели две на холки не сядет!

Разговор этот происходил в помольной избе.

За стеной глухо бились голоса помольщиков, и доносился шаркающий скрежет ног.

— Желторот еще! — зло продолжал мельник. — Ему бы титьку сосать. Городового, сопляк, не нюхал, а тоже орет — „свобода!“ У меня в пятом году, когда он еще под стол пешком ходил, урядник книжек всяких короб отобрал. Спасибо отцу-покойнику, замял дело, а то бы, как все политиканты, вшей по этапам кормил.

Мельничиха, недовольно морщась, стреляет глазами за дверь, как бы призывая его молчать. Но он, не слушая, негодует:

— И так обида смертная, что молокососы всеми делами заправляют, а тут еще зять...

Жена, вслушиваясь в шум улицы, погрозила:

— Довыступаешься ты, смотри, до чего-нибудь, повезут тебя, только горб забрякает!

Оглаживая обвисшую на ожерелко рубахи шею, мельник удивленно возразил:

— Вот-те на! За какие это такие дела меня повезут? Да коли хочешь знать, — кричит он, — я себя всякого коммуниста лучше веду! Клушину самогон с Метлихи возят? А я ее в рот не беру. Партийные по пятерке с носу на заем дали, а я триста рублей дал. Гарнцевый сбор с других через суд выколачивают, а я в срок сдаю.

Вошедший подсыпка заставляет его замолчать, сказав, что его зовут в засып.

Высокий, с тоскливыми глазами, человек поджидал его в засыпе. Приближаясь, мельник увидел тонкие подвижные

пальцы незнакомца, теребившие бахрому пальто. Оживляя глаза, человек, подойдя, взял мельника за руку и отвел в сторону.

В двери врывался нестройный гул воды, перекатывающейся за плотину. Человек, подозрительно оглядываясь, оставил засыпку и, пройдя к двери, выглянул на улицу. Настороженность прибывшего тревожила мельника. Облокотясь на ларь, он недружелюбно следил за движениями странного незнакомца.

Осмотр удовлетворил чужого, и, дыша в лицо мельнику, он густо сказал:

— Я от отца Николая с Синеги!

При имени отшельника Марушко отпрянул вбок и, белея в лице, хрипнул:

— От него, а где он, что с ним?

Письмо, заклеенное хлебным мякишем, пахло потом и хвоей.

— Миром пахнет, ладаном! — лепетал мельник, срывая печать.

Рыжий лист громко шуршал, обминаемый потными руками. Пришелец стоял, безучастно сложив крестом руки. Кончив читать, мельник пожевал пересохшими от волнения губами и объявил:

— Прости, брат, за прием, гордыня обуяла, не узнал, а старцу скажи, хлеб и место у меня для них всегда будет!

Обшарив карманы пиджака приплясывающими руками, он добавил:

— Да еще скажи ему, что в день и час, назначенный им, я буду на месте.

Человек, откланиваясь, поджал тонкие пальцы к груди и отступил к порогу.

— Прости христа-ради за тревогу...

Оставшись один и приглядываясь к бисеру неровного почерка, мельник восторженно сказал:

— Не сгибли адаманты веры, не рассеялись по земле!..

В праздничный день, воротясь из гостей и отпрягая лошадь, мельник услыхал легкий стук открываемого окна. Подбежав, он увидел черную тень, уплывающую за угол

дома. Это напомнило о связи дочери; он выругался и, путаясь в гужах, влетел в избу.

Подсыпки дружно крыли стол пухлыми картами, не замечая хозяина. Вымытая до блеска борода старшего засыпка Тихона лоснилась и прыгала от смеха.

Бросив в угол хомут, мельник быстро обежал глазами избу и заорал:

— Играете, а хозяин лошадей выпрягай за вас!

Мешая карты, Тихон выскочил на улицу.

— Заспалась, мать?!

Жена, появившись, растерянно и с испугом спросила:

— Опять что-то не слава богу?

Короткая шея мельника устрашающе покраснела, и на правом веке глаза нервно запрыгал живчик. Подбирая движением живот, Марушко крикнул:

— Спишь, соня, а от дочери в окно любовники сигают!

— Выдумщик, да где?

Тогда он провел ее в горницу и, указав рукой на окно, выпалил:

— Вон откуда сиганул!

Охватив руками поясницу, мельничиха сникла на лавку и, сомневаясь, сказала:

— Она спит, да как, ведь и мужики дома были!

Бегая по избе, он утвердил:

— Стало быть так! — и, пронзив пухлым пальцем воздух, упрекнул: — А все из-за тебя! Так-то за ней ты смотришь?

— Все я тебе не служу! — ответила мельничиха и заплакала.

А ночью в постели, дыша в плечо жены перегаром вина и табака, мельник шептал:

— Завтра без людей надо ее спросить!

Напуганная за дочь, мельничиха согласилась:

— Да я разве против, спроси!

— Я ей хвост-то подверну за такие дела, — и уже спокойнее утвердил: — Обе избаловались. Что хотят, то и делают, кого надо, того и встретят...

Утром, выпроводив из избы работников, Марушко позвал из горницы дочь.

Ольга вошла неторопливо, стригая бровями, растерянная и напуганная.

— Почему это ты такая сонная? — спросил ее мельник.

Пальцы Ольги неловко скользнули вниз по переднику.

— Я ничего, — ответила она и, заминаясь, глянула на мать. Та затаила в лице обиду и строгость.

— Ну? — хитро и тревожно спросил снова мельник. — Молчишь?

Мать, перегибаясь в талии, не утерпев, выкрикнула запальчиво:

— Чего ты столбом стоишь, говори правду!

Ольга, потупясь, молчала.

Мельничиха, подступая ближе, спрашивала:

— Ты что это — нас за родителей не признаешь?

— Голова болела, — созналась Ольга, краснея.

— Так-так! — участливо поддакнул мельник и заглянул дочери в глаза. — Потому-то ты и окно всю ночь держишь открытым?

Девушка подалась назад, забормотала:

— Духота... жарко...

— Врешь — ты все врешь!

Видя, что дочь молчит, мельник закричал:

— Шашни завела?! — и пугнул: — Отцу, матери голову позоришь, так знай же, на годы в скит тебя заточу, живи там, молись и в грехе кайся!

Сорвался с места, забегал, выкрикивая полные горечи и упрека слова.

Мать, толкая Ольгу вперед, просила:

— Чего стоишь, вались в ноги отцу, — и старалась склонить ей голову.

Ольга повернулась, чтобы уходить, но мать загородила дорогу.

— Вот ты какая — непокорная!

— Нет, ты расскажи нам! — шипел мельник, схватывая дочь за руку.

Выпрямляя голову, Ольга оборвала отца:

— Не тряси, скажу!..

Вечером Ольгу отправили к старице Мелании в скит.

Кобозев вышел на двор, постоял и, прикрыв рукой выцветшие брови, посмотрел кверху.

Чистое прозрачное небо выгнутой чашей замыкалось над падью. На дворе, раскорячив тумбообразные ноги, батрачка отсевала муравьиные яйца. Белая крупа яиц плотным слоем лежала на брезенте. Подходя, старик сказал:

— Я поподсеваю, иди помоги бабе полоть картошку!

Сухое полотно варежек палило руки. Сгребая растаскиваемые яйца, подумал о сыне:

— Уродился чадушко, ходит только гнезда зорит, а рыбки — бог даст.

До его слуха долетело шарканье ног идущего человека. Отвернув голову, старик узнал Клушина. Тот был в сером, из домашней сукманины, пиджаке и рыжей шляпе. Увидев направляющегося к нему предсельсовета, Кобозев про себя сказал:

— Тоже чортушко растет, в председателях ходит, а ума кот наплакал. — Сменил положение ног и, оборотясь к идущему, с деланым восторгом крикнул: — Макар Митрич! заходь, зазнался — и шапки не ломишь!

От сапог Клушина разило дегтем, на широких, как луб, голенищах висела дымчатая пыль. Здороваясь за руку, он, сощуривая серые на выкате глаза, спросил:

— Сам рыбачишь?

Сбирая отсеянные от иголок и трухи яйца, Кобозев возразил:

— Куда тут мне, Максимка ходит; да рыбы-то нет... — и, покачиваясь на согнутых ногах, стряхнул с решета приставших муравьев.

Присаживаясь на брошенную средь двора одноколку, Клушин добрым голосом сказал:

— А ухи бы свежей хлебнуть не плохо! — и щелкнул пальцем, заложенным за щеку, — точно откупорил бутылку.

Кобозев, спрятав хитрые глаза в наползающие мешочки век, захохотал:

— Ха, ха, ха! Это ты не худо удумал, — и, вытягиваясь на носках по направлению к огороду, крикнул:

— Баба!

Батрачка, ломая широкими лопастями босых ног огурцовые косы, загремела калиткой. Подманив ее пальцем, Кобозев предложил:

— Беги к Максимке на берег и рыбы на уху волоки, а старухе скажи, чтобы на задворках огонь разводила.

Стряхнув в мешок остатки барахтавшихся муравьев, Кобозев спросил:

— Налог в этом году, говорят, снизить обещают, ты не слыхал ничего? Да вряд ли...

Утирая вспотевшее лицо, Клушин сознался:

— Кто их знает, их не поймешь, как год, так и новая раскладка...

Кобозев, вслушиваясь в слова председателя, про себя обобщил:

„Дурак господа-бога, будто чего и кумекает, — да ты, поросячья душа, что хошь сберешь, только прикажи. Нешто бы мужиков отстаивать, так нет, он сам рад для власти в лепешку расшибиться!“

Прервав молчание, Клушин добавил:

— Контрольные цифры обсуждать еще будут, меня вызывают в уезд, там и решат — кого и как облагать!

Едко усмехаясь, Кобозев скатал брезент, говоря:

— И обсуждать тут нечего, как в те годы облагали, так и ныне надо. Все знают, какие мы хозяева. Голтепа были, голтепой и умрем.

Клушин, поглядывая на Кобозева, готовый протестовать, забурчал:

— А кулаки как?

— Милый человек, недотепа божья, — сказал Кобозев, беря его за пуговицу пиджака. — Неужели ты не знаешь житья нашего? Какие тут кулаки? Вон Дудов, хоть и коммунист, а человек правильный. Все, говорит, крестьяне — и баста!

Подумав, Клушин сказал:

— Это ты неверно, — кулаки, зажиточные у нас есть...

Нетерпеливо обмяв подол рубахи, старик пояснил:

— Голова садовая, да зажиточные-то от кого идут? От труда, — и, снижая голос, продолжал, — оттого, что работают до устали. А ты, значит, их разорить хочешь? Всех уравнять, работяг лодырями сделать? Крой, милай, орудуй, но потом не спокайся... Не вы ли прошлый раз просили нас повышать посевную площадь? Кто заброшенные теперь поля к жизни поднял? Я, Марушко, Вертнев. А Хахала и другие полосы в полях пустошили, межи наращивали. Сенокос у них лесом и кочками зарос, семена не чистят, землю пашут кое-как... Скот осиновым листом да ржаной соломой кормят. А у нас этого почему нет? Да потому, что мы старатели, работаем, отдыха не знаем, ночи не спим, каждый сошник обсеменить норовим. А вы так работящих мужиков поддерживаете? Завелось у меня десять пудов хлеба, за тобой соседи-шпионы в оба глаза глядят. Продал пуд хлебушка на расходы — ты кулак, спекулянт. Им много надо, их завидки на наше добро берут, а нешто бы самим из нужды выбиться! Ваши же коммунисты поют: „Никто не даст нам избавленья...“

Он устал от быстрой речи, и голос его осекся, пошел ниже:

— А власти наши лодырям потворствуют, старателя в кулаки зачисляют, а тех, кто им помогает, в подкулачники производят. Ну, и жмут налогом, чтобы обнищал и не думал обрастать жиром. А куда уж тут обрастать? Не до жиру — быть бы живу. С бедняка ни налогу, ни побору, — ты ему хлеб дай, а то он неимущий. Не дал, с отбором пошли, с доносом: хлеб прячет, самогон гонит, власть хает. А вы, как ворон кости, ждете доноса: раз меня — и к ногтю...

Громкий вскрик прилетел с дороги. Останавливая Кобозева, Клушин попросил:

— Обождь, что-то кричат?

Это девка звала их к чаю. Проходя в избу, Клушин, моргая пыльными ресницами, согласился:

— Отчасти ты верно говоришь, но только поделать

ничего нельзя. По-ихнему выполнять не будешь, к ответу потянут. Рад — не рад, а служи.

В полированной округлости самовара отражалась наставленная на столе снедь и водка. Уводили Клушина уже вечером под-руки Максим и батрачка. Председатель лениво плел ногами и лепетал:

— Меня нельзя не уважать, я не мерзавец, а власть!

5

События последних лет тревожили Никона.

Устойчивое и крепкое ломалось. Девки шли невенчаные замуж, без воли отцов, замужние уходили из повиновения мужей. Парни шли в церковь для того чтобы перемигнуться с девицами, слонялись в ограде, злословя и шелуша семечки. Никон сердился, скупо переваривая мысли, спросил Марьяну:

— Ты скажи, или вместо меня кто-то другой живет, или народ изменился? Ныне на сходе меня кулаком обозвали.

Марьяна, участливо поглядывая на мужа, упрекнула:

— А так тебе и надо, сколько раз я говорила тебе — не лезь, куда не просят. Митенька помоложе, пусть уж он с ними...

Особенную остроту приняла борьба за раздел сенокосов.

— Жили люди, работали, дармоеды пришли, — раздраженно рассказывал Никон, — отобрали землю и давай делить, Тюхе-Матюхе. Эх, запустошат все, как есть запустошат!

Придерживая за повод лошадь, к Никону, занятому сушкой сена, подъехал мужик. Отпрукав лошадь, он спрыгнул на землю и спросил:

— А ты чего не на дележке?

Обидчиво улыбаясь, Никон ответил:

— Не гожусь стало быть, ведь теперь нас, стариков, на-смарку пускают...

У мужика было вспухшее, опаленное ветром лицо и красные прожилки на выпуклых белках глаз. Разряжая неудовлетворенное любопытство Никона, он рассказал:

— Что делается, прямо уму непостижимо, — наши пожни

разделили и косить начали, пришли аргуновские, наших прогнали, стали сено грести.

Оглаживая темные от выпота бока лошади, Никон, съязвил:

— А то как же, ведь ныне все хозяева стали! — и заявил деловито: — Перережутся, видит бог, перережутся...

Мужик, помолчав, заговорил:

— Куда тут, наши орут — душу выложим, а свое не уступим!

Вечером на сходе Довбня объявил кулакам:

— Вот что, ребята, владели вы сенокосом — й хватит, мы постановили его по бедноте разделить.

Сообщение взорвало лешегонских богатеев.

— Делить, а вы чистили сенокосы-то? — яростно закричал Кобозев. — Нет, у вас брюхо болит работать, вы на чужой шее сидеть привыкли, вам бы амбары шарить, да готовенькое брать.

Протягивая руку над огнем, Довбня веско отрезал:

— Это ты зря, работать тебя мы не хуже умеем. Дело не в этом, а в том, чтобы все равны были. Так, что ли? — спросил он мужиков, стоявших кругом костра. Заметив утвердительные кивки, отчеканил: — Хватит с вас того, что теперь имеете. Но знайте, что и этим вы пользуетесь только до передела. Как передел, так и дележка на все.

Утром, пока село спало, Кобозев и Вертнев пошли в город с жалобой на самоуправство бедноты.

Стояла сухмень.

Перед ними проходили обожженные солнцем луга, суболоти и сухие горбыли дорог. Сбоку ветер доносил скуку благовеста. Навстречу им, скрипя трубицами колес, плыл воз с сеном. Лошадь, круто дыша, тяжело влегала в хомут. На возу сидел мужик, глядя на идущих.

Усмехаясь, Никон заметил Кобозеву:

— Мало того, воз на коня положил, так и сам еще сел. — Помолчав, невесело дополнил: — Так вот и на нас: сели лодыри на шею и ноги свесили...

В земотделе было шумно от гомона приходящих и спешащих куда-то уйти людей.

Очкастый секретарь, недружелюбно оглядев вошедших Никона и Кобозева, велел подождать в коридоре. В полупритворенную дверь было видно, как секретарь сухо шуршал, листая бумаги, пятня пальцы в пепел, опадающий с папиросы.

Тоску сменило нетерпение. Прошло уже два часа, а их вызывать и не думали.

— Все бумаги, собачий сын, испятнил табачищем, а нас будто и не замечает... эх, правители...

Дым от папиросы клубился кудряшками, оплывал стол. Хлопнувшая выходная дверь отвлекла внимание Никона в другую сторону. Костлявый, с реденькой бородкой, мужик усаживался рядом, спросил:

— Тебя скоро вызовут?

Отвечать Никону не хотелось, но все-таки сквозь зубы процедил:

— Сегодня обещали... через час, говорят, а русский час долог...

Оживляясь, мужик предложил:

— Два часа зря сидишь, иди, наседай на него, разве ты не знаешь, что тут за порядки? День сиди, два сиди — все равно никто не позовет. Иди и проси, чтобы приняли.

Когда они вошли, секретарь, уткнув нос в бумаги, пыхтел, соображая, что ему написать.

Жалоба Никона не вызвала и тени участия на лице гладко выбритого человека. Обложенный бумагами и папками, он казался Никону божком.

Тоненько постукав карандашиком, заведующий заявил:

— Да, но на чужой же счет жить нельзя!

Никон обиженно ответил:

— И не думали, товарищ, жить на чужой счет, сами не менее других работаем!

— А я вот вам не верю! — сказал человек мягким вибрирующим, как у женщины, голосом. — Не верю — и ша! Раз взяли сенокос, значит надо было взять... Значит у вас он лишний.

Очкарь с папкой бумаг стоял, вытянувшись в струнку, и, нагло улыбаясь, глядел Никону в лицо.

— Да, не верю, — повторял заведующий, — ведь вы сами говорите, что у вас лесные сенокосы есть. А раз так, то как же я могу запретить селу выполнять законные права — уравнивать землю по норме. Земельное общество делает по закону, отобрав у вас сенокос...

Никоном овладела ярость. Встала мысль подойти к человечку, вжать в стул стриженую его голову, оскорбить.

— Не могу и не берусь я этого делать, — подчеркнул еще строже заведующий. — Если находите, что сельчане у вас сенокос взяли незаконно, то жалуйтесь в суд, там разберутся...

Выйдя на улицу, Никон, меняясь в лице, отреченно хмыкнул:

— Ну что, взяли? — и упрекнул Кобозева: — Я это знал, захотел ты у коммунистов правды искать, не видишь — одна лавочка. Ворон ворону разве глаз выклюет?

С уходом жены Харлампий впал в апатию и целые дни томился в ничегонеделании.

Было слышно, как на улице точили косы. В такт покачиваемому ногой колесу, батрачка Кобозевых выводила песню. Харлампий лежал в амбаре и, слушая нудь песни, скучал. Надоело, встал и, отворяя дверь, хотел выйти на улицу. Копнастая, здоровенная девка загородила дверь, выставив широкую спину. Вежливо тронув девушку рукой, Харлампий попросил:

— Можно?

Девушка молча уступила дорогу и опять закачалась под звон подтачиваемого клинка косы.

Харлампий, чтобы рассеять тоску, пошел в поле.

В низине убирали хвощи.

Лошади, обжигаемые комарами, носились, как бешеные. Кое-где среди темных копен сена кружились бабы. Тревожно набежал ветер, поднял пыль, закрутил спиралью и понес улицей, засыпая глаза бегущим в луг копнить сено. Темная

тень тучи побежала по земле. Мимо Харлампия, подбрасываясь на одноколке, пропылил Довбня.

— Садись, едем копны возить! — крикнул он.

Харлампий вскочил в одноколку.

Туча плотно закрыла солнце. Крупно изрябив серую пыль дороги, сыпанул дождь, заплясали редкие градинки. Потом участились, и стеклянный звон заполонил село. Мелко крестясь, просеменила домой Кобозиха.

Спустя час дождь прошел. Выглянуло солнце. За уходящей вслед тучей повисли дождевые капли, разноцветно лучась. Над болотом, где вставал седой туман, выгнулась радуга. Вымытая дождем земля зацвела. Перекусив отмякшую травинку, Довбня спросил Хахалу:

— Говоришь, баба ушла? — и, видя, что Дюдин отмалчивается, продолжал: — А ты плюнь на это. Ушла и пусть. Этой дряни на твой век хватит. А вот без дела ты сидишь — это худо. Лошади нет, коровы нет, земля в аренде. Такие хозяева никуда не годятся.

Харлампий, соглашаясь, сказал:

— Это ты верно. Все дни, как медведь в берлоге, лежу. Народ на работе, а мне и заняться нечем. Уж ты прости меня, но я, признаюсь, размяк я, ослаб, надо мне встряхнуться, уехать, что-ли. Ведь пойми, — говорил он, — окопы снес, нужду снес, а на таком грошовом деле как любовь — споткнулся. И не то чтобы я каждой юбке был рад, я и молодым избегал этого, а так, злость какая-то, обида берет...

— Вон оно как, — сказал Довбня и покачал сожалеюще головой. — Не ты бы это говорил, и не я слушал. И кто говорит, — Дюдин! Тот, кто не сгибался ни перед кем. Неужели ты ревнуешь? Зря это все. Значит у тебя на женщину такой же отсталый взгляд, как и у всех мужиков деревни. Выходит, по-твоему, баба — вещь, предмет, собственность...

— Поехал! — отмахнулся Дюдин.

— Нет, ты не отмахивайся, — продолжал Довбня, — это не шутка, ты допотопный взгляд на женщину от старины донес в сохранности. Ишь, было от чего в тоску впадать,

баба ушла! Да на ней, что ли, свет клином сошелся! Неужели личная жизнь дороже общего дела в совете или партии? Ну, говори? — потряс он Харлампия за плечо.

Матрос поднял голову и заглянул другу в глаза.

— Знаешь, — начал он, — пора это бросить, так это... было временное забытье, а теперь я опять трезв, опять готов... Ну! — подал он руку Довбне, — иди, давай мне дела, а то заплесневею я без движения.

Подумав, Довбня сказал:

— Ты знаешь, давай-ка дело поднимем, исконное, хлебное...

— Чего же это такое? — заинтересовался матрос.

— Кирпичный завод, — заявил Довбня, — артель соберем, приучим крестьян к коллективности, а там — шаг до земельной артели...

Загораясь волнением, матрос согласился:

— Берусь!..

Кобозев делал на дворе перевязку ноги лошади, когда к нему пришел Никон. Здороваясь за руку, он сказал Максиму, помогавшему отцу:

— Ну, молодожен, как дела, в артель кирпичную не пойдешь?..

— Без нас обойдутся! — ответил за сына отец.

— Как же с хуторами-то, будем или нет дело кончать? — спросил Никон.

Оживляясь, старик заговорил:

— А то неужели в общине жить буду, али ты думаешь, что я сам себе худа хочу?

Никон, уходя домой, сказал Максиму:

— Землемера тут надо, тут дело все в том, кто ловчей. Успел землю закрепить — твоя, не успел — живи в чересполосице...

Раздались вскрики и щелканье бича на проселке. Гнали стадо, и за ним тоненькой сеткой билась мошкара. Пастух Игоша, подходя к Кобозеву и глуповато улыбаясь, сказал:

— Плешивый, дай пятак, новость скажу!

Безбровое, измятое лицо его было загадочно. Старик,

окончив бинтовать струнцеватую ногу коня, отмахнувшись, бросил:

— Знаю о чем, коровы медведя драли, а ты помогал!

Максим, осклабясь, захохотал:

— Нет, он сегодня что-нибудь новое, тятя, отольет! Посули ему пятак, уж так и быть.

Спуская в бороду усмешку удовольствия, Кобозев согласился:

— Ну ври, да только складнее. Плохо скажешь — поколочу.

Пастух, состроив сострадательную гримасу, неожиданно объявил:

— А твоя-то молодка знаешь, где теперь? Тырлык! — и захлестнул тонкими бледными пальцами себе шею.

Шутка взбесила Кобозева; негодуя, он заорал на пастуха:

— А хошь за такие шутки голову я тебе намылю?!

Открыв окно избы, старуха спрашивала Максима:

— Феклу ты не видел?

Максим уводил коня в стойло и, не оборачиваясь, сказал:

— Дома была!

Придурковато улыбаясь, пастух ткнул кнутом к гумну:

— Там она. Стоит, привязалась и итти не хочет! — и, захохотав, пошел прочь от избы.

От злости старик охнул, нырнул было за пастухом, но, раздумав, пошел на гумно. Свет сникающего за горизонт солнца в упор ударил ему в лицо.

Фекла стояла к входу боком, отбросив правую ногу, перегнув тонкий корпус. Синий закушенный язык чернел, будто болотный цвет.

Кобозев, немея, замер у входа. При толчке с белых ног трупа шурша свалились березовые ступанцы. Старик поднял один, поглядел и, вспомнив что-то, кинулся домой. Зеленый квадрат лужайки двора ослепительно блестел под солнцем.

В это утро Локтев встал рано, чтобы пойти и оглядеть на гумне ток, приготовленный к молотьбе. У колодца, су-

туло выгибая спину, скрипела журавлем баба. Оглядев агронома, она нехорошо улыбнулась. Локтев слышал разговоры о нем на деревне и не удивился этому испытующему разглядыванию бабы.

У гумен знакомый голос окликнул его по имени. Локтев отозвался и подождал.

Неся полное ведерко картошки, к нему подошла работница совхоза Арина. Обмахивая потное лицо платком, она предупреждающе начала:

— Новости о мельниковой дочке знаешь?

Заметив растерянное выражение лица Локтева, она затараторила:

— Ты тут живешь и не знаешь, а ее в скит вчера увезли. Хлыстовкой хотят сделать.

Глядя в лукавые, с наглинкой, глаза бабы, Локтев как бы вскользь ответил:

— Ну и пусть, а мне что за дело?

Арина вкрадчиво переспросила:

— Ой-ли! Чай, это любушка твоя?

— Бабьи сплетни, — сухо уклонился Локтев.

Но Арина, не унимаясь, молвила:

— Чего скрывать-то, все ведь знают, как ты с ней любишься, — и развязно укорила: — Зря только ты с ней хороводишься. Девок, кроме ее, что ли, мало? Хочешь, любую найдем, не чета этой гордячке...

В озорных, бойких глазах бабы стыл смех. Локтев хотел оборвать ее, но смолчал.

Обеспокоенный сообщениями, Локтев вечером опять прошел на гумно. Сомнение не рассеивалось. Вырастало чувство отчужденности. Разозлясь на Арину и желая ей досадить, он нашел бабу на дворе и угрожающе предупредил:

— Ты у меня смотри, брось сплетни, а то зажму — сок потечет.

Баба изумленно отшатнулась.

На другой день, уходя из исполкома, Локтев встретил мельника. Тот выходил из кооператива, прижав желтый кулек к боку.

Принимая беззаботный вид, Локтев пошел навстречу. Увидев агронома, мельник вернулся в лавку и спрятал подбористый зад в дверях. „Злющ!“ — обеспокоенно подумал Локтев и, толкнув дверь, вошел в лавку. Мельник вертел в руках кусок ситца и озабоченно поглядывал на дверь. Встретившись глазами, они холодно оглядели друг друга. Локтеву стало неловко. „Ну и глаза!“ — сказал он себе и вечером пошел к мельнику просить руки Ольги.

Из сеней помольной избы доносились громкие голоса.

— И не проси лучше, — не дам!..

Плачущий женский голос умолял:

— Мне бы пудик только — до нови дожить. Я отработаю.

Звенькнув щеколдой двери, мельник выпустил на крыльцо женщину. Закрыв лицо, мимо Локтева прошла баба, как бы говоря:

— И не жди доброго!

Мельник, поглядев вслед бабе, увидел агронома. Лицо его вытянулось от злобы, и рука готова была сорвать дверь с петель.

Локтев, подойдя, сказал:

— Я к вам.

Не оборачиваясь, мельник, держась за скобу двери, отрывисто бросил:

— Чего тебе?

Широкополая шляпа темнила его лицо, делая угрюмым.

— По делу! — с усилием, точно давя из себя слова, ответил Локтев. — Поговорить надо.

Проходя в сени, мельник махнул рукой:

— Пойдем!

Усевшись на лавку, он помолчал и потом, пытливо оглядев гостя, спросил:

— Зачем пожаловали?

Подбирая слова, Локтев рассказал о цели прихода.

Презрительный смех мельника оборвал его речь.

— Нет! Спасибо и на том, что осрамил меня по всей округе, — гневно, наотрез, заявил мельник. Передохнув и помолчав, добавил: — Как по-твоему, хорошо в окно к девке

лазать? Меня за мое попущенье хают, дураком зовут, другой бы вам за такие шутки голову оторвал...

Локтев хотел было что-то сказать, но Марушко, озлобляясь, резко перебил его:

— Никогда и ни в жисть!

Подумав, опять с насмешкой и зло он спросил:

— Кто ты такой? Может бобыль? От девки да мужика проезжего возрос, а родниться ко мне лезешь?!

Локтев вскочил, белея в лице, запальчиво выкрикнул:

— Молчать! Как ты смеешь, хам? У меня отец потомственный дворянин...

Мельник, стихая, протянул:

— Д-дворянин?! Ты дворянин? — переспросил он, подходя к Локтеву и заглядывая ему в глаза снизу вверх. — Дворянин — и агрономишка?

— Тарутин был мне дядя! — мягчея, пояснил Локтев. — А сюда я прибыл по делу...

Локтев прошел к окну и, убедившись, что они одни, уже спокойнее спросил:

— Ты один, говорить с тобою можно?

Мельник, кивая головой, твердо заявил:

— Говори, парень, я свой, что скажешь, будет между нами.

Локтев, волнуясь, рассказал:

— Меня ищет Чека и, чтобы удобнее было скрываться, я бежал на север... Агроном, это не плохо, я учился этому. Сковырнется власть, имение мое будет, тебя управляющим сделаю.

Мельник, подбежав к Локтеву, припал влажными губами к тыльной стороне руки и залепетал:

— Так значит это ты впрямь молодой Тарутин?

Локтев утвердительно кивнул головой:

— Он самый!

— Прости меня, старого чорта! — просил мельник. — Не понял я тебя сразу. Думаю, хлыстишка какой-нибудь советский, забьет девке голову и скроется.

Ударив себя по лбу, он стремительно убежал за перегородку.

— Мать! — сказал он мельничихе и, выводя ее за руку, указал на Локтева: — Люби и жалуй, — и, приложив палец к губам, зашипел: — Ш-ш... только, чтоб как камень в воду! Ольге он руку предлагает.

От счастья и полноты чувств мельничиха заплакала.

Уводя Локтева в горницу, мельник радостно сказал:

— Мы такие теперь дела с тобой, барин, закрутим, только держись!

— А в скит поедешь со мной? — спросил он, пристально изучая лицо Локтева.

— Это туда, где Ольга? — спросил Локтев. — Поеду!

— Мужиков у нас однокашников много! — продолжал рассказывать мельник. — Оружие с войны запасено. В скиту можно большое дело делать. Там Мелания живет, тетка Вертневых. Баба богомольная и скрытная. Отец Николай при ней, человек святости необыкновенной. Там можно все хранить, и дорогу туда мало кто знает.

Локтев согласился:

— Только мужиков подбирать надо с разбором, а то, как кур во щи...

Мельник, посмеиваясь, отмахнулся.

— Я тут вырос и мужиков, как пять пальцев, знаю. Коммунисты есть, да так, мелкие, а которые поопаснее — в расход спишем.

С этого вечера Локтев стал частым гостем у мельника.

На деревне, примечая это, говорили:

— Компанию не худую агроном-то водит, не к голяку идет, а к мельнику, где хлеба вдосталь и дочки жирные...

Только Харлампий, прохаживаясь мимо совхоза, улыбаясь, что-то записывал в книжку.

Однажды, встретив Локтева, мельник спросил:

— Ты новость слышал?

— Не знаю, а что?

— Никита-дырник появился в ските у Мелании. Ко мне человека подсылал.

Локтев, не удивляясь сообщению, увлекая мельника в кухню, спросил:

— Это из Коряжьмы, вождь хлыстовский, что ли?

Мельник, супясь, закричал:

— Это дураки их так кличут, а они святые, я сам к им принадлежу.

Локтев оцепенел от изумления.

— А ты что же, один поедешь?

— Один! А ты, ужли отстал от веры?

Морщась под пытливым взглядом мельника, Локтев сознался:

— Видишь ли, верил я, да изверился. Открыто верить сил не хватает и времени нет, да и вином я провонял, вот што...

Гремя пустыми бутылками на столе, мельник увещающе сказал:

— А это худо, человек в естестве своем должен быть сильным, а ты, я вижу, мечешься. Купила тебя советская власть, ты и скорбишь, и от скорби тоску заливаешь...

Уходя, Локтев попросил:

— Поедешь, меня возьми, может, встряхнусь я.

У дверей избы их встретил человек, принесший письмо из скита. Сапоги пришедшего были пыльны.

— Я к вам, — начал он и двинулся навстречу мельнику, неодобрительно взглянув на Локтева. Мельник, продолжая сохранять независимый вид, поспешил успокоить гостя:

— Ты не бойся, это наш человек, он за веру и церковь, как и я, душу выложит!

Удалив семью из избы, мельник и Локтев выслушали сообщение о ските. Вести были неутешительные.

Старик молча простоял сутки на крыше бани, схватил простуду и слег. Привозили знахарку, поили его какой-то зеленой настойкой, но он почувствовал себя хуже. Жаловался на шум в голове и подпирающий дыхание кашель. За обедом стошнило, после чего пожелал пригласить Меланию. Укутали в тулуп, потел, впадал в озноб и метался. Не мог сидеть на стуле, попросил кресло, выпил чаю, лег и послал к мельнику.

— Всю ночь шел, — сказал гость, — только бы поспеть объявить волю старца. Он велел сказать, что если не за-

станете его в живых, то наказ он оставит, кого выбрать духовником...

Дорога на скит мелькнула, как сон. Когда показался скит, мельник выскочил из саней, вбежал в дом первым и тревожно спросил:

— Ну, как?

Баба в черном платке, шурша одеждой, не меняя лица, тихо ответила:

— Преставился!

Мельник, зябко задрожав телом, сник на лавку. Руки у него подрагивали, не попадая на пуговицы, которые он стремился вывернуть из петель. Локтев тоже вошел, его кто-то спрашивал, но он непонимающе отмахнулся. Прихожая наполнялась людьми.

— Вот жизнь-то наша, — говорили они и жалились: — вчера ходил целехонек, а сегодня бездыханный!

Бабы, входя, крестились и бухались в пол, говоря:

— Ушел он от нас, а теперь нам все равно, что жить, что умереть!

Голос Мелании отрезвил баб:

— Так нельзя, все мы в руце божией, и никто не может ни сам себя, ни кого-либо другого лишать жизни. В этом закон бога.

Увидев мельника, Мелания подошла к нему:

— Тебя власть принять просим, — начала она, — возьми ее, дай увидеть Христа истинного. Наслышались мы о тебе от старца...

Мельник, отбиваясь, говорил:

— Не могу, немощен я и греховен, — и, указывая на Локтева, закричал: — Вот он, преемник старца! Он может повести нас к богу истинному. Он соблюдает веру корабля.

Моложавая, закутанная по глаза в черный платок, баба обнимала ноги Локтева:

— Не уходи хоть ты. Не можем мы так. Кто крест понесет? Кормчего нам надо.

Локтев удивленно смотрел на ее мотающуюся голову и молчал. Мельник, дергая его за руку, шептал на ухо:

— Согласись, хоть для виду прими. Я помогу, коли что. Но теперь надо им человека, и ты не откажись.

Локтев чувствовал, что он двоится и в него входит жалость к Ольге.

— Ради тебя, — шепчет он и проходит в молельную.

Там полумрак. Дым щиплет глаза и выдавливает слезы.

Локтев поднимает руки к потолку и торжественно говорит:

— Пути божии неисповедимы, служить ему и людям берусь!

Локтева подхватывают под-руки и ведут в келью. Старец лежит в гробу, чинный и строгий, примирившийся с уходом от грешной земли. Бичуя плоть, он загнал себя в гроб, высушив, словно щепу. Локтев думает:

„Сколько силы и крови растерял старец на этих выбитых из жизненной колеи баб? Разве и мне итти по его стезе? Что ж, попробуем разыграть эту роль!"

Пахло ладаном и тленом разлагающегося тела.

„Неужели и при жизни так вонял старик?"

Собрав верующих, Локтев обратился к ним с речью:

— Мы мало чтим народ, — заявил он. — А чтить его надо. Народ — богоносец. Только в деревне, на лоне природы, занятый возделыванием земли и нетронутый растлевающей культурой, мужик имеет ясную голову. Здесь все: благородство порывов, душевная чистота и первобытная целостность нравов. Мы, интеллигенция, — продолжал он, — мало ценим эту сильную волю мужика. Мы дергаем его, а не управляем. Мы не учимся у него упрямству, в котором он может пребывать сотни лет. Но воля мужика не действенна. Он разобщен и чуждается организации. А если и выступает, то как бунт — стихия. Вождей он не имеет. Так вот нам надо найти этого вождя. Пусть мужик почувствует, что он не баран, протягивающий шею под нож. Пусть вспомнит он заградительные отряды, комбеды, взысканные контрибуции, изъятие ценностей из церквей, земли, взятые под совхозы и коммуны, поборы хлеба. Пусть кровью очистит дорогу к новой жизни...

Толпа закричала:

— Ты кормчий, ты и веди нас, хоть на смерть пойдем!

Визгливые голоса ломались в сенях, коробках комнат с нависшими потолками:

— Не отказался, взял власть. Кормчий будет!

В молельне четко блестела фольга икон. От отупляющего тепла перин, скрытых за занавесью, исходил сладковатый запах. Локтев откинул занавесь и усмехнулся:

— На одре возлежать в наше время трудно и невыгодно!

Семеня мелко и часто, подкатилась Мелания. У нее сложенные лодочкой руки и лепечущий голос:

— Кормчий, одна женщина вас спрашивает. Принять можете?

Локтев повернул голову от тяжелого фолианта раскрытой книги.

„Кормчий? — думает он, смотря на уплывающую Меланию, — это я кормчий, недоучка, на пари выпивающий пять дюжин пива и расстреливающий в упор бутылки, — кормчий! Да что это за посвящение? Как-то по-обновленчески. Без креста и попа, без рясы“. Вздохнув, согласился: „Э, хоть не в этом дело. Теперь не молитва нужна, а борьба. Не смирение, а скулодробительство. Мстить, око за око, зуб за зуб“.

Сложив чувственные губы, вспомнил ответ Мелании на вопрос: жалеет ли она старца? Почтителен был ее ответ: „Земля ему пухом, страдал он за нашего брата много, и судить его грех. Мертвые сраму не имут!“

Лицо у нее было несвежее и обильно обсыпанное пудрой. Подумал: „А сама наперсницей была, к старцу богомолок водила“.

Меланию, очевидно, смущали взгляды Локтева. Прикрывая рот рукой, она, войдя, снова спросила:

— Не самоварчик ли вам подать?

Одуряющий запах духов ударил Локтеву в нос, — в дверях стояла просительница. Мелания предупредительно прищемила дверью свет, падающий из коридора. Пухлые мешки под глазами говорили о бурной молодости женщины. Кивнув головой на диван, Локтев сказал:

— Присаживайтесь!

Женщина сняла пальто, оставшись в модном, сшитом в обтяжку платье, заколотом на груди крупной брошью. Локтеву стало не по себе. Захотелось объясниться: кто она, зачем? может быть, ошиблась? Рассматривая незнакомку, думал: „Мясная пища, вина, сласти, одуряющий запах перин, экстаз взвинченных богомолок собьют любого святого". Помолчав, начал говорить первым:

— Чем могу служить?

Женщина сникла в кресло, заплакала, и красные пупырышки обсеяли ее лицо. Немея от удивления, Локтев поспешил успокоить:

— Не волнуйтесь, что с вами? Имейте мужество встречать опасность и несчастья открыто. Помните — слабым и теряющимся не может быть места в жизни, — и тотчас опасливо подумал: „Зачем это я говорю, не зная ее?"

Преодолевая слезы, она заговорила:

— Я к вам, я несчастна!

— Я знаю, — согласился Локтев, — тут дом скорби, человеку с веселым лицом тут нет места.

— Я больна!

Локтев спросил:

— Очень?

— Да, истерия в острой форме. К вам послали. Не вылечишь — прокляну жизнь и уйду в мир небытия!..

Локтев, скривив губы, сказал:

— Этим никого не удивите, а только покажете, что у вас нет силы воли. А волю надо иметь, и тогда на поганой земле будет красива и осмысленна жизнь!

Сказал и опять пожалел, что слова походят на проповедь.

Отрицательно качнув головой, женщина объявила:

— А мне жизни не надо, — я смерти ищу!

— Почему такое разочарование в жизни?

Она ответила:

— Я так уверена, что мир стал болото, после того как расстреляли моего мужа только за то, что он граф.

Подняв кверху руки, женщина заговорила:

— О, как бы я была рада, если б бог расколол вдребезги эту изолгавшуюся землю!

Наблюдая за порывистыми движениями ее рук, Локтев подумал: „Эге, ты графиня, это меняет дело!“

Провожая ее к двери, он с благодарностью сказал:

— Ваши средства для нас весьма кстати. И так много потребуется денег на оружие для отрядов. А этого человека, приславшего вас, мы знаем. Двужильный, хороший и боевой парень.

Оставшись один, он сказал себе:

— Ну, господа, через год колчаковский офицер Тарутин заявит о себе. Тогда мы скажем свое слово! Не восстание! Нет, это обречено на неуспех, для этого нужны иные люди и место. Одиночный террор. Да, террор! Надо создать такую же касту людей, как в Италии. Надо посеять в каждом коммунисте неуверенность за свою жизнь, заразить всех массовым психозом страха. Манию преследования надо привить каждому, кто наш враг.

Скит молчал. За окном шумел лес. Лес шумел, стиснутый болотами и гатями. В скит вели тропы, известные зверю да прожившему здесь всю жизнь человеку.

6

Отход Локтева от основной работы в совхозе сразу же сказался на хозяйстве. Рабочие, набранные из деревень, главное свое время уделяли домашним делам. Вспашка под зябь совхозных земель была произведена позднее всех крестьян села, а самый сев озимых затянулся до заморозков.

Дожди мешали, да и отсутствие достаточного числа рабочих рук задержало уборку хлебов.

Картофель рыли в заморозки, и день и ночь горели костры на совхозовских полях. Не успели завезти кормов для скота на время до первопутка, и теперь работницы носили сено через застывшие озера в пестерях, переправляя его за реку в лодках.

Чтобы сберечь корма, скот пускали на поля, и ходил он до гололеди, голодал и от бескормицы болел и падал.

Отчеты, присылаемые в земотдел о состоянии совхоза,

были полны сногсшибательных планов. „Мы сумеем, — писал Локтев, — в течение текущей случной кампании производителями совхоза покрыть всех крестьянских кобылиц района“. Писал и помнил о том, что жеребец „Куцый“, объевшись чемерицы в болоте, лежит, страдая колитом, а второй замордован гонкой по поездкам в скит.

„В текущую посевную кампанию мы сумеем распространить до двух тонн скороспелых и стойких культур ячменя, — сообщал Локтев далее, — не забыта нами и основная моя деятельность — пропаганда агрономических знаний среди крестьянства...“

В земотделе восхищались сообщениями, а заведующий агрономическим подотделом поспешил дать интервью журналисту местной газеты „Устюгская молва“.

Бойкий малый из незадачливых поэтов в интервью решил удивить губернию. С крупным заголовком появилась статья, возвещающая о перевороте в лешегонской стороне.

„Агронома Локтева на красную доску!“

Автор решил иметь хлеб на обыгрывании тем из жизни совхозов и пошел дальше. В следующих номерах появились две статьи со снимками скотного двора, совхозского поля и — в овале — портрет Локтева.

Информатор намекнул заву агроотделом, тот дал ход, и розовый, как новорожденный поросенок, инструктор уземотдела Рак отбыл на ревизию совхоза.

Между тем смычка агронома с сектантством давала плоды. Из Раменья в один из осенних дней сбежали три экзальтированных девицы в неизвестном направлении. Опечаленные мамаши предприняли поход и напали на след, ведущий к скиту. Напрасно бабы сутки околачивались около скитских ворот, — ражий привратник, глухонемой, время от времени показывал кулак и скрывался.

Судьба девиц тронула голодаевцев. Кривой, с раскосыми ножками, Тишка Чеснок вечером разорялся по сему поводу:

— Невесту взяли! — орал он, нелепо размахивая руками. — Мамаша, земля ей пухом, на Маньке жениться велела, а де ж она теперь...

Он притворно кидал шапку наземь, матерно ругаясь.

Ребята, сгрудившись в круг, покатывались со смеху над опечаленным Чесноком.

Толпа, выкрики и хохот привлекли внимание проходившего мимо Харлампия. Вслушавшись, он подошел к толпе и, узнав в чем дело, быстро зашагал к исполкому.

Привели старух, они тряслись, руки у них не попадали в карманы, когда они пытались доставать приметки дочек — нательные кресты. Книжник и любитель газетной мудрости Довбня принес свежие номера газет, где сообщалось о работе агронома Локтева. Старух отпустили, и Харлампий, пристально заглянув Довбне в глаза, сказал:

— Ну, парень, не пойму я никак сразу. Тут что-то не чисто. Конечно, мы должны беречь специалистов, преданных нам, но поведение агронома, идущее вразрез с описаниями в газете, мне подозрительно. Агроном половину времени проводит в ските. Конечно, религия частное дело человека, но неплохо было бы учредить надзор...

Когда Харлампий отбывал в город, перепившаяся партия ребят бесилась в пьяном раже на проселке.

Чеснок не в шутку уже плакал, идя в обнимку с братом сбежавшей девушки, и кричал:

— Божьи одуванчики, душу из вас выколочу, если Маньку не отдадите!

Вечером после работы Локтев, как всегда, ушел в скит.

Пройдя двор, Локтев, выждав, постучал кованым кольцом в серый квадрат двери. Звук полетел глухой и певучий, отдаваясь в гулкой тишине двора.

Вышла баба и, узнав голос, открыла дверь.

Большой подвал, весь в черном крашеном полотне, скупо освещался керосиновой лампой. В углу, обтянутый материей, стоял аналой, и за ним, супя серое лицо, поджидал мельник.

Копеечные свечки, будто ржаные соломинки, оплывали, освещая сухие, строгие лица икон. Сборище было в полном составе. Мельник, увидев вошедшего Локтева, вперил ему в лицо округлые дерзкие глаза и по заведенному спросил:

— Имя? — и отвечал: — Будешь Ираклит.

Остренькое личико стоящего рядом подсыпка робко улыбалось. Он подал Локтеву белую длинную рубаху, говоря:

— Прими, брат.

— Искус выдержишь ли? — спрашивал снова мельник Локтева.

Локтев нашел глазами Ольгу, которая кивнула ему головой, и будто чужим голосом ответил:

— Выдержу!

— Ну, тогда жди указания от богородицы, — сказал мельник и отошел.

Зашуршали рубахи, одеваемые для радения.

Мельник стоял около своей жены, застывшей будто изваяние, и сказал заученно и тихо:

— Зовем богородицу!

— Зовем богородицу! — глухо вздохнул подвал.

Подсыпок, вытянув узкую голову из плеч, подсказал:

— Могий вместить, да вместит!

Мельник в бороду негромко ответил:

— Все, что исходит из уст и тела, очищает душу! и добавил торжественно: — Можно приступить!

Растирая натуженное горло, мельник низко запел:

Кто хвалит бога!

Подвал заплакал тонкими ручьями женских голосов:

Кто хвалит бога,
Тот достоин чертога...
Кто хвалит божью мати,
Тому у престола стояти...

Вслушиваясь в слова песни, Локтев шел вместе с другими по кругу и оглядывал мельничиху. Полные формы ее тела, обвисая под рубахой, колыхались, как тесто в квашне. Кормчий — мельник, чувственно улыбаясь, объявил:

— Выбираем богородицу.

Выбор пал на мельничиху. Она села в круг и начала песню:

Божья матерь в ризе
На землю сходила,
На селе и граде
Правду находила.

Широкие рукава белых рубах плескались будто крылья, колыхая желтое пламя лампы.

Круг пошел быстрей, сообразно меняемому ритму песни богородицы. Губы ее, красные, как пиявки, плясали, изрыгая слова:

Принята, понята
Богородица.
Понята и свята,
Кто-то родится.

Круг полетел, пламя лампы побежало куда-то вбок, забилось, задрожало в глазах, и черный квадрат подвала замкнулся в полукружье.

Кормчий шумно вздохнул:

Обождать, погодить,
Али бога родить,
Богородица,
Христос родится.

Хор запел:

Наша матушка государыня
Акулина свет Степановна
Духовная, чудотворная,
Ко престолу поклонилася
Во злату трубу раструбилася,
Утробушка растворилася,
Возложенное... дитятко
На белых ручках явилося...

Узкие глаза подсыпка метнули огонек блуда, и, выкидывая руки в бок, паренек прокричал:

Чиста мать, трепещи
Да Христа ищи!

Заражаясь страстью, мельник ударил себя по бедрам и выкрикнул:

Хлещу, хлещу,
Христа ищу!

Богородица сидела недвижно, томно закатив глаза, и губы ее шевелились на напоенном блудом лице. Толпа бежала сильнее, то разрывала круг, то сцеплялась снова руками и узывно тосковала:

Хлещи, хлещи,
Христа ищи!

Экстаз захватил всех, понес куда-то в сторону, мутя сознание, наливая тела пляшущих жарким томленьем.

Локтев запнулся и, путаясь в рубахе, полетел в угол. Лампа, мигнув, погасла. Поднялась возня. Кто-то, схватив, тискал Локтева. Выпрямляясь, он стряхнул с себя наседающего человека и, ухватив чью-то узкую девичью руку, выполз в коридор. Скупая вызвездь вечера ударила ему в глаза и освежила. Вглядываясь в лицо, он узнал Ольгу.

От нее пахло слежалым потом и ладаном. Брезгливо морщась, он тискал ее, шипел:

— Молчи, по всем пошла!

Она хрипела, откинув голову на плечо. Тогда Локтев, свирепея, затряс ее и прокричал глухо и просяще:

— Зачем все это? Хоть бы ты уклонилась!

Ольга сникла в угол, молчала. Потом, как бы просыпаясь, выметнула руки и запела:

Хлещу, хлещу,
Христа ищу!

Зажимая ладонью ее влажный рот, Локтев закричал:

— Замолчи же, хлыстовка! Испортили тебя тут...

Весь день Локтев валялся в сарае, просыпался, прислушиваясь к смутному гулу улицы. Был праздник, и на деревне вели хороводы девки. Подмывающая трель тальянки плакала у плетня. К вечеру на селе появились пьяные партии ребят. Они ходили в обнимку, и озорная частушка рвала воздух:

Мы ребята ухорезы,
У хозяина живем...

Проснулся Локтев — удары колокола кололи тишину улиц. Тревожные и глухие вскрики рвали темноту, то возникая, то пропадая. Вскочив, Локтев на ходу оделся и выбежал на улицу. Мимо него на телеге простучал Довбня. Передний парень, в котором Локтев узнал Хахалу, крутил вожжой над головой и зло хлестал лошадь.

В мерцающих стеклах изб скупо дробился свет дале-

кого зарева. Разрезав перочинным ножом коноплевую треножь уэды привязанной к яслям лошади, Локтев бойко махнул подвижное тело на круп и, бешено колотя в бока коня, вылетел за околицу. Обгоняя едущих, он услышал:

— Скит громят!

Крупные копыта четко цокали по укатанной дороге. Серые изгороди бежали назад. Вот низина, речка, синяя мерклость льда и зыбкое облако тумана, встающего у берегов.

Сквозь лес струился оранжевый отсвет далекого пожара.

Поджигая коня, Локтев вылетел на поляну и увидел скит. Огонь лизал сухие бревна построек. Багровеющие искры столбом сеялись на дорогу. Внезапно покрываясь липким потом, Локтев скатился с коня и, бросив поводья, кинулся в ворота. Толпа яростно кричащих людей кружилась около дома:

— Эй, отпирай, не то разобьем!

Наперли с оханьем, выкриками, и ворота, не выдержав давления, упали...

Толпа хлынула, запрудив двор, ломая заборы. Дощатый сарай, где Локтев любил пить чай с Ольгой, запел от хруста крушащих его кольев. Зияли черные ямы пустот. Зазвенели стекла, и расщепленный на-двое угольник рамы, чертя воздух, вылетел на двор. Поддерживая белеющие подштанники, из избы выбежал подсыпок и тоненько зачастил:

— Караул, убивают!

К нему подскочил рыжий кудрявый парень и наотмашь ударил в висок. Подсыпок сник в землю и, чертя руками ступени крыльца, пополз в пустоту двора. Вытащили за руки отчаянно голосящую Меланию. Она зябко дрожала, белея в лице, придерживая на черном гайтане крест.

Из избы несся ухающий животный крик:

— Родненькие, не надо, милые, не надо!

Пересиливая боль бешено колотившегося сердца, Локтев влетел на крыльцо. Топыря руки, чтобы помешать тащить Ольгу на улицу, угрожающе крикнул:

— Отпустите, а то изувечу!

Рыжий парень, выпуская Ольгу, выкинув руки, пошел на Локтева.

— А, заступник! — заревели пьяно из толпы. — Дай-ка ему по кумполу!

Жаркий ужас вырос у сердца и, отдаваясь в голову, полоснул тело Локтева. Раскачивая на весу кулак, парень наседал, поддерживаемый толпой. Локтев рванулся назад и, поскользнувшись на подплывшей луже, упал на крыльцо. Раздирая гимнастерку на спине и гвоздя кулачищами, его поволокли.

Локтев очнулся от жалящей боли. Он коротко вымахнул руку, вскочив, сыпанул кому-то в развилку ног. Парень, ахнув, захватил руками живот и пронзительно заверещал. Локтев скоком подбежал к хлеву, выдернул запор и, буравя им воздух, ринулся в толпу. Смешиваясь, толпа отступила в угол двора. Кинув стяг, Локтев метнулся в дом и, найдя Ольгу, понес ее на руках.

Скит пылал, как свеча, сея в темнеющее небо золото искр. На дороге Локтева встретил совхозский рабочий Спиридон. Усаживая в телегу Ольгу и Локтева, он глухо сказал:

— Хахала и Гепеу тебя ищут. Мельника уже взяли. Народ, что бешеный, перепились, крови просят. Кто бы думал, что такую заворошку устроят! А остановить не успели, поздно из города солдаты нагрянули. Теперь тех и других судить будут. Одних за контру, других за погром...

Телега подпрыгнула на корневищах и наполнила дребезгом просеку. Локтев не спрашивал Спиридона, куда их везут, только жал в горячих руках Ольгу и шептал:

— Скорей, скорей!

Лошадь, роняя шмотья пены, несла телегу на большак.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Дом Вертневых был еще не плох, а Никон неожиданно пожелал строить новый.

— Кажется и семья не ахти какая, а нет, все копит добро, — жаловалась Марьяна соседкам.

Непоседливый характер мужа, суетливость, вечная жажда накопления пугали Марьяну.

— Брось ты жадничать, — упрекала она Никона, — куда тебе копить-то? На прожиток есть — и слава богу, а ребята, если хотят жить хорошо и сытно, сами на себя добудут.

При этом она не забывала упомянуть о тарутинском богатстве, которое было-де не ихнему чета, да и то пошло прахом. В революцию, после смерти барыни, оно было расхищено кем попало.

Оженив Дмитрия, Никон стал степеннее и строже. Раздался в ширину, закряжистел, ходил тверже, будто следы печатал.

В деревне говорили:

— Вертнев все еще не угомонился, опять лезет в богачи, нос дерет, второй дом строит. Видно, старый дом Мирошке отдать хочет, разделом, вишь, запахло...

Всю зиму Никон с Дмитрием и Пантей рубили лес в делянке, а Мирон с Лушей отвозили. Теперь Никону приятно было видеть, как, блестя серебряными топорами, плотники укладывают в сруб гладкие и пахучие бревна.

Новый пятистенок неторопливо, но прочно рос за околицей Раменья. Рыжие бревна плотно, впритаз, ложились в ряды, выпуская коричневую бахрому мха.

Пильщики, вскидывая над головой руки, резали тяжелый кондовник.

Пахло хвоей и осмолом свежих бревен. Дмитрий помогал плотникам и, сидя на одном из углов сруба, мелко крошил щепу. Пантя тут же возился с сутунком, вычищая язычком долота углубление для гнезда. Оглядывая стройную фигуру сына, Никон подумал:

„А надо будет и этому объявить о женитьбе, пусть знает и готовится“.

Пантя ласково спросил:

— Тятя, не мало ли на два шипа садить, как бы простенок не выгнуло?

За словами сына чувствовалась домовитость и уважение к отцу.

— Ну, куда их, и на одном усидит, — и, радуясь случаю заговорить с сыном, Никон добавил: — Ты мне вечером нужен, поговорить с тобой надо!

Пантя поднял голову и пытливо подумал: „На кой я так понадобился?“ — и тревога засосала ему сердце.

Мимо срубов, погромыхивая ведрами, проходила девушка, гостившая в Раменье у Кобозевых.

Никон, присаживаясь на рыжий сутунок, подмигнул сыну на проходившую девушку:

— До рождества погуляете, а там сватов к ней зашлем, девка добрая...

Вызревшее, но заглушаемое желание прилило к сердцу Панти.

Вздыхая и волнуясь, он ответил:

— Не отдадут, за Капитанова Ваську готовят...

— Сопляк Васька против тебя!

Недавно еще худенькая смуглянка, подросток, Настя вызревала в женщину. Глаза стали строже, смотрели не по-детски, и под открытым гладким платьем намечались острые, будто у козы, груди.

Проходя, она неловко поклонилась Никону, вызвав завистливый вздох у Панти.

Одичалые тоскующие глаза парня тревожно горели.

Никон, вскакивая, сердито зашумел на сына:

— Чего глаза-то раззявил! Вечера, небось, слонов гоняешь? Ходил бы около ее! — И, горячась, выпалил: — Дождешься, вот увезут из-под носа...

Пантя скучающе глядел на отца и молчал.

Старик, лиловея от волнения, наседал:

— Да я, когда молодой был, дыху другим ребятам не давал, попробуй на игрище, отбей мою девку!..

Видя, что сын отмалчивается, упрекнул:

— Надо голову с маслом иметь, а раз котелок не варит — и жить не надо...

Затененное войлочной шляпой лицо сына не оживало. Парень тупо глядел на засыхающую в огороде березу, где радужная паутинка билась под солнцем серебряным ситечком.

Никон понял беспредметность сетований и огрызнулся:

— Дурак господа-бога! На ходу-то хоть не спи.

Дергая головой, как бы от удара, Пантя вдруг взъелся на отца:

— Ну, чего пристал, поди она какая... не подпустит...

Вялый вид сына не вызвал злобы, и, отходя, Никон, махнув рукой в сторону, заявил:

— Раз сказал на ней женить, и оженю! Только без трехсот приданого и говорить не буду, — и победно оглядел сына.

Пантя, оживляясь, сообщил:

— А где им взять? Изба завалящая, скотины две штуки...

Никон, подрагивая упрямо расставленными ногами, сказал:

— А мне и дела до этого мало. Как устав. Имеешь невесту, хоть телись, а приданое дай!

Сухая щепа, отлетев под топором плотника, ткнула в предплечье Никона.

Задирая кверху клинок бороды, он заорал:

— Ей, милай, вятской, не забижай хозяина!

Веерная борода плотника гнулась под ветром. Мужик бесхитростно улыбался:

— Медведи не уломали, а щепы спужался?

Но Никон, не расслышав слов — их отнес ветер, — уходил домой. Вечером, поеживаясь под колючим взглядом отца, Пантя сел на лавку. Виноватый вид сына, перебирающего руками подол рубахи, внешне успокоил Никона. Поджав к шее подвижной рукой бороду, он настойчиво заявил:

— Ну, так вот что я хотел сказать тебе. Хватит, парнем погулял, и жениться пора.

Пантя, беспомощно моргая глазами, промямлил:

— Я... я н-не знаю!

Развеселившись, старик деланно изумился:

— Не знаешь?! Это как же так? — и развел руками. — Усы на губе пробились, дылда выше отца вымахал, а как жизнь свою пристроить — не знает. Эх ты, голова садова!

Не мог усидеть; вскочив, торопко побежал по избе, пугая сына горячностью жестов. Потом присел и обиженно спросил:

— Ты, поди, так и думаешь, что мы с Митькой всю работу воротить за тебя обязаны? Ну нет, спасибо, сыты по горло. — Помолчав, как бы выжидая отпора, продолжал: — На отруба уйдем, земли прибудет, работники нужны позарез.

Пантя молча исподлобья посматривал на порывистые движения отца. Не встречая сопротивления, Никон, махнув рукой к двери, отпустил сына.

Разговоры о женитьбе младшего сына у Вертневых происходили нередко. Мирон и Лука о чем-то подозрительно совещались, и Никон ожидал, что они вот-вот заявят о разделе. Лишний работник в семье с женитьбой сына укрепил бы его положение, и прибавилось бы земли.

После ужина Никон поделился с Марьяной результатами переговоров с сыном.

Марьяна ставила квашню с тестом и, отрываясь, поддержала мужа:

— Это — дело, сваху теперь найти бы хорошую.

Пантя в это время, слоняясь у постройки, был охвачен тоскливым чувством. Настроение грусти снова возвратилось к нему. Он видел причину решения отца в желании выйти на отруб и уволить батрачку.

— Чужие руки — одни докуки, — говорил Никон Марьяне. — Снох будет две, ты, ребята, а мое дело — только следи за распорядком. — И успокаивающе рассказывал: — А там по отмежовке отруб сколотим, земля в куче, работать будем в-обрез, — управно и хорошо.

Марьяна, слушая мужа, сомневалась:

— Тихий у нас Пантя-то, будет ли молодая его любить? Другие ребята на улице шиманают, а он все дома, как бы от девок подальше, а таких ведь не любят.

— Это и хорошо, — ответил, помолчав, Никон, — в шашнях ребячьих толку мало...

Заговорили о невесте. Марьяне хотелось высватать дочь Капитона Куницына. Никон сердился.

— Ты все в богатство лезешь, — упрекнул он. — Вот, взяли за Митьку у Мочкиных — тоже не бедна, а толку чуть. На ходу спит. — И, снижая голос до шопота, заявил: — У Огановых в Заимках, говорят, девка хорошая.

Марьяна негромко запротестовала:

— Увалень! В ближних деревнях у нас нет девок хороших, зря и гоношиться нечего...

Никон молча прошелся по избе и, останавливаясь, сказал:

— Я, знашь, што думаю! Взять, што ни на есть, самую бедную. Эти поклончивее.

Марьяна, соглашаясь, ответила:

— У меня есть одна такая на примете, да не знаю, как ты думаешь?

— У кого? — полюбопытничал Никон.

— У Мишки Кормы в Самутовине, Настька, — девка, куда хошь.

Никон утвердительно качнул головой:

— Знаю, сегодня видел, девка хорошая, тихая, и семья Корминых не балованная. Что ж, к ним можно, — и, проходя к куту, утвердил: — А отдадут с радостью, чай, дом наш на счету.

С первопутком позвали Ваганиху. Моложавая, бойкая на язык, с серыми глазами на выкате, Ваганиха умела сватать. Она ходила третий год вдовой, раздалась в плечах,

пополнела, несла высокую голову и при встрече с парнями блудливо стреляла глазами. Тонкие, словно сеченые брови на широком лице и говорливость создали ей славу царь-бабы.

Колыхая полными бедрами, она проплыла в красный угол, неся с собой запах мытых юбок и бодрящую свежесть улицы.

Никон подшивал гуж к рабочему хомуту. Увидев сваху, вскочил и, делаясь подвижным, залебезил:

— Дарья Лукинишна, наше вам с кисточкой.

Марьяна, улыбаясь, подсказала:

— Засовался весь, стул-то хоть гостье подай! — и поспешила сделать это сама.

Сваха, присаживаясь, взглянула на Никона и заметила:

— Стареешь, сединой попер.

Моргая сухими бровями, Никон пошутил:

— Сединой попер, да зато сам добер.

— Молчи уж, а как погода, так на печь лезешь, то голову ломит, то поясницу колет, — упрекнула Марьяна.

Ваганиха бойко сыпала слова:

— Больно ты прыток, да не велик с того прибыток...

Никон, изумляясь, сказал:

— Пошла-поехала, а парня-то надо или нет женить? Сама ведь весной руку просила?

Играя лукаво глазами, Ваганиха пропела:

— Женитьба не гонитьба, успеешь, а вот о деле поговорим.

— Рады бы годить, да дело не ждет. Люба да баба никак с делом не управятся...

Марьяна вклинилась с доводом:

— Избалуется еще парнем, а женил — и без греха.

Подрагивая от немого смеха лопатками, сваха говорила:

— Да разве я против, да по мне хоть вся волость оженись, — и, сделав серьезный вид, спросила: — А невесту-то нашли?

Никон, играя колечками бороды, ответил:

— К Корме мы, вишь, надумали, хвалят девку-то...

— Бедна, не по вам! По вашему житью любую в округе взять можно!

Никон, веселея от лести, поспешил сказать, подражая свахе:

— Не бери девку богатую, а бери непочатую.

Сваха, умильно поджав губы, не осталась в долгу:

— Это-то оно верно, еще старые люди говорили: „Не ломи рябину, не вызревши, не бери девку, не вызнавши!“

Марьяна своим советом решила спасти невесту:

— Ну, это мы знаем. Отец, мать хорошие, две сестры в своей деревне выданы, худого не слыхать за девкой.

Ваганиха поспешила вывернуться:

— Я не хулю, только говорю: добра большого около ее нет, — голенькая, бесприданница.

Ласково, потирая лицо, Никон заверил:

— У нас нарядить сноху хватит, дело в походе, будут ли давать?

— Ну, раз так, иду-иду, — сказала сваха, поднимаясь с сиденья. — Ведь мне сватать, что дровней просить, — и добавила: — Вот жениха-то мне покажите!

Пантя сидел на повети, где около рыжей колодки грудами ворошилась ржаная сечка. Оглядывая озорными глазами парня, сваха зашумела:

— Чего ты, как опоенный, сидишь, надо жить да радоваться, что бабу дадут, а ты от сватовства боком! Эх ты, тютя!

— Да он у нас застенчивый такой, все молчком да тишком, куды уж ему... — защитила мать.

Сваха рассыпалась говорком:

— Ну, так жить не гоже: живешь — не с кем покалякать, и умрешь — некому поплакать. Мало ли что отец-мать хочут, жить-то тебе с ней, ты и выбирай.

Никон, заражаясь общим весельем, помог:

— Девок ноне урожай, на одного парня — по четыре, выбирать есть из чего.

Пантя молча блаженно улыбался.

Марьяна, радуясь за сына, пожелала:

— Дай бог — с кем венчаться, с тем и кончаться! —

и попросила сына: — Дай свахе руку, идет к Корминой Насте.

— Имя только плохое! — сказала сваха, беря узкую руку жениха. — Настасья! — и пошутила: — Жаль Насти, парня изнапастит!

Но Никон строго закричал:

— Ну тебя с причудами — иди, иди, не проедайся! — и легонько подтолкнул ее в спину. — У свахи-неряхи все девки, говорят, непряхи...

— Ну, женишок, что мне за невестой просить?

Но тут выступила Марьяна и стала делать наказ о приданом.

Пантя, одетый в длинную подбористую каза́чину, в лакированных сапогах брата, задумчивый и строгий, подойдя к окну, продышал дырочку и оглядел улицу.

У крыльца стояла лошадь, а за бревенчатым заплотом [1] дрожали стыдливые звезды. Томительное ожидание, тугая праздничная одежда, духота избы расслабили Пантю, и он поспешил присесть.

Щемящее предчувствие склещило ему сердце, и, чтобы прогнать неловкость ожидания, он крикнул по направлению к горнице:

— Мама, ты скоро?

Марьяна выскочила на вскрик сына и, обминая топорщившиеся буфы кофты, ответила:

— Я-то совсем, да отец как там, запряг, что ли?..

Жена Дмитрия Люба через лопату, положенную поперек брусьев, сучила нитки. Веретено, подпрыгивая на пятке, жужжа кружилось, забегая под стол. В сенях, околачивая валенки, стучал Никон; широко открыв дверь, он вошел, напустив холоду. Поежился, покрякал и, подтягивая по тулупу кушак, сказал Марьяне:

— Тулуп бы надела, сиверко тянет, застудишь зубы, опять ныть будут.

В голосе его чувствовалась грубоватая ласковость и

[1] Заплот — забор.

превосходство над женой. Намереваясь встать, Пантя спросил отца:

— А мне тулуп надевать?

Никон с наигранной сердитостью ответил:

— А как же? Неужели в казачине поедешь? Осрамишься еще, скажут, и тулупа жених не имеет. Ну, с богом, — заявил старик, поднимаясь с места, когда все оделись.

Жеребец, угибая гривастую шею к головкам хомута, легко вымахнул кошеву за околицу.

Бревенчатый заплот около дома, качаясь, перегнулся углом и пропал во тьме. Ехали молча, каждый со своими думами.

Ветер, налетая, сыпал за воротник сухие иголки снега, заставляя кутаться в тулуп. Натягивая вожжи, Никон завозился на облучке, ища арапник. Марьяна, жалея лошадь, попросила:

— Не надо бы, вывалишь еще.

Жеребец, завидев кнут, всхрапнул и, вытягиваясь пластом, пошел крупной рысью.

Блестящий будто рыбья чешуя снег полетел от обочин саней. Вдали смутно синела Сухона. Хруст снега развеселил Никона, и он бойко крикнул, наддавая ходу:

— Э-эх, миленькай!

Зыбкий ветер ударил Никону в лицо, растопырил надвое бороду. На зубчатых торосах кошева подпрыгивала, — пересекали реку.

Около прорубей, обсаженных ельником, мотался седой пар. Опушенная снегом, вставала березовая роща.

Лунный свет, как молоко, заливал дорогу. От ближней деревни тянуло дымом.

Мелькнуло ажурное в изморози окно крайней избы, и окающий голос сказал:

— А, гости дорогие, пожалуйте, пожалуйте!

Пантя, стряхивая забытье, вылез из кошевы.

Напротив избы маячила старинная часовенка с голубцом и слабо мерцающими зрачками окон. Из парного жерла избы ударило в нос капустой и дымом.

Никон, при помощи жены хозяина вылезая из тулупа, спрашивал:

— Как живете? А морозец-то ничего себе.

Хозяин просил:

— Присаживайтесь, милости просим!

За самоваром разговор оживился. Никон, согретый стаканом самогона, укорял хозяина:

— Неужели девка вам на пальто не заробила?

Марьяна, проводя рукою по губам, поддержала мужа:

— Уж ты, сватушка, не упрямься, чего поводится — то и справлять надо! Как же без пальта-то?

Защищаясь, отец невесты сказал, разводя руками:

— Знаю, что надо, да измоги нет! Ведь вона их у меня, — и он ткнул рукой по направлению к печи, где гостей изучали пять пар детских глаз, — и всех замуж отдавать когда-то надо.

— Да не без того уж! — согласилась со вздохом Марьяна. — Понемногу, не кто как бог. Одну снарядили, а там и другую.

Мать невесты, болезненная баба, поддерживала разговор:

— Мы и так, сватушка, из вас ничего не выбиваем. От жениха, конечно, полсапожки, зеркало. А от нас отдарки: рубаху свату и жениху, сватье платок, родным по полотенцу. Ведь на кроянное одной родне тридцать аршин полотна уйдет...

— И без кроянова можно бы! — натянуто и сухо сказал отец невесты.

Но Никон замахал протестующе руками:

— Ну, у нас обычай, ломать нельзя! Если хотите с нами родниться, то уж делайте так, как у людей, а из-за ковриги везти девку не резон.

И вдруг, поглядев на скромничающего сына, крикнул:

— Чего же это мы, старые черти, друг дружке зубы заговариваем, а молодых не спросим?! Ведь ныне права-то каки, сами все — без отца, без матери: в загсу — и собачьей свадьбой. А мы их и не спрашиваем, — не резон это, не резон...

— Наша девка из воли не выйдет! — ответила мать за невесту. — Что мы с отцом скажем, то и будет. Мало ли как женятся, а мы еще прежнего держимся.

Помедлив, она вывела светловолосую, с круглым румяным лицом девушку и посадила рядом с Пантей. Подперев рукой голову, отошла от стола и попросила:

— Ну вот, смотрите, люди добрые, вся тут!

Голос у нее стал низкий, ломкий, будто после плача.

Благоговейно целясь глазами на невесту, Никон, не скрывая восхищения, толкнул сына:

— Ну, знакомься, сойдемся — твоя будет! — и, довольный шуткой, спустил смешок в бороду.

Пантя, неловко склонив голову, оглядел смущенное лицо девушки, подумал: „Хороша!“ — и, чувствуя приближение нарождающейся тоски, упрекнул себя: „Эх, не по мне она!“

Ему невыносимо стало жаль девушку, которая должна стать его женой, но не найдет в нем мужа. Было обидно за себя и за отца. Хотелось оборвать мать невесты, разговаривающую о приданом, накричать и, уезжая, заявить:

— Нет, ей место за другим, здоровым...

Марьяна, будто понимая его мысли, склоняясь к плечу, шептала:

— Нельзя так, что ты, как пень, сидишь, говори с невестой чего-нибудь!

Панте стало еще тяжелее от чувства неловкости, но, повинуясь строгому взгляду отца, он спросил девушку:

— А вы за меня пойдете замуж?

Девушка, покраснев, молчала.

Мать поспешила выручить дочь, ответив за нее:

— О чем спрос, Пантелеймон Никонович, она согласна!

Никон, встав из-за стола, говорил:

— Ну, а у нас, Пантя, все почти облажено, хоть и богу молись.

Только отец невесты все еще медлил и, заслоняя рукой выход, остановил Никона:

— А катанки-то с калошами от жениха как? Ведь если не дадите, и сойтись трудно...

Он видел, какое впечатление произвела на Вертневых его дочь, и старался не продешевить.

— Стоит ли, сват, канитель вести, разве мы постоим за этим!

Растроганная и обессилевшая от счастья, что дочь попадает в богатый дом Вертневых, мать невесты плакала.

— На тебя, сватьюшка, отдаю девку...

Никон деловито и успокаивающе обнадежил:

— Брось, сватья, нюниться, твоя девка у нас родней родной будет!

Но баба уже молчала и торопливо крестилась на икону. Встал и отец невесты, а Пантя, подталкиваемый Никоном, несмело поцеловал тугие губы будущей жены.

К венцу молодых повез Дмитрий.

В сенях и в избе под ногами хрустели пихтовые ветви. Резная божница с хмурыми лицами угодников украсилась расшитыми полотенцами.

Никон, надев поверх нанковой рубахи бархатную жилетку, бегал в голбец проверять бочки с пивом, разливал по четвертным самогон. В избе шла предсвадебная кутерьма. Марьяна распоряжалась стряпухами, и на широких сочельницах, во всю длину лавок, исходили вспухшим тестом сдобные пироги.

Сноха Люба, сонная и вялая, преобразилась и была захвачена общей сутолокой. Засмыкав высоко подол сарафана, она носилась стремительно из избы в горницу, в амбар и погреб с посудой, помогая изнемогающим от жары стряпухам.

В сенях на полках, прикрепленных к стене, стыли жирные студни. Вместительные, из луба, хлебницы заполнились пирогами.

На узких железных противнях, источая запах масла, доспевали шаньги и ватрушки.

Никон, коптясь у керосиновой лампы, подсчитывал гостей и закуски.

Возбужденный от выпитого пива, он бегал сторожко и ловко, щекоча подвертывающихся стряпух. Особенное ожи-

вление появилось к отходу обедни и близкому приезду молодых. На улице по направлению к большаку выстроили дозором ребят. Они поминутно выбегали смотреть на большак, не едут ли от венца.

К полудню, увидев на дороге снежное облако от приближающейся процессии, ребята воробьями рассыпались по двору.

— Едут, едут!

Никон в полушубке выскочил на крыльцо и, увидев поезд, побежал сказать Марьяне.

Улицу залил журчливый говор бубенцов, скрип снега, песни гостей.

Опыленный снежной пылью, Дмитрий, лихо осадив коренника, помог выйти из саней невесте. Разминая затекшие в недвижности ноги, боком вылез и Пантя. Жеребец храпел, косясь на взмыленную пристяжную, у паха которой хлопьями ползла пена. Толчея, говор, хруст снега оживили двор.

Никон из четвертной бутыли самогоном потчевал гостей.

На задних лошадях спешились поезжане и с притворным уханьем вытаскивали ящики с приданым невесты.

Сваха, играя крупными бровями, с озорной веселостью притопывая, кружилась около молодых. Марьяна ей поднесла стакан мутного, невыстоявшегося кваса; она притворно процедила его сквозь зубы и, отплевываясь, откинув голову, похвалила:

— Ну и пиво, еще не пила, с ног валит!

Кургузый, наряженный в женскую кацавейку Лука, приплясывая и гремя в ведро, пел:

Мы радетели, мы посватушки,
Подавайте вина нам, ребятушки!

На крыльце Марьяна иконой благословляла молодых и целовалась с невестой. В избу вполз облаком пар, мешаясь с острым людским потом.

Сваха из длинного холщевого мешка кидала горстью на полати и печь, где глазели зрители, кроянoе, дешевые кон-

феты и пряники. На широких, с цветными ободками подносах разнесли чай.

От гостей скоро отделилась бойкая и веселая сестра свахи, тонкая, подвитая, как девочка. Дмитрий, прислонившись к печи, развел меха гармонии.

Баба степенно и деловито колотила каблуками новеньких ботинок блестящий пол. Раскрасневшуюся и говорливую, потащили из-за стола сваху.

Выпростав из-под фартука, одетого наискось, уродливые руки, выскочил плясать Лука. Кургузая его кофта нелепо прыгала на спине, плясали фартук и неизвестно для чего надетая узда.

За общим столом крепко и ударно шибанул в головы хмель. Гости, захмелев после первого блюда, заорали нестройно и шумно:

— Горько! Молодым горько!

Пантя, морщась, поднялся и поцеловал жаркие, пышущие огнем губы невесты.

Напротив молодых сидел брат невестиного отца; очищая пальцем голые десны, он в упор разглядывал Пантю.

Парню и так было не по себе от духоты, неловкости сиденья; он, злобствуя, думал: „Вот дурак, лупит глаза — узоры, что ли, на мне?“ Подходили стряпухи, он вынужден был всем отвечать на просьбы угощаться и млел от изнывающей тоски, желая одного — чтобы скорее кончилась эта надоедливая канитель.

Рядом с отцом невесты сидел разомлевший от вина и обильной еды рыхлый Кобозев, крестный Панти, и, непринужденно дергая за подол сарафана жену Мирона, что-то говорил. Луша беззвучно смеялась, щуря плотоядные глазки, и закрывала рукой беспомощное, лиловеющее от стыда лицо.

Зрители, перешептываясь, тесно стояли вокруг столов, изучая закуски и гостей.

Отцу невесты хотелось выпить, он устал от спора с Никоном и, распялив круглый рот, неожиданно рявкнул:

— Горько!

Было неловко, что отец кричит дочери, заставляя ее

целоваться, но неловкость положения спас Никон,— опрокидывая в рот пузатый стакашек самогона, крикнул:

— Плясовую!

Склонив над гармоникой гладко зачесанную голову, Дмитрий пустил на нижних ладах мельчайшую дробь „Барыни“.

Легко, по-молодому выбрасывая ноги, пошел Никон. Тонкий, срывающийся голос Марьяны помог:

Я на горку шла,
Тяжело несла,
Уморилась, уморилась,
Уморилась я...

Гости, отойдя от стола, с гоготом окружили плясавшего Никона. Сплевывая через редкие зубы, Никон пошел делать замысловатые коленца, вызвав восхищение гостей:

— Ну и старик, да он молодых за пояс заткнет!

Обмахивая красное лицо платком, отплыла на круг и Марьяна.

Из толпы, завистливо просовывая голову, порывалась поглядеть на пляшущих мать невесты. На нее закричал муж:

— Не порти обедни! — и она отстала.

Марьяна гнула дородный стан в подмывающем уханьи толпы. Выскочил Кобозев, осторожно, по-заячьи пошел „чижика“, мелконько, будто стругая пол.

Кто-то поволок из горницы столы на улицу — мешали пляске. Фальшиво и разноголосо в горнице запели бабы:

Уж ты сад, ты мой сад,
Сад зелененький...

Дмитрий, передав гармонь парню, ухнув, пошел в круг. Гости, будто угадав его мысли, зашумели:

— Невесту на круг, невесту!

Настя, отмахиваясь, несмело протестовала, поглядывая искоса на жениха.

Но ее подняли на руки, она оправилась и пошла — легко, играя маленькой завитой головкой.

Панте было не по себе. Выпитое вино, ударив в голову,

затрудняло дыхание, и во рту неприятно и сухо горел воспаленный язык.

Гусыней от кута отделилась жена Кобозева, за ней, кидая широкие взмахи рук, пошел длинный и нескладный Шаньга.

Все это мешалось, пело, орало. Оконные стекла жалобно дренькали. На мгновение мелькнуло лицо Дмитрия, веселое, смеющееся над ловким коленцем Насти. В углу, меж опрокинутых кверху ножками скамей сник Лука. Он шарил по полу, плевал на бороду, рыгая пищей, и полз под лавку. Шаньга, надев узду, оброненную Лукой, вооружился лопаткой, деревянным молотком для конопатки изб и вызывал охотников холостить баб.

Вызвался Дмитрий. Баб хватали поперек тела, валили на скамью, Шаньга ставил лопаточку в развилку ног, ударял молоточком, говоря:

— Готова, давай другую!

Бабы исходили в визге.

Пантей овладело отчаяние. Жену не отпускали с круга, а самого его вино напоило доотказа желанием покоя. „Уйти!“ — подумал он, но вспомнил, что он жених и ему надо отбывать тяжелую повинность свадьбы, — сидеть. Качался от усталости, зная, что назавтра, зевая с похмелья и крутя отяжелевшими головами, гости придут смотреть, как молодая будет готовить сочни к пирогам. Потом бабы, сгрудившись у стола, будут изучать движения молодой за каткой белья. Затем поведут молодую, дико и нескладно вытягивая нудь песни, в баню. В баню будут поминутно вбегать мужики и поддавать на каменку пару.

До венца невесту возили на детских санках, заставляя прощаться с каждым домом. Пьяный дружка бил в бубен и сыпал прибаутки. Невеста вставала с санок, бухалась в снег и пела прощальные песни.

В селе было сто изб, и сто раз невеста бухалась в снег.

Панте стало жутко, когда перед ним прошла вереницей цепь обрядов и условностей, обставивших быт человека с рождения до смерти. Облизывая воспаленные губы, он подозвал мать.

Марьяна, тревожно округлив глаза, подошла и, склоняясь к его лицу, дыхнула острым запахом пива.

— Чего тебе, Панюшка?

— Я не могу больше сидеть! — попросил он.

Мать отошла к свахе, пошепталась, и они обе, как по команде, закричали:

— Молодых спать, спать!

На подклеть молодую вели под-руки бабы, что-то говорившие ей много и убедительно в напутствие.

Скрипнула дверь. Желтое пламя свечи облило трепетным светом стены. Под постелью зашелестели трава и овчины.

У свахи, оправлявшей подушки, мелко дрожали руки. За стеной дребезжала гармоника, и хрустел плетень под навалившимся телом подвыпившего гостя. Мать невесты, участливо глянув зятю в глаза, сказала:

— Ну, спите с богом! — и вышла вслед за свахой из чулана.

Молодая зашуршала одеждой. Пантя увидел круглый подрагивающий подбородок жены, тугую грудь и маленькие просвечивающие уши.

Добрея от приливающего к сердцу восторга, он тихо и несмело спросил:

— Ты куда ляжешь — к стенке или на край?

Настя в полуоборот оглядела его утомленное лицо, ответила:

— Мне все равно, — и стала раздеваться.

Щелкнули крючки. Пантя, приподнявшись на локте, потянулся помочь. Жена не отстранилась, поежилась, кокетливо сощурив глаза:

— Я сама, сама!

Юбки, шурша, ломаясь, упали на пол, образовав белое полукружье. Поспешно подхватив, она их кинула на стул вместе с замытыми слинявшими чулками.

Плюхаясь в постель, молодая натянула на себя одеяло до шеи и, вытянув голову, дунула на свечу. Тьма стерла очертания предметов. Горячая рука ласково легла на плечо Панти. Уклоняясь, он умоляюще попросил:

— Голова трещит, спать бы, а?

Молодая, жарко дыша ему в лицо, согласилась:

— Ну, спи, спи! — и прижалась к его телу обнаженным полыхающим овалом плеча, покорная и обмякшая от дневной сутолоки.

В один из весенних дней Колобок, проходя увалом к урочищу, где внизу будто картонные коробки прикорнули кирпичные сараи, услыхал голоса.

Где-то в пади тоненько рвал тишину ручей. Покачиваясь на раскоряченных ногах, Колобок подошел к сараю и, сдерживая биение сердца, сник на колено, вслушиваясь.

Узкая бледная его рука подрагивала, приложенная к борту пиджака. Ему чудились шорохи, и в нем встал страх, как и в тот день, когда на селе появились землемер и животновод.

Произошло это в праздник. Село млело от солнца и безделья на улице. Городских привез в одноколке Платон. Животновод, оказалось, была баба. На ней была рыжая вытертая куртка из кожи и блинообразная кепка, затенившая лицо; на открытой шее сизовел от недавнего бритья след.

Землемер был тощ и имел очки, как жерла. Он, приветливо улыбаясь, пристально оглядел мужиков. Вылез боком, путаясь в вожжах и волоча за ручку портфель. Аршинные штаны являли собой вид вздутых мешков.

Увидев топыристые карманы, мужики прыснули со смеху, а Кобозев пустил шутку:

— Полмеры ржи за нужду вбить можно!

Но хохот мужиков, горохом прыснувший по улице, задержал Довбня. Он сухо, как никогда, отрезал:

— Неча зубы скалить, марш на собранье!

Ушли. Колобок, оставшись с Никоном, весь день вынашивал тревогу, слоняясь по улице.

Вот и припомнил он этот приезд, приникнув теперь к отверстию в стене сарая.

В сарае стоял полумрак, пахло глиной, и в вышине таял четкий звук голоса Хахалы, читавшего какую-то бумагу.

— „Теперь жить по-старинке нельзя, — читал матрос. — Жизнь вывернулась наизнанку. Перед всеми встает вопрос,

и чтобы каждый из нас заявил, с кем он. Теперь, как никогда, надо помнить, что — кто не с нами, тот против нас".

Колобок продыхнул струю воздуха, заложившего легкие, и вслушался.

— „Было время, когда партия ограничивала кулака в росте, а теперь его надо уничтожить..." Да, именно, — должны уничтожить кулака, эту враждебную силу, стоящую на пути к социализму. „Кулак хитрит и ищет лазейки. Он режет скот, прячет хлеб, ищет способов пробраться в совет и кооперацию. Бьет на простачков, взывая к человечности, идет на путь убийства и вредительства. Давайте же массовой организацией коллективов вырвем из-под ног кулака землю".

Кончив читать, Харлампий прошелся по освещенному участку сарая, где в молчании стояла толпа голодаевцев, спросил:

— Ну, ребята, правда здесь написана? — и потряс газетой.

Ноздрин, попросив слова, заговорил:

— А я так скажу на вопрос Дюдина, что все то, что он вычитал, — сущая правда. Богатые люди из наших же соседей, лешегонов, не хотят, чтобы бедняк, наш брат, просвет видел. Питались мы хлебом с мякиной и картохами, так они хотят, чтобы у нас и этого не было. Человек я темный, а и то вижу, что все это они из-за своей выгоды делают. Чем мы бедней, тем легче им нас в долг затянуть... Вот еще скажу, — передохнув, продолжал он. — Только заговорили мы об артели, пока кирпич собча работать, так Кобозев мне и скажи: „Жить вы будете в казарме, вставать надо по звонку, кормить будут баландой, на манер острожников. Бабы будут обчие..."

Толпа хохотом прервала слова Ноздрина; застенчиво улыбаясь, сбитый с толку общим смехом, он заключил:

— Вот ведь какую ерунду брешут. Опять, гит, на лбу клейма выжгут антихриста. А я скажу, наплюнуть надо на такие слова, а итти к одному, как товарищ Дюдин сказал... к артели.

Толпа голодаевцев вразброд заговорила:

— За такие слова не худо бы в кутузку упрятать. Если не хочешь сам итти, так и других не смущай.

После Ноздрина выступал кузнец Марков. Он, как видно, только пришел от горна, был в саже и копоти.

— Я, ребята, мастеровой, — сказал он, немного помолчав, — мог бы и без артели жить, потому как вдвоем с женой, но раз, вижу, что какие-то люди расстройство промеж вас хотят произвести, не отступлюсь... Уж не отступлюсь! — повысил он голос, вымахнув руки. — Кузня моя, хоть и небольшая, но за себя постоит, меня же вы не отталкивайте...

Харлампий его успокоил. Но кузнец стоял на середине круга и не уходил. Видно, его мучила какая-то мысль или он забыл что-то важное. На крупном лбу собрались морщины.

— Эк, выпала, — конфузливо говорил кузнец, — шел сюда, на языке держал, и вот...

— Завтра скажешь!.. — заметил из толпы сапожник Коншин.

Он работал в городе в инвалидной кооперации, но узнав о затее Харлампия, приехал в родное село.

— Тут приезжие есть, — сказал он, выступая вперед. — Вот о чем я, ребята. Я, так сказать, на кооперативных дрожжах замешан, Харлампий меня знает. В городе работы пропасть, но дохтур воздух легкий советует... Поезжай, гит, Коншин, в деревню... Я и говорю, куда, мол, товарищ доктор, — ведь в деревне у меня из имущества собака одна шелудивая, да и та околела. Меня, гит, не касается, бульон куриный ешь и воздух деревенский нюхай... Ну вот, я тоже к вам, рукомесло мое вам известно, — как могу, ковыряться буду, а как друг мне Харлампий по фронту, я бы с ним хотел в общее дело влиться...

— Возьмем, нам такие люди — во как нужны.

— Чего там! Парень свой, пусть состоит, мы не против...

Когда голоса стихли, Довбня сказал, обращаясь ко всем:

— Ну, ребята, устав мы зачитали, в списке у нас

двадцать три домохозяина, кто еще желает, пусть пишется у меня. А теперь хочет говорить товарищ Шеньян.

Колобок, продолжавший наблюдать, плотно притиснувшись щекой к щели, увидел, как на белесый квадрат площадки выступила животновод.

Она курила, и дым штопором лез к крыше сарая. Короткие ее руки были округлы и, отливая краснотой, блестели.

— Я об основном, — начала она, — о совхозе. Совхоз у вас на краю гибели. Машины поломаны, скот болеет, инвентарь растащен. Пашня, например, не подготовлена к весеннему севу, семян нет. Я прошу вас, товарищи, помочь мне. Без вас, нашей опоры, бедноты, мне не поставить совхоз на ноги. Ну как, поможете? — и, увидев кивающие головы мужиков, спокойнее продолжала: — Вот — у вас организуется артель, и я от имени совхоза заявляю вам, что мы берем шефство над вами. Будем помогать машинами, удобрениями, семенами, агрономической помощью. Давайте же, товарищи, работать сообща, чтобы вывести из хозяйственного тупика деревню.

На смену ей петухом вылетел Николушка Седун.

— Вы улыбаетесь, — сказал он, — дескать, старик из ума выжил и побрехушки будет рассказывать, а нет, вы послушайте меня. Все будет, как товарищ Шеньян сказала, если мы сами захотим. А не хотеть мы не можем, так как в одиночку нас нужда, как горох в мешке, изотрет. Я за артель!

Всплеск рук заставил Колобка отпрянуть от щели. Ему стало не по себе. Он отполз к тропе, уходящей на вершину пади, и задумался. Посмотрел вниз, где играла ртутная вода речки: „Размозжить, что ли, голову о камни, или выждать?“ — и лег грудью на край ямы.

В сарае нестройно и вразброд запели „Интернационал“.

Весенние дни, посеявшие страх и тревогу в сердце Колобка, были исходными для артельцев.

В сараях велась подготовка к выработке кирпича, и рыли яму для новой обжиговой печи. На мысу, где вытекает речка Опока, был поднят старый утлый паузок, и десяток молотов конопатили его борта. Около спуска к реке день и ночь горели костры; там варили вар для смолки лодок.

Старик Ноздрин, грея на солнцепеке спину, вязал сеть.

Довбня с Платоном и кузнецом осматривали инвентарь. Старое, перевязанное мочальными веревками, вытаскивалось голодаевское барахло. К кузне ребята по-двое на палках тащили трубицу от колеса.

Выставив зад наружу, чистил ножом плесневелые заторы старых бочек Седун. Он недоброжелательно ворчал, когда осматривал пожарный сарай, примкнувшийся к церковной ограде. Крыша сарая поросла мхом, и в зияющие ее пролеты был виден шпиц на церковном куполе.

— Товарищи, — ворчал старик, обтюкивая топориком пыльные ребра сарайчика, — сохрани бог, пожар, сгорим, как берестo...

И верно, с единственной бочки, рассохшейся до того, что заскорузлый палец старика влез в щель до развилки, слетели обручи. У телеги не было передних колес, и стержень, державший ось, стащили ради озорства проходившие мимо хулиганы.

— Ни багра, ни ухвата, — возмущался старик, отплевываясь.

В кузнице тоже шла горячка.

— И это ральник? — орал кузнец на бородатого Чиркина. — До старости дожил, а ума не нажил... Разве это ральник?

— А то что же? — простодушно спрашивал Чиркин, оглаживая ржавое крыло лемеха. — Вот вывостришь, кирпичом натру, да еще как пахать-то поеду...

Кузнец, ожесточенно ворочая мехи, шумел:

— Поедешь до первого камня, а там опять ко мне, — и отрезал: — Председателя за усы бери, чтоб плуги давал, скажи, это не орудье, а копалки...

Около вкопанных у кузни столбов, свивал в крутку березовые вицы, возился второй Ноздрин. Он вязал в клетку бороны. В амбарах чиркали сита, там подсевали семена.

— Артель! Разве это артель? — спрашивал Кобозев, встретив Никона, ехавшего с телегой навоза в поле. — Вот в Аргунове артель, это я понимаю. Не успели организо-

ваться, как всяких машин понавезли, одна другой лучше, а то хомут с арканом связали и говорят — артель...

Многозначительно улыбаясь, Никон поддержал разговор:

— Ничего не выйдет, помяни мое слово.

В вешну артельцы начали сев с первого дня пасхи, первыми из всего села. Лешегоны праздничали и, выходя на увал, смотрели на зачин.

— Это нарочно они, — говорил Колобок, мелко крестясь на крест часовни. — Дескать, на, вот вам.

Кобозев, стоявший с ним рядом, слушал вяло; его интересовало одно: почему от ральника лоснящимся ломтем ворочается за сохой земля?

— Поди не просохла еще, — решает он и говорит: — Посеют в волглую землю, ударит засуха, мы будем без хлеба, а они лопатой будут его грести.

Хитро оглянувшись, Кобозев по за-амбарам ускользает домой, спешно запрягает лошадь и тоже выезжает в посев.

Навстречу ему в обнимку идут пьяные Мирон и Никон. С минуту, выпучив глаза, они смотрят на Кобозева, потом спрашивают:

— День-то ты знаешь какой?

Кобозев сердито басит:

— Дней у бога не решето, на мой век хватит, а ты скажи, сеять время?..

— Бога помнишь? — допрашивает Никон, хватаясь за вожжу.

— Как же, знаком, — изрекает Кобозев и стегает лошадь.

Никон кричит вдогонку:

— Градом бог хлеб побьет, червь нападет, с дождей в труху обратится!..

— Налил глаза-то, — ворчит Кобозев, заворачивая лошадь на загон. — С праздниками скоро без штанов пойдем.

Когда артельцы уезжают с поля на обед, он обходит вспаханные полосы и про себя изумляется:

— Как же это они столько успели!

Тут его застает Шаньга.

— Нет, что ни говори, а общая работа куда прибыль-

нее. Ты смотри,— загибает Кобозев пальцы,— пятнадцать загонов повернули на десять лошадей. А я выехал только на час позднее — и поднял ползагона.

Шаньга молчит, разглядывая ровные линии борозд.

— И хоть бы один огрех...

Успешность в работе артельцев изумляла все село.

Единоличники еще путались с вешной, а они уже подняли пары и готовились к возке навоза.

Видя, с какой быстротой падает под фалангой кос трава, некоторые пришли к выводу: колдует тут Седун, наверно, а то как же?

Седун славился уменьем лечить местными средствами скот, и многие поэтому полагали, что он знается с нечистым. И впрямь, быстрота, с какой убрали траву артельцы, ошеломила лешегонов.

— Много теряем на переездах! — жаловался агроному Довбня.— В один бы кусок землю и сенокос свести, это бы дело было. А то мечешься с полосы на полосу, как угорелый, а их по десятку на хозяина.

Харлампий успокоил соседа:

— Ты не торопись,— заявил он,— поспешишь, людей насмешишь. С исподтиха, говорят, и ольха гнется. Дай хоть мужиков к коллективному труду приучить. Машины достать. А как работу в поле мы ускорим и урожай увеличим, каждый скажет: давайте все в общий котел ссыплем. Через артель в коммуну прыгать нельзя при наших средствах, позвоночник сломаешь...

И верно, на первом же собрании, в самый разгар уборочной кампании, два брата Маркова внесли предложение о стягивании отдельных полосок в одно.

— Силы изматываем,— говорил мужик.— Полосы, что гряды. Ни с бороной, ни с телегой не повернись. Идешь, семена кидаешь и смотришь, с какой стороны ветер, а то, как ни кинь горсть, все ее на соседскую полосу несет.

— А сенокос лучше? — помогал ему второй Марков.— По аршину на едока приходится. Делят лаптем. И сена-то на иной пожне копна, а делят ее с неделю. А то ли дело в одном куске...

Все доводы братьев артельцы сочли обстоятельными и вынесли постановление об обмежовке земель.

2

Приближались перевыборы советов, и Никон, занятый хлопотами по разрешению выйти из общины, стал искать сторонников в деревне. Исход он видел в одном — залить горло одному-двум горлопанам села, подговорить подкулачников и провести свое предложение. Горластым и напористым мужиком считался Шаньга. Шаньга отличен был от всех тем, что не имел собственного мнения, по поводу и без оного мог кричать за тех, кто его просил об этом. В прежние сходы он ходил за старшину Ветлугина, и всегда с успехом.

— Да окромя Ветлугина у нас и дело-то это никто вести не сумеет! — кричал он. — Он медаль имеет, а какой, я спрошу, старшина без медали? Грамоте кто его лучше может? Он библию, вона, в два пуда читает. А кто из вас это может?

Сход, пораженный таким доводом, молчал.

— Опять, ну, выбери хоть его, — и Шаньга намеренно тыкал в грудь захудалому голодаевскому мужичонке. — Может он с начальством говорить? Нет! А Ветлугин может. Ветлугин вхож к земскому и к исправнику, им он завсегда за нас словечко забросит. Потом, мужик он собой ражий, дородный — таких начальство любит, а тебя затрут где-нибудь на зады, и пикнуть ты не сумеешь!

После такого сообщения о выборе старшины из бедноты не могло быть и речи. Шаньга умел это делать, как никто. Если выдвигали другого, кроме Ветлугина, то он со всей силой своего голоса обрушивался на противника.

— А тебя, что ля, избрать?! — орал он, перекрывая гомон избы. — Да ты как корова на льду ходишь. Ты ведь ступить шагу дельно не можешь. Да ты глянь, нос-то какой у тя? С таким носом ты всех в тоску вгонишь.

Противник, краснея, что-то бурчал под хохот схода.

Зная манеру Шаньги высмеивать противника публично, редко кто отваживался ему противиться, и назначенный

кандидат всегда проходил, куда нужно. Так представлял Никон Шаньгу, идя к нему.

Шаньга был на дворе, размешивая в корыте лопаткой корм. Розовая лысина расплеснулась у Шаньги по черепу от лба до ушей, оставив жидкую растительность около шеи. Длинный хрящеватый нос украшал багровое угристое лицо. Рот он имел широкий с тонкими ломтиками губ. Щупая мужика глазами, Никон подошел к воротам. Крутобокая свинья, беззлобно хрюкая, выкатилась навстречу. Громко и возбужденно гогоча, качаясь на выбрасываемых в сторону перепончатых лапах, двинулись гуси. Мышастая телка поковыляла было от хлева, но увидев, что и так много встревожил население двора новый человек, в нерешительности остановилась.

Отмахиваясь руками, Вертнев устремился к хозяину.

— Ты што это ко мне никогда не заходишь? Дело до тебя водится.

Ощерив волосатый рот, Шаньга загрохотал:

— Мил человек, да когда? Видишь, дыхнуть не дают. Баба неделю без задних ног лежит, снохи по хозяйству не смыслят, вот и хожу сам. Я и то было думал зайти, да все время не подпадало.

В сенях избы колокольцем сыпался женский смех. Круглое смеющееся лицо снохи выглядывало на двор. Внимание бабы привлек теленок, жевавший полу пиджака Шаньги. Отгоняя телка, Шаньга осведомился:

— Ну, как твоя сношка? — и добавил: — А у меня — озорня, хохотунья, — сладу нет.

Никон, пристально глядя вслед проходившей бабе, сказал:

— Что ж, веселье не напасть, веселых бог любит.

Пока баба сыпала в корыто отруби, Никон, отозвав в сторону Шаньгу, знакомил его с ходом событий.

— На тебя вся надежда, — просил он. — Ты уж не подкачай, пьянчужку Клушина свалить надо!

Желание Никона видеть сына председателем сельсовета исполнилось.

Давнишняя мечта перейти на хутора, закрепить землю и начать по-новому хозяйствованье могла быть осуществлена. Дмитрий, заняв пост предсельсовета, стал гнуть свою линию прямо и неукоснительно. Однако, несмотря на разрешение уземотдела на вырезку хуторов и посылки землемера для проектировки участка, Никон тревожился за исход дела.

— Собрания голь-шмоль наша ежедень ведет! — сообщил он сыну и посоветовал: — Ты там, парень, в оба смотри. Пока на нашей стороне перевес, а чуть кто переметнется к ихним, могут завируху устроить.

Разговор происходил на гумне. На току гулко и дробно чавкала снопы молотилка, и с рыжего омета соломы падала звонко и заливчато песня.

Мимо гумна, поскрипывая в новых завертках, важные, будто гуси, плыли возы с соломой. В поле ярко голубел дым от лесосеки, которую жгли артельцы.

Высоко задирая под ветром горящие, как серебро, тройчатки, Дмитрий носил солому.

Сбросив пласт под ноги Любе, сообщил отцу:

— Кобозев сказывал, что вчера опять собрание у Довбни было. Постановили всю землю обмежевать воедино.

Никон, сдвигая нависающие лохмы бровей над широким переносьем, угрюмо молчал.

Обтирая рукавом пот с высокого лба, Дмитрий продолжал:

— Землю хотят обмежевать и жить в домах общих. Голодаевских почти всех подбили. Бумагу в город написали, что будто ты против артелей высказывался и налог сдавать не хочешь.

Тугой ворот рубахи душил шею Никона. Выдыхая воздух, заполнивший горло, он гневно спросил:

— А ты?

Дмитрий хвастливо успокоил:

— А я что, ничего! Первое, меня в уезде Зоборов знает, кроме того перевыборы будущей осенью только будут, а до этого мы с хуторами покончим.

Лоснящийся локон непослушно полз из-под сдвинутой

на затылок шапки Дмитрия. Оглядывая сына, Никон пожелал:

— Нам бы до вешны межовку провести, а там пускай хоть и тебя с совета снимают.

Дмитрий заверил:

— Это у нас не сорвется. Правда, артели ныне выдвигают на первый план, но ведь и отрубные участки не запрещают. Притом, раз большинством двух третей вынесли приговор о переходе на хутора, так будьте добры соблюдать. А чтобы отменить его, надо хлопотать, а на это у них еще и ума не хватит. Нет, вот они где у нас... — и показал отцу жилистый, поросший редким волосом кулак.

— Ну то-то! — промолвил Никон и, радуясь твердости сына, отошел к молотилке.

У Вертневых еще спали, когда Колобок позвал Никона на собранье.

Лешегоны, пожелавшие выйти на хутора, были в сборе. Шаньга, сидевший у запечка, рассказывал:

— Вот вышел землемер, а по пузу у его цепочка золотая. Постоял, посмотрел, а говорить не хочет. Спросили секлетаршу, — финтифлюшка такая: каблуки с кандибобером, юбочка в обтяжку, — берет ли, дескать, приношение? Бровями постригала и говорит: „Не ляпайте во всеуслышание, стены — и те уши имеют, — берет, говорит, барашка в бумажке!“ Ну мы рады-прерадехоньки, что наконец-то узнали, чего землемеру требуется. Купили собча в слободе бараница курдюшного, зажарили, бумагой обернули и несем! Барашек в бумажке — как есть! Вышла опять эта девка пудреная, ногами топочет, руками машет: „Баранами не берем!“ Землемер услыхал, выкатился, накричал на нас и на улицу выгнал. Пришлось пятишницу девке всучить, тогда только и обломали.

Увидев входившего Никона, Шаньга замолчал, подобрав губы, и сплюнул сквозь редкие зубы. Собрание открывал Колобок.

Прочистив горло, он обвел собрание голубыми глазами и заявил:

— Ну вот, мужики, собрали вас сказать, что из Устюга

пришла бумага насчет обмежовки. Землемера по весне нам обещают, только просят внести задаток за работу по десять рублей с едока.

Шаньга, усмехаясь, бросил от печи:

— А кто носастей, с того двадцать.

Кончив говорить, Колобок внес предложение:

— Я думаю, ребята, надо подсчитать едоков и сообразно достатку хозяина собрать. А как вы?

Колобку возражал Заглубоцкий:

— А я думаю, по едокам нельзя, ребята, раскладывать. Лучше по хозяевам. Потом еще, сообразуясь с зажиточностью. Один у нас и сто рублей — не охнет, а другому и червонца не наскрести.

Заглубоцкого поддержал новый ктитор Редькин.

— Симаха верно говорит, — заявил он, — например, Вертневы одного хлеба сколько за год спровадили в город, им ничего не стоит и сотню на такое дело бросить, а Шилыханову, тому тяжело будет.

Кобозев, выступив, заупорствовал.

— Земля всем нужна? — спросил он. — Всем! А раз всем, так будьте любезны все и платить. Никто ни за кого не обязан деньги давать. По едокам, и на всех разложить — лучше всего...

— А мужики у нас где? Нет их. Где мы возьмем денег? Не согласны по едокам! — кричали бабы, перебивая друг друга.

Пуще всех старалась востроносенькая рыжая бабенка. Кобозев пробовал было остановить бабу, но безуспешно.

— Ты не верещи, — упрашивал он, — а выслушай. Мы-то тут при чем? У тебя нет мужа? Правильно, нет, — а земля есть, значит платить ты за нее обязана.

Но баба, не слушая, закричала:

— А, вон ты как, х-хорошо поешь, — а мы чем виноваты, что в войну у нас мужья пропали! Нет, ты дай мне его, я заплачу! Ты сам-то не ходил и Максимку в городе устроил. Денег и хлеба невпроворот, а поступиться лишним рублем не хошь!..

Лупорожая длинная баба ей помогала:

— В войну мы траву да картошку вместо хлеба жрали, а вы зеркала да шубы выменивали. У нас кишка за кишку заходилась, а вы самогонку варили... Вы!.. вы!!.

Колобок застучал в стол сухими костяшками рук, взывая к собранию:

— Марфушка, Ленка, подождите, другие что скажут.

Подступая к столу, бабы закричали на Колобка:

— Ты, христосик, молчи! Знаем тебя, ты за них горой, — вместе хлеб на Язовиху прятать возили. Бесхлебным — так у вас хлеба нет, а как на базар — так пудовики под сиденье прячете!..

Подергивая озорно плечами, Шаньга подзуживал их на разговоры:

— Так их, так, отчитывай, бабы!

— По-моему, пусть и так! — сказал, соглашаясь, Никон. — Бабы не зря шумят. Раз так, давай платить по хозяевам. Я вот первый даю сто пудов со своего паю, — сказал и опустился на стул.

Уступчивость Вертнева удивила Кобозева. Подходя к Никону, он, дергая его за рукав, спросил:

— Ты с ума сошел, богач какой высказался! Голтепу удивить хочешь!

— Молчи, с своей жадностью ты все испортишь...

Подписывая протокол, Никон заявил:

— Ну, теперь только дело за землемером! — и победоносно окинул загорающимися глазами сход.

Никон не только в голове, но и на бумаге любил закреплять свои мечты о хуторе. Оставаясь один, доставал бумагу, карандаш, набрасывал план участка, расположение построек, выгон, проселок и всякие другие мелочи хозяйственного распорядка.

Он сходил к учителю и крайне удивил того требованием дать ему проекты жилых домов.

— Вряд ли что подходящее найду для вас, Никон Петрович, — сказал учитель и задумался. — Разве вот в книжке о Дании есть проекты ферм.

Услыхав знакомое слово, Никон радостно закричал:

— Вот это мне и надо! Русское не люблю, мне заграницу подавай.

Идя домой с тощей брошюркой, данной учителем, он вспомнил о своем разговоре с Довбней.

Было это осенью, в лесу.

Никон бойко крушил молодые деревца, очищая их от веток, и сносил в костры.

На соседней полосе стучал топор Довбни.

Никона подмывало поговорить с Довбней, но мешала тень неприязни, легшая между ними с революции. Мучительно краснея за вынужденное унижение, он все же позвал соседа.

— Что это у тебя — седина? А я и не знал! — удивился Никон.

Довбня, застенчиво улыбаясь, ответил:

— От дум, говорят, а я не верю, думать-то много было не о чем. Правда, работы нес много, а чтобы думать — не приходилось...

Никону понравилась простота и искренность слов мужика. Умиляясь простоте встречи, поделился и сам:

— А я... и я вот... лунь, — как есть, лунь...

Довбня уже серьезнее заметил:

— От жадности, скопидомства... А кому копишь, зачем?

Никону льстило упоминание о его хозяйственной мощи, он спросил:

— Ты знаешь, что я надумал? Похвалишь или нет?

Довбня напряженно всматривался в лицо Никона.

— Деревня, вишь, у нас разрослась, — сказал Никон, — едоки растут, а земли в обрез. Сенокос в весны реку рвет, на полосах каменицы, межи, ни у кого заботы нет, хозяйство падает...

Помолчав, Довбня ответил:

— Это ты верно, лени у нас невпроворот, кроме сохи да трехполки мужики ничего и видеть не хотят.

Чувствуя, что он напал на след, Никон заговорил увереннней:

— А прибавить есть что. Падь вся лежит зря, а чистить не хотят. Да оно кому охота и чистить? Подними земмлю,

а через два года отдай ее соседу. Так вот, я и надумал на хутора выйти. Нарезать участки, рассадить всех и сказать: „Ну, робь, курьин сын, развивай хозяйство, уронишь — другим отдадим, а тебя в золоторотцы...

Высказал это Никон и замолчал, чувствуя удовлетворение...

— Это ты ерунду несешь, — ответил Довбня и заключил, — такой номер не пройдет!

Откидываясь от неожиданности назад, Никон огорченно спросил:

— Вот как! Почему не пройдет?

Довбня, не меняя холодного тона, добавил:

— Таких хозяев нам не надо!

Никон, сощурясь, искал сочувствия в лице Довбни.

— Так, по-твоему, лучше жить в чересполосице? — спросил он с обидой в голосе и пожалел, что зря рассказал свои замыслы такому неотзывчивому человеку.

— И в чересполосице не надо, — ответил жестко Довбня. — Совсем другое...

— Ну, чего же тогда? — нетерпеливо выкрикнул Никон.

— А такое, — ответил тот, — чтобы одиночный мужик не вырос в хозяина, в кулака не вырос.

— А как же без них? — язвительно, уже раздражаясь, бросил Никон. — Кто же землю работать будет?

— Мужики! — все так же отчеканил Довбня. — Такие мужики, у которых нет „твое и мое“, а есть все общее.

— Э-э! — протянул Никон разочарованно и хлопнул топорищем по голяшке сапога. — А я уши развесил, думаю, ты чего-нибудь новое скажешь. А ты вон о чем...

— Вот чего нам нужно, — утвердил Довбня: — такое хозяйство, где мужик всю гнусь с себя сбросит, называемую собственностью.

— Ну, нам с коммунией не по пути, — отмахнулся Никон. — Пустое это занятие и невыгодное. Два брата вместе живут, и то делятся, а вы хотите всю деревню собрать в одно да собча работать заставить. Ох, худо будет! Мужики бы еще туда-сюда, а бабня, — три — базар, семь — ярманка...

Довбня отвел довод Никона:

— Бабы еще лучше нас сговорятся, — и спросил: — А ты думаешь на хуторе не такая же трата сил, как и в чересполосице? Можешь ты сам-двадцать урожай выгнать? Нет! Потому, земли у тебя в обрез, негде многополье ставить. Можешь машины завести? Нет. Одному купить — кишка тонка, да куда ты по своей грядке с машиной кинешься? Ржаветь машина в сарае будет. Вот так, — закончил он. — Иное дело — артель или коммуна...

Никон вскипел:

— Вот ты какой хлюст! Ишь ты, куда гнешь, коммунию тебе штоб? Чтож, организуй, бог тебе в помощь, только меня уволь, — и он чиркнул себя рукой по горлу: — Вот где они, коммунии-то нам...

С тех пор Никон резко изменил свое отношение к Довбне. И теперь, вспомнив этот разговор, подумал: „Нет, не вернуть, пропащий он мужик...“ — и пожелал: „Только бы размежевали, а там я показал бы коммунистам, как надо вести образцовое хозяйство!..“

Вскоре же после организации артели Дюдин был командирован на курсы животноводов в город. Перед отъездом, прощаясь, он советовал Довбне:

— Ну, работай, друг. Артели не бросай. Два года учебы — не велик срок. Поработаете и без меня.

— Допотопное представление о кулаке надо выбросить, — заявил он, давая наказ. — Дудова и Клушина пора исключить, оторвались они от масс и партию предали. Многие из бедняков с нами, сумейте закрепить с ними связь. Помните одно: кулак рядом, он силен...

Однажды, встретив Колобка в городе, Дюдин пожелал узнать о настроениях Раменья. Колобок, как видно, не ожидал встречи и, усиленно мигая слезливыми глазками, пробовал отмахнуться:

— Э, милок, это у вас в городе новости, а у нас все по-старому — живем, хлеб жуем.

Замечая, что тот увиливает, матрос поставил в упор передернувший Колобка вопрос:

— Ну, а как, в хуторники-то скоро обрежешься?

Волнение скользнуло в лице Колобка.

— Я ничего, — ответил он, сделав приветливое и сладкое лицо. — Я хоть и в артели, а хоть и по-старому. Хлопоты уж с хутором-то очень. Потом и баба у меня неможется и сам прихварываю — и... — пощипав жидкую бороденку, добавил: — А по-моему бы — лучше не трястись. Кто хочет в артель — пусть идет. Приложив руки к земле, и в чересполосице кормиться можно...

Помолчав, он рассыпался в похвалах:

— А у ваших, милок, дела идут, прямо столпотворение сущее. Скотный двор строят. Машину землю пахать привезли. Онамедни едет она, стучит... да дымом как шибанет мне в окно, ну, поверишь, милок, чай пить бросил... Плугов воз привезли, потом еще какую-то махину, ножи у ней бог ее знает какие, дружок... — и осведомился: — А ты домой-то скоро? Заждались, заждались артельцы. Межовка, вишь, на носу, дело такое развернулось, без хозяина нельзя...

„Хозяев нет!“ — хотел было отрезать матрос, но, оглянувшись, не увидел мужика. Юркая фигура Колобка поворачивала в переулок.

— Крыса! — обиженно сказал про себя матрос. — Пришла понюхала — и наутек! — и, ругнувшись, ткнул кулаком в пространство: — Подожди, дай мне приехать, хвосты я вам, поползни, обрежу!..

3

Затянутый в колючий азям, Платон вел поить на реку кобылу.

В умирающем от морозов тарутинском саду глухо каркали вороны, рассаживаясь на деревьях.

Около плетня, побуревшего за лето, печально шелестели отжившие травы и жирно золотел сброшенный рябиной оранжевый лист. Вверху, будто стеклянное, холодело небо, где серебряными колокольцами курлыкали запоздалые журавли, уплывая к горизонту.

В холодеющей стыни утра их подмывающий крик веселил сердце парня.

Поддерживая за повод кобылу, он неспеша обошел двор.

За ночь выпал снег; переменился ветер, подув с севера, задышал холодом, знобя улицы. Над деревней столбом из труб шел дым. В притихшем переулке скрипели полозья саней. Под испепеляющим дыханием ветра ныло желтое в жнивье поле, не занесенное еще снегом.

По увалу к зародам закривилась проложенная первым ездоком дорога, и сбоку наплутал по первопутку заяц.

Зеленый в изломах, креп недавно ставший на реке лед, чернея дымящимися полыньями.

Вода в полынье легко кружилась, гоняя шмотья пены, и лизала острую кромку льда. Подул ветер, рябью пробежал по воде, она запузырилась гребешками волн.

Перебирая осторожно ногами, кобыла, фуркнув, припала к проруби и, попыхивая, стала пить. Вода зажурчилась, оплывая лед, и Платон отошел вбок, боясь замочить валенки.

Кобыла напилась, отдуваясь подняла голову, роняя с пошлепывающих бархатных губ дробную капель, и заржала.

С горы послышалось ответное ржание и грубый окрик:

— Балуй!

По проложенной по отвесу берега тропинке, сдерживая под уздцы, вел каракового жеребца на водопой старик Кобозев.

Жеребец беспокойно стриг ушами и, оскользаясь тонкими, будто точеными в бабках ногами, подойдя, обнюхал кобылу.

Спуская в веерную бороду улыбку с мясистых губ, Кобозев тронул короткой рукой заячью шапку-ушанку и, ухмыляясь, сказал глухим баском:

— А, коммунист, наше вам!

Обминая твердые кругляшки новых валенок, Платон поздоровался.

— К заезду задабриваешь? — спросил Кобозев, оглядывая колючим взглядом раздобревший зад кобылы, подпуская к проруби своего жеребца.

Подбирая спущенные поводья узды, Платон неохотно ответил:

— На кобыле нельзя — тяжела, а вот жеребца обмять надо.

— Видел, видел вашего жеребца, пораздобрел, — гудел Кобозев, хитро усмехаясь, и добавил: — Ну, да ведь артельные хлеба жирнее!

Сказал и спрятал ехидную усмешку в бороду.

Пропуская едкое замечание, Платон уклончиво ответил:

— Какие уж есть! — и, как бы упорствуя, кольнул: — Твои, я думаю, не хуже, одного бусу на мельнице ежедень обметаешь сколь?

Платон только что накануне узнал, что Дудов, женившись на дочери мельника, принял в пай и Кобозева.

— Мой тощеват, — скромничал Кобозев, опуская глаза.

— Кожа складками пошла, — предупредил его мысль Платон и потянулся колючей варежкой к тонкой лоснящейся коже жеребца.

Конь всхрапнул и, кося взглядом, оторвался от проруби, прижав поднятые торчмя уши.

Подтягиваемый за повод, он легко взбрыкнул задом, отскакивая в сторону своим статным телом.

— На заезде себя покажет, — высказал знакомую мысль Кобозев и, помахивая рукой, не оборачиваясь, пошел от проруби.

Через несколько дней у Довбни решили объезжать молодого жеребенка Крепыша.

Довбня выносил упряжь, готовил сани, а Платон, работая жикающей щеткой, усердно чистил жеребца.

Поеживая тонкой бархатистой кожей, жеребец взбрыкивал, не давая вздеть на себя хомут.

— Ишь, хитрец! — шутил Платон. — Понимает, что кончается вольная жизнь, упрямится.

Довбня увалисто ходил около кошевы и, похлопывая волосатой ладонью раздобревшие бока жеребца, тягуче говорил:

— Поедешь, мотри, на повороте не засеки.

Брат Платона, Тихон, нес солому телятам и тихо советовал:

— Не конобойничай. Видел я намедни, как ты над

кобылой измывался. — И строже добавил: — Бить спервоначалу будешь, враз норов набьешь.

— Знаю, — буркнул Платон и, запахиваясь в тулуп, сразмаху плюхнулся в задок кошевы, приняв поданные вожжи.

Жеребец, бочась, валился на оглоблю.

Вытягивая вожжи, Платон гикнул, и жеребец, играя, легко вынес кошеву за околицу.

Снег в поле блестел самоцветами под тусклым солнцем, прорезавшим каракуль туч, и неприятно колол глаза.

Неся в отлет голову, жеребец плясал на месте, пятясь назад, пытаясь вывернуться из хомута.

Заливистый крик Довбни полоснул поле:

— Кнута ему дай, кнута!

Звук, охнув, метнулся к большаку и замер.

Привставая в кошеве, Платон вымахнул конец вожжей и, мотая петлей над головой, ударил жеребца в зад.

От боли Крепыш привскочил, потянулся на дыбки и, быстро опускаясь, вдруг стремительно сорвал на мах. От отводов кошевы веером полетел снег. Платон выкинул ногу из боязни — не обрезать бы сани. Пружиня руки, обмотанные вожжами, он следил, чтобы жеребец не заскочил вбок.

Храпя и звонко ёкая селезенкой, Крепыш запылил на большак.

Побежала притертая скользким полозом дорога, полосатые версты, кружевная стена леса.

Намереваясь перевести жеребца с маху на рысь, Платон задержал его бег.

Сзади кто-то громко окликнул Платона, густо храпнула лошадь, насев на задок кошевы. Звонко щелкая креслиной новеньких розвальней, Крепыша обскочил на караковом жеребце Кобозев. Полоз визгливо шипел, разбрасывая в стороны хлопчатый снег.

Повертывая голову к Платону, Кобозев натянул дрогнувшие вожжи и крикнул заливчато, по-молодому:

— Пускай на мах!

Угибая голову, взметывая широченный, будто печь, зад,

караковый запылил большаком, круто увеличивая расстояние.

Крупные шмотья твердого снега рвались под передок и, взлетая дугообразно мимо головы, ложились на дорогу.

Кружась и падая, сникали в беге телеграфные столбы и прясла изгородей.

Кобозев, подмывающе ухая, уплыл за поворот.

Крепыш отстал, тяжело пыхтя, и на потных его боках легли темные подпалины.

Роняя вожжи в кошеву, усталый от злобы и неудачи, Платон повернул жеребца обратно.

— На таком тяжкоходе, — с злостью сказал он себе,— нечего и думать обойти Кобозева, — и, супясь, припомнил, как легко на ходу караковый обошел Крепыша.

На мельнице узнали о готовящихся состязаниях лошадей и жаждали видеть победителем Кобозева.

Щеря щербатую пасть рта, подсыпок, давясь смехом, рассказал старику:

— Все поле обмял Платонка Довбенков, надергивает да все настегивает, а она, лошадь-то, прыг-прыг, как корова...

Кобозев, облокотясь на ларь, усмехаясь, спрашивал:

— Да, гишь, прыгает, как же это она?

Гулкие жернова выбивали четкую дробь, и с пыльных стен полз пепельный бус.

Колобок выносил из обруба мешок муки и, вслушавшись в слова подсыпка, льстиво сказал:

— Зато по планту жить хотят, землю и сенокос межуют, скот в один хлев, гляди и сами в одну казарму сберутся, баб заведут обчих, из одного котла есть будут... На артельных хлебах выкормят жеребца, вас обгонят.

Подсыпок поддержал общий разговор:

— Это им удастся, совецкая власть их поддержит. Хлеба нет — хлеба на, и скот и машины — на, а нет: ты безо всего, без помоги поднимись, вот ты тогда мужик будешь, а то — „мы в обчую артель!“ Да едак и я пойду, дай мне все.

Одинокий голос из угла возразил:

— Ну, это пожалуй!

— Что „пожалуй“? — спросил Кобозев косолапого угловатого мужичонку, выкатившегося на коротких выгнутых ногах из угла.

Это был младший Ноздрин.

— Да то, — добавил Ноздрин, — что мы вот, худо не мудро, полгода уж по-новому живем, а вы еще дня не пробовали. У нас плуги есть, семена очищены, обчая работа на поле идет.

Один из помольщиков, прыщеватый, с угристым лицом, вмешиваясь, сказал глухо и задорно:

— Да, на бумаге деревню они обогнали, только на деле нет. Тишь да гладь, пока в кармане у них вошь на аркане, а как обрастут — и передерутся. А как вот станут урожай делить, в ножички играть будут...

Ноздрин, хитро сощурясь, оглядывая Кобозева, заметил:

— А лошадь Платон наездит, тебе ножку подставит...

Накаляясь тревогой, старик обидчиво бросил:

— Ну, меня-то обойти еще кишка у вас тонка!

День, когда быть состязаниям, выпал погожий. Гладко укатанный старт поблескивал белым ровным полотном беговой дорожки, будто сбитый молотом.

Распорядители, с красными повязками на рукавах, отдавали последние приказания сторожам, выметающим снег в высокий вал.

У заезда плотной стеной стояли зрители, напирая на барьер, еле сдерживаемый кольцом расшивин.

Скользя по дороге подмороженными валенками, Платон подвел Крепыша к регистрации.

Жеребец сторожко перебирал ногами, щелкая новенькими подковами.

Лошадей прибывало. Пришел второй Ноздрин с соловой кобылой. Рыжебородый коренастый человек провел двух жеребцов уземотдела.

Появился Кобозев на легких ковровых санках. Отдав придержать коня подсыпку, приехавшему с ним в город,

он, степенно и не торопясь, прошел к будке. Из узкого черного ящика он вынул крашеную дощечку с номером „четвертый заезд“ и отошел в сторону, уступив место Платону.

Громкий звонок колокольца очистил старт, возвещая о начале состязаний. Красные бумажные ленты на тонких шестах у финиша струились по ветру.

Распорядитель взошел на трибуну и, взметывая блестящее, будто точеное горло медного рупора, отрывисто прокричал:

— Начинаем!

Короткий человек, смешно семеня ножками и топыря руки около карманов, начал речь.

Платон слушал речь плохо, да и ветер относил слова вбок, мешая понимать их. Чтобы убить время, он скучающе оглядел ипподром. Почти на четверть километра, отливая глянцем сбитого снега, уходила беговая дорожка. По обе стороны ее шел вал, где сиротливо стыли одинокие вешки в морозной бахроме.

Произнесенное имя „Крепыш“ насторожило Платона, и скука схлынула, уступив место тревоге.

Прокричали четвертый заезд.

„Как скоро!“ — сказал себе Платон; ему вдруг стало страшно от мысли, что его обойдут, и жаркий ужас обдал тело.

Он вспомнил рассказы о том, как на бегах лопаются на повороте оглобли и водители мячом вылетают из саней.

Прошлый год Степану с Белой сломало шею. А ведь он в первый раз. Тревожно думал: „Лучше быть убитым, чем перенести позор проигрыша“. Но мысль его оборвал энергичный окрик:

— Крепыш, к старту!

Напружинив руки и стараясь казаться спокойным, Платон разобрал вожжи.

Караковый жеребец Кобозева, прядая ушами, легко поднес санки к старту, запылив распорядителей.

Колючие глаза Кобозева жгли Платона, злобно подмигивая, как бы говорили:

— Ну, держись теперь!

Платон оглядел Крепыша, его тонкие ноги, корпус, и в нем выросло вновь настойчивое желание уехать домой, отказавшись от заезда.

Но звонок настойчиво и звонко рвал тишину дня. Платону стало до отчаяния ясно, что от состязания отказаться нельзя. У будки, с флажками в руках, уже стоял распорядитель, готовый дать сигнал.

Сторожа с лопатами, заделав пробитые ямы, проворно отошли в сторону, и флажки скрестились в руках сигнальщика.

Кони пошли враз, бок о бок, и темная полоса зрителей отплыла.

Шли дружно, не обгоняя друг друга, и твердые шмотья снега бойко порскали по сторонам.

Накаляясь тревогой за исход заезда, Платон решил в крайнем случае хоть сыграть вничью и поэтому вел жеребца ровно, не задерживая и не прибавляя бега.

Кобозев хитрил. Он хотел взять выдержкой, пробуя, насколько опасен противник, поэтому не горячил коня.

Караковый бежал, спокойно, легко и коротко дыша.

Платона в беге скрутило и бросало в санках, и ноги, немея, искали опору. Кобозев сидел, словно вшитый и, сдерживая волнующую дрожь вожжей, уверенно вел коня к концу ипподрома.

Скоро поворот.

Крепыш, чувствуя соперника, прижал уши и, оскалив зубы, рванулся вперед.

Зная горячность молодых лошадей, Кобозев, радуясь, подумал: „Запалишь, Платошка, свою лошадь“, — и на повороте заезда вдруг легко, чуть не под прямым углом, крутнул жеребца.

Растерянный Платон не успел мигнуть, как увидел, что караковый уходит, дуя хвост трубой и щеря раздутые ноздри.

Предчувствие остро щипнуло сердце, и он опять пожалел о том, что потеряна возможность кончить вничью, подумал: „Едва ли я сумею нагнать“.

Бежавшая навстречу дорожка качалась под санями, а вал с черными вешками точно кружился на месте.

Крепыш, пыхая паром в заиндевелый воротник кобозевского тулупа, кое-как успевал итти за задком саней.

Угибая тело вперед и вытягивая затекшие в недвижности ноги, старик, наддавая ходу, злобно крикнул:

— Ну, сволочь вшивая, проси теперь кнута своему жеребцу!

Платон, ссутулясь и белея в лице, увидел, как белесое полотно ипподрома отчаянно поползло кверху.

Звучно и порывисто месили снег копыта идущей впереди лошади. Платон почувствовал, как, несмотря на опаляющее дыхание мороза, покрылось липкой испариной его тело и глухо заколотилось сердце.

Кобозев уходил.

Тогда Платон привстал, выдохнув горячую струю пара, сбив звездчатый иней с тулупа, и рванул вожжи.

„Кулак сбошел!“ — ужалила его мозг загнанная мысль.— Артельную лошадь обошел! Спуская до головок кошевы правую руку, он звонко щелкнул кнутом по упругому боку Крепыша.

Крепыш рванулся и, легко выравняв бег, пошел рядом с караковым.

Обочь дороги, кружась и мелькая, опять весело побежали черные вешки.

Сквозь хруст перетираемого полозом снега Платон услышал злобный шопот и, глянув вбок, не узнал Кобозева: темное его лицо перекосила злоба.

— Врешь, не уйдешь, — захрипел старик, — не уступлю место вшивику-коммунисту! — и, перегибаясь в талии, чмыкнул на каракового.

Платон, накаляясь задором борьбы, также рванул вожжи. Крепыш, свирепея, передал дрожь напористого тела по вожжам Платону.

Пластаясь в беге, вскидывая ногами тучу пыли, он обошел каракового, не давая себя нагнать.

Кобозеву, сидящему в санках, показалось, что он отделился от беговой дорожки и вместе с конем поплыл на

воздух. Примнилось, будто у Крепыша вылетела дуга и опыленные морозом вешки задержали бешеный хоровод.

Охнул и, сдерживая рукой бешено заколотившееся сердце, Кобозев кулем сник в санки...

Крепыш уже рвал бумажную ленту на старте и по гужи влетел в сугроб, пытаясь пробить толщу снега.

Отплевываясь от запорошившей глаза пыли, Платон услыхал взволнованные, испуганные крики:

— Убился, убился!

Выскочил из санок, запутался в вожжах, потом вскочил и, нелепо махая руками, побежал к будке.

Врач с красным крестом на рукаве пальто топтался у санок Кобозева.

Занемевшая в судороге рука старика не давала снять варежку.

Расстегнув тугие петли полушубка, врач, припав краем уха к борту полушубка, внятно сказал:

— Пустяки, обморок!

Но толпа не расслышала, и кто-то, истерично крикнув, заплакал.

Платон увидел в толпе белеющее, будто обсыпанное мукой лицо подсыпка, вытянувшееся с немым испугом в немигающих глазах.

В Николин день проводилась мольба. В мольбу на деньги, собранные с села, покупали в складчину вина и пили круговую.

Утром Никон, придя из церкви, спрашивал успевшего уже выпить Дмитрия:

— Ну, председатель, как твоя мольба сей год?

Оправляя новые штаны, Дмитрий хвастливо и громко ответил:

— Дело кипит — по рублю с носу мужики отвалили. Три ведра на общие, да на ведро Кобозев дал.

Радостно ухмыляясь, Никон сказал:

— Вот это я понимаю, это по мне! А то што вон ширяевцы живут, небо коптят? Не напьются, не подерутся, — и сожалеюще воскликнул: — Эх, жаль, стенок нет, подрался бы я! — и засучил рукава на сухих, поросших редким во-

лосом руках. — Уж кому ляпнул бы промеж глаз — так с неделю бы чесался! — и погрозил: — Голодаевцам бы нашим ребра посчитать! Ух, х-хорошо!

Сонное ложе улицы с полднем оживилось. В узком, будто сенички, переулке истошно заревела гармоника. Полетела частушка из крепких, опаленных самогоном глоток парней. За околицей на высоких копрах, высоко взлетая в небо, запрыгали качели.

Пестрое, звонко орущее стадо девок заполнило улицы. Движение и бег разрумянили девиц.

— Держись! — предупреждали парни, подсаживая взвизгивающую и отбивающуюся девку на качели, и дергали веревки.

Рядом на убитой дороге плясали под рассыпающуюся трель гармоники два вихрастые парня. Чопорные и жеманные бабы тянулись к кругу. Склоняя головы, злословили, мыли косточки своим ближним.

Жена Панти Вертнева пришла под-руку с Любой и также стала поодаль. Еще издали заметив подходивших снох Вертнева, бабы, подталкивая друг друга локтями, зашептались:

— Смотри, одна, как постнуха, а другую что горой несет!

Ваганиха, подпирая скрещенными руками тугие груди, съязвила:

— А чего младшей делается? Муж у ней безо всего. Сколь не спи, худа не сделает, — а та от тоски по Митьке счахла. Жалеет Митьку, что ко мне он иногда заходит, — и, оправдываясь, добавила: — А скажите, пожалуйста, как будто я его к себе прошу? Пришел, посидел и ушел. Я не виновата, если у него баба худая насквозь... К ворожеям, бабоньки, ездит, с рубашного его поит, отворотить от меня хочет, а на кой он мне! Захочу, у меня мужей хоть сотня будет. Потом ребят, что ли, на меня нет? Перестарок я, али урод какой?

Бабы сочувственно ей поддакивали:

— Известное дело, куда тебе он. Нет, ты о Паньте-то расскажи, что с ним?

— Да так, ничего у него нет! — заявила дерзко Ваганиха. — Нето он мужик, нето баба, — и, оживляясь, зачастила: — Вот умора, бабоньки, была на свадьбе! Посылают сваху за молодой белье мыть, а ей страм показать головушку.

— Как же она жить-то будет? — допытывалась одна бойкая молодайка.

— А так! — ответила Ваганиха. — Наше дело, знаешь, бабье, приведут к мужику, живи, и никуда не уйдешь. Отец-мать прихотели — дом богатый.

Бабы, покачивая головами, сожалеюще затараторили:

— И куда она с ним теперь? Ни девка, ни баба. Замуж нельзя — и жить страмно. Господи, что за жизнь с таким, лучше нищей быть, чем с куреей [1] путаться.

Увидев подходивших Настю и Любу, бабы замолчали и подобострастно уступили им место. На селе началась мольба.

Кобозев вынес стол, скамьи и угощение. На столе лежали горка луковиц, каравай хлеба и стояла чашка с веселой надписью: „Ее же и монаси приемлют". Пришел сухопарый, в замазанном подряснике поп в сопровождении дьякона. Они заискивающе поздоровались с мужиками и присели.

Пришли и Вертневы. Лука, кося выгнутыми ножками, подвел к попу опьяневшего Дмитрия. Поп потеснился и скоро уж спорил с Дмитрием о требах. Уклоняясь от объятий рассолодевшего парня, поп наставительно поучал:

— Вы, Никоныч, в возбужденном состоянии, а посему от разговора на сей предмет я предпочитаю уклониться.

Но Дмитрий, держа попа за петлицу рясы, просил:

— Это оставить невозможно, ты мне, батюшка, скажи: согласен ты вместо руги [2] самообложение провести?

Никон выпил мало, хмель не успел притупить ему мысли, и, подходя к сыну, он спешил замять разговор просьбой:

— Митрий, ты лучше нам с батюшкой песню спой.

[1] Курея — северное прозвище гермафродита — двуполого.
[2] Руга — треба, сбор попу с прихожан.

Разговоры крепли. Из бочонка тонкой цевкой забулькала водка. Чашка уже успела пройтись по кругу три раза. Смешливый Колобок вызывал мужиков на пляс. Ему мешал сухопарый Седун с узким будто огурец лицом. Улицей проходил Довбня, и Никон, увидев противника, поднялся ему навстречу. Но поп, заметив движение Никона, предупредительно погрозил пальцем:

— Никакая ссора к добру повести не может. А особенно теперь, когда всякий голос укрепляет наше положение. Ну, понятно, — вкрадчиво добавил он, — когда вы добьетесь хуторов и у вас пойдут дороги разные, тогда... А теперь я бы — за примирение.

Никон, пьяно покачиваясь, согласился:

— Это я и думал, вот проведу межовку — и лапти врозь...

Чувствуя опьянение, поп, поднимаясь, сказал:

— А мне пора прах от ног отрясти и отбыть в Каноссу. Как бы попадья не пожаловала...

Рядом громко и возбужденно шел спор о налоге. На селе слышались выкрики и ругань. Никон, привстав, увидел, как сухопарого Седуна, прижав к забору, били подвыпившие сыновья Заглубоцкого. Седун неловко мотал головой, заливаясь кровью из рассеченной губы. Никон озлобился: Седун когда-то был его закадычным другом, и он не мог допустить, чтобы старика бил всякий сопляк.

Разбросав столпившихся у стола мужиков, он разорвал круг и побежал. Подбегая, он ясно увидел, как низенький коренастый подросток сухим кулачком обрабатывал упавшего на карачки Седуна. Старик опьянел, не мог привстать и, болезненно взывая, кричал:

— Будет, будет!

Вымахивая руку, будто выброшенную пружиной, Никон ткнул парня в бок. Тот глухо охнул и, чертя руками улицу, отлетел от Седуна. Бежавший по улице сын Довбни — Тихон — поднял в Никоне ярость. Рыжая гимнастерка парня была исполосована, и сорванный ее лоскут трепыхался, как крыло птицы. Тихон только что вырвался из рук пьяных Кобозевых и бежал домой.

Никон, гикнув, подскочил к тыну и круто, в надлом, вывернул иссохший под ветрами кол.

Тихон отпрянул в сторону и, пятясь назад, закрыл лицо руками. У забора, где приютились амбарушки, он, споткнувшись, упал...

Тогда яростно заверещали голоса на деревне. Мигом разобрались поленницы дров. Парни достали припрятанные гирьки. На Никона насели дружно, оравой, и оттеснили к тыну. Кол, выпущенный им из рук, с треском переломил через колено подбежавший Платон.

Стругая ногами стылую землю, сбегались на подмогу голодаевцы. Крича, со сбитыми на бок платками, пронеслись бабы. От качели, словно овцы от волка, кинулись девки. Мольба расстроилась.

Откупоренный чан самогона сбили на землю, и в отверстие, тоненько дренькая, засочилась влага. Где-то зазвенела выбитая рама.

Теснимые толпой нападающих, Никон и Кобозев отошли под навес сарая. Лука, истошно крича, побежал домой и, разыскав Дмитрия, рявкнул:

— Отца убивают!

Дмитрий, ошалело мотнув головой, побежал в сени за топором.

Между тем Никона сбили с ног, и тощий парень, не торопясь, носками новеньких сапог пинал его в спину. Тихон, вцепившись в волосы, угибал голову врага в землю. Довбня, отчаянно ругаясь, тащил Тихона за руку.

Вид драки накалил Дмитрия. Он взревел точно бык под ножом мясника и, взмахнув руки, опустил топор.

Толпа, ахнув и круша тын, побежала в поле. На улице остались лоскутья праздничных рубах и сбитые в драке фуражки...

Через неделю Дмитрия вызвали в город на допрос и отпустили под поручительство Луки и Кобозева.

Никон, уложенный побоями в постель, томился и скучал в безделье.

Спина рудовела от подтеков и саднила. Переворачивае-

мый Марьяной, стиснув зубы, он молчал, ощущая тупую боль.

Жена, супя тоскливое лицо, разливалась в жалобах:

— Руки бы им, чертям, отсохли! Ведь только подумать, как избили! И кого нашли под пару? Старика! Обрадовались, давай ломать. Ох, болезный ты мой!

Моргая отяжелевшими от сна веками, Никон молчал. Снохи ходили на цыпочках, переговариваясь шопотом. Дмитрия сняли из совета, заменив Платоном, и он ходил дни без дела, снедаемый тоской перед страхом наказания.

Тревожась за исход дела с отрубами, Никон упрекнул сына:

— Эх, Митька, зря ты это! Ну пощипались бы, отлежался, мало ли что бывает? А то — убивство!

Марьяна посоветовала:

— Я знала, что он когда-нибудь да начудит. Весь, весь, как есть, в тебя! Весной кобыла не пошла в сохе, дак всю ей губу искусал в злости...

Пантя, вслушиваясь в тоскливый голос матери, озабоченно вздыхал. Его не менее других тревожила неизвестность судьбы брата, которого он любил. Он точно наяву продолжал видеть Довбню, Платона, сплошной вой баб и гроб, качающийся на плечах несущих.

Встретив утром Пантю у колодца, Колобок настороженно осведомился:

— Никоша не встал?

Он ездил на мельницу и был весь в мучной пыли.

— Лежит, — ответил Пантя и, дернув за повод кобылу, закричал: — Ну чего, пей, што ля!

Оглаживая иконописное лицо, Лука вдрут уверенно заявил:

— А Митьке скажи, пусть и не тревожится. Обоюдная была... Позапрошлый год в Поневиче этак троих подрезали, ну, условно дали — и все. По пьянке, вишь, по горячке вышло, — и, помолчав, добавил: — Конешно, без аблаката нельзя. А? Как ты думаешь?

Пантя доложил Колобку:

— Да уж папанька вчера нанял одного. Двор и хлеб, гит, протягаю, а Митьку высвобожу из тюрьмы!

Колобок, сосредоточенно о чем-то думая, возразил:

— Оно как пойдет. Суд, говорят, не кобыла, куда потянет... Дело ныне в свидетелях, все, как они покажут. Поискать разве сходить?

Свидетелей обрабатывали в присутствии Дмитрия. Скашивая глаза на вытянувшегося пластом Никона, Ваганиха вкрадчиво и уверяюще говорила:

— Меня запишите непременно. Что видела, то и покажу. Скажу: господин судья, сидит это Никон с мужиками и видит, на деревне Седуна ребята бьют. Ну, понятно, он разнимать встрял. Ребята бросили Седуна, да на него...

Никон, морщась от неприятных воспоминаний, подсказал:

— А еще: сбили с ног, топтали, а Тихонко на голову сел.

— Да, — утвердила Ваганиха, — сел, а в это время Дмитрий и беги тут, и на него бросились. Ну, конешно, он оборонялся...

Желтый свет лампы скупо падал на обострившиеся углы лица Дмитрия. Прерывая Ваганиху, он возразил:

— Не так надо говорить, иначе. Кто этому поверит? Спросят: а почему оборонялся с топором?

Заливаясь краской стыдобы, баба нашлась:

— Да, пожалуй, о топоре надо подумать, — и, как бы спохватываясь, сказала: — А я им так: что топор, мол, лежал у колодки, дрова им рубили, ну, под руку он и подвернись...

4

Доклад, присланный в укомпарт, о нарастающей классовой борьбе на селе и шатаниях коммунистов привлек внимание секретаря.

Крутой в действиях, в прошлом партизан, он, вызвав инструктора агитпропа, поделился соображениями:

— Ну, парень, решай. Ячейку спасать надо. Выехать на место, произвести досрочную чистку, прикрепив ребят к какой-либо организации...

Видя, что завагитпроп, очевидно незнакомый с обстоятельствами, отмалчивается, секретарь продолжал:

— Понимаешь, резкая форма открытой кулацкой активности. Убийство коммуниста. Прорывы в советской, кооперативной работах.

Загремев столом, он достал папку и, потрясая ею, рассказал:

— Вот доклад товарища Дюдина с курсов животноводов. Село в болотах, в ста шестидесяти верстах от железной дороги, ячейка, где пять коммунистов, — да и то каких коммунистов? — не прошедших никакой школы, — он намеренно умолчал о Хахале. — Представь, агроном, оказавшийся белогвардейским офицером, организует скит. Секретарь ячейки — лапша, размякший от улыбки мельниковой дочки. Землемер занят подсчетом, сколько он может заработать при отводе участков для хуторов и артели. Налицо прочный остов кулацкой верхушки села, активной, умеющей бороться. В сельсовет провели сына кулака, а он убил коммуниста... Секретарь партячейки венчается. Один крестил детей, другой сколачивает хозяйство в намерении перерасти в кулака. Я нахожу полезным взять эту ячейку как объект для изучения. Ты съезди, — предложил секретарь инструктору, — узнай все и доложи нам. Да, кстати, узнай для КК, что там натворил Новоселов?

Инструктор, сидя у Платона в сельсовете и знакомясь с делами по налогу, припомнил наказ секретаря.

Вечером назначалось общее собрание.

Собрались не скоро. Клушин, одутловатый после похмелья, пил квас, когда его позвали к Довбне.

— А для ча? — спросил он. — Там без дураков обойдется. — Но все же, одевшись, пошел за Платоном.

Изба Довбни была забита доотказа мужиками, пришедшими послушать, как будут крыть коммунистов.

Собрание открыл инструктор агитпропа.

— Я не могу примириться, — воскликнул он, начиная речь, — чтобы члены партии нарушали один из важных пунктов программы! Да, не могу. Верующий коммунист — это смесь из огня и воды, а коммунист, исполняющий

обряды, — жалкий прихвостень поповства. Это я имею в виду Дудова. Дудов мало того, что пошел на поклон к попу, — он сросся с нашим врагом, женившись на мельниковой дочери. Правда, у нас есть примеры, когда коммунисты женятся на чуждых нам женщинах, но ставят женам условие порвать с семьей. А здесь что получилось? — спросил он.— А то, что коммунист Дудов вошел в дом мельника как хозяин, оброс хозяйством тестя. Отсюда обволакивание его как партийца... Теперь о Клушине. Мы его знали раньше как дельного, хотя недостаточно твердого парня и послали в сельсовет — этот наш опорный пункт на селе. И он, Клушин, что же? Он устраивал пьянки с кулаками. Оптом и в розницу продавал интересы партии. Он не провел индивидуального обложения налогом. Протестовал против отнятия хлеба, обнаруженного у кулаков. Не допускал повышения гарнцевого сбора для мельника. Высказывался против займа, говоря, что советский карман — прорва. Он проморгал развал совхоза. Терпел и не заявлял куда надо об агрономе-белогвардейце. Сквозь пальцы смотрел на сектантов. Да не он один — все вы спали в перевыборную кампанию, — продолжал инструктор поглядывая на Довбню. — Вот этот товарищ мягко подходил к кулаку. Он не новичок, он искушенный в политике человек, не чета Клушину и Дудову. Жил с политическим. Больше чем кто-либо тронут культурой. Но и он сдрейфил, измельчал, потерял перспективу и утратил чувство классовой ненависти к врагу. Теперь о Харлампие Дюдине. Этот парень лучше и выдержаннее всех. О нем у нас в укоме хорошее мнение, он прошел выучку и может работать. Вывод мой таков: двоих первых, Дудова и Клушина, надо исключить из партии, а Довбне вынести предупреждение. Теперь, прошу всех присутствующих товарищей высказаться.

Первым говорил Дудов. Он волновался, потел, подыскивая слова.

— Я не из таких, — заявил он, — чтобы с упорством осла углублять свои ошибки. Я знаю, их много у меня, хотя я против обветшалого лозунга: „На ошибках учимся, и кто ничего не делает, тот не ошибается“. Мои ошибки лежат

во мне самом, — я нерешителен. Я избрал накопительный способ хозяйствования, и мне это ставят в упрек. Но я почему-то до этого был уверен, что коммунист деревенский и должен быть таким. Я думал, что мало быть коммунистом, надо уметь хорошо повести свое хозяйство, — и я пошел на это...

— К мельнику, — бросил от печи Ноздрин.

— Да, к мельнику, — сказал Дудов. — И все оттого, что мужика я знал как Фому неверующего. Мужик не верит на-слово...

— Особенно тебе, — снова сказал Ноздрин.

— Его, мужика, надо убедить силой фактов, надо завоевать авторитет. Я решил обогнать в хозяйстве кулаков, чтобы дать понять мужику, что я знаю землю и умею работать.

— И сделался кулаком в квадрате, — бросил с места инструктор при одобрительном смехе собрания.

— Может быть, — согласился Дудов, — но я уверял себя, что, завоевав авторитет деревни и выросши хозяйственно, я сумею ее увлечь за собой. Я ушел в накопление. На смену старой избе у меня появился пятистенок. Купил холмогорок-коров. Племенную лошадь. Курдючных овец. Я и пчеловод, и огородник, и мелиоратор.

— И швец, и жнец, и в дуду игрец, — сказал доселе молчавший Довбня.

— Я обогнал хозяйственно таких зубров, как Кобозев или Вертнев. Я добился своего. Ко мне пошли за советом. Мне стали верить на-слово. Я мог увлечь деревню за собой. Но я этого не сделал и запутался...

— Баба за штаны держала, — сказал снова Довбня.

После речи Клушина, вялой и бесцветной, говорили артельцы.

Старик Ноздрин вылетел боком, распушив бороду, похожую на пух-очески.

— Ребята, — начал он, — меня не судите — говорю мало и худо, но сказать надо, потому большаков наших чистят...

— Большевиков! — подсказал с места кузнец. — Путать не надо.

— Ну, мне так понятнее, — с упорством добавил Ноздрин, — большаки в том смысле, как хозяева в дому. Я не таких большаков имею в виду, которые снох ременной вожжой учат, а передовых, тех, кто нашему темному брату вроде как указка служит... Ну вот, я и задаю себе вопрос: сгодятся ли эти люди для указки? Иные да, другие нет. Возьми хоть прежнего председателя: какой же он такой человек, если отца похоронить как следует не мог?..

Хохот потряс избу. Ноздрин, конфузливо мигая глазами, стоял в молчании, выжидая, когда стихнут голоса.

— Продолжай, старина!

— Чего же вы ржете? — укоризненно сказал старик, — обрадовались чему? Думаете, я насчет бога, чтобы он соблюл как следует похороны? Нет, я и себя велю хоронить без попа. Я о том, как человек на таком пустом деле срезывается... Вот, помер отец нашего председателя, положили старика честь-честью в гроб и говорят сынку: вези на погост. Домашние могилу роют, а он третью бутылку кончает. Сел и поехал. Лошадь везет, и он едет. А лошадь его в лесосеку и свези! На погосте ждут — не дождутся покойника, а лошадь постояла в лесу, продрогла, стала завертывать, гроб упал...

В избе опять захохотали.

Ноздрин продолжал:

— Ну, скажу, незадача-парень — и все. По-моему, дать ему отпускную: иди, мол, паши землю, а в руководы не лезь, а то и печь пропьешь... А Дудов? О нем и говорить нечего. Парень он с головой, если бы он к чужому добру руки не тянул, выправился бы, а в таком виде не подходит...

Говорили и кузнец и сапожник Коншин, выступали бабы, и в их речах, корявых, плохо слаженных, чуялась уверенная сила и правота. Под конец была единодушно принята резолюция об исключении Клушина и Дудова из партии.

Настасья не в шутку стала тревожиться за Пантю, замкнутого и далекого от ласк. Веселый и подвижной хо-

лостым, он теперь выглядел дичком, сторонившимся жены. Настасье было до боли стыдно вспоминать о позоре, пережитом ею на другой день после свадьбы.

Еще не прокричали петухи, как их подняла сваха. Входя в чулан, Ваганиха осведомилась:

— Ну, молодая, как отдохнула? — и попросила: — Надо бы приметку!

Настя, полыхая стыдливым румянцем, втянула голову в плечи.

Тогда Марьяна, поняв щекотливость положения молодой, выступая вперед, сказала:

— Старик упредить велел, смотрин не будет...

Сваха неодобрительно что-то хмыкнула и, поджав губы, сошла к гостям.

Оставшись вдвоем с женой, Пантя несмело спросил ее:

— Ты не сердишься на меня?

Настя, недоуменно поводя плечом, ответила:

— Нет, а что?

Его удовлетворил ответ жены; он, втискивая лицо в податливые подушки, молчал, переживая радость близости.

Но потом, вглядываясь в его тонкое, будто девичье лицо, Настя иногда думала:

— „Что это с ним? Почему он не ходит, как все женатые на селе, со мной в баню? Избегает раздеться при жене и далек как муж с начала женитьбы?“

Стыд удерживал ее сказать об этом свекрови. На замечание матери, что она похорошела, Настя уклончиво ответила:

— Ну вот, а я думаю, похудела.

Иногда вставало желание заговорить, прорвать тину успокоения, опрокинуть представления о благополучии своей семейной жизни.

Как-то в один из праздничных дней отец Насти спросил Пантю:

— Молодожен, чего это у тебя застопорилось? У нас вон Рогозин полгода как женился, а у бабы уже пузо на нос лезет.

Пантю будто бичем полоснули слова тестя, — краснея до корня волос, он тихо вымолвил:

— Ну, нам еще рано об этом думать.

Следя за движениями мужа, Настя подумала:

„Врешь ты, изворачиваешься, а скажи лучше: не можешь, болен...“ — и, обиженно поджав губы, завздыхала.

Сноха Люба, точно догадываясь, спрашивала:

— Невестка, чего это у вас с Пантей плохо? Когда я ни приду вас будить, всегда он к тебе спиной спит!

Лиловея в лице, Настя пыталась вывернуться:

— Это он завсегда так, не могу, гит, уснуть, когда ты мне в лицо дышишь.

Люба не верила словам молодайки. Сама не балованная ласками Дмитрия, грубого и живущего отчужденной жизнью, она понимала тоску Насти. После допроса Дмитрий совсем редко бывал дома.

Вялая и молчаливая Люба с первых же дней свадьбы не нравилась Дмитрию. Уклоняясь ночью от ее ласк, он обиженно и недовольно ворчал:

— Делать-то нечего, об мужиках только и думаешь, повертелась бы, как я, небось, в голову бы не пришло!

Люба знала причину безразличного отношения к ней Дмитрия, — она не раз видела по вечерам, как у гумен его поджидала Ваганиха, — но боялась крутого мужа и молчала.

Посещало отчаяние, лихорадило. Слезы обжигали горло. Стараясь крепиться уходила на поветь и там, у черной дуплистой колоды, давала им волю.

Заметив исчезновение снохи, Марьяна шла ее искать, находила и допытывалась:

— Чего ты, что с тобой?

Утираясь, Люба оправдывалась:

— Голову чего-то, мамынька, несет, давит сердце, а с чего — ума не приложу.

Никон, узнав об этом, говорил всегда одну и ту же фразу:

— Ну, ей дорога в Могилево, умрет, Митьку женим...

Марьяна, начинавшая подмечать нарастающую отчужденность Насти к сыну, жаловалась Никону:

— Баба чего-то задурела! Раньше веселая такая была, только и слышно — хи-хи да го-го, а теперь все тишком да молчком, уж не уходить ли от нас задумала?

Мать Насти, осведомленная обо всем Марьяной, решительно запротестовала:

— Что вы, что вы, сватьюшка, вы мало еще тогда нас знаете! Как можно! Сам у меня ино говорит: раз выдана — и живи с богом, а уйдешь от мужа — домой и глаз не кажи. Стерпится — слюбится.

Марьяна, подумав, все же высказала сомнение:

— Это мы знаем, да вишь народ-то ныне молодой какой, сдумает и уйдет.

Баба старалась успокоить:

— Ты и не думай, сватьюшка, об этом. Неласков, так уж и уходить? Да раньше мужья женам косы выдирали, в гроб вганивали, да и то жили.

В избе стыла тишина, и было слышно, как с рукомойника тонко сочилась капель.

Помолчав, Марьяна вслух пожелала:

— Я уж, сватья, ино думаю, если бы ребенок от Панти родился, крепче бы их жизнь связала.

— Это верно, но если бог не даст, ничего не поделаешь, — согласилась баба и намекнула: — У нас в Скородуме знахарка живет, от бесплодья, говорят, хорошо помогает. Не сходить ли?

Настя последнее время потеряла сон, томясь неизвестностью ожидания.

Пантя продолжал жить холостяцкой жизнью, не заявляя на жену прав мужа. Иногда ласкал, но ласки его были не мужские. Они не волновали, но тяготили Настю.

Марьяна, продолжая тревожиться за сноху, спрашивала:

— Ну, как, не ругаетесь?

— А о чем? — и простым подкупающим взглядом сноха смотрела свекрови в лицо.

Настю прельщал веселый деверь.

Иногда думала о нем: „Люба не нравится Дмитрию, а мне Пантя“, — и запутывалась, не умея найти объяснений. Мысленно завидовала Любе, спрашивая себя: „Почему это

так выходит? Умный и веселый живет с больной, а здоровая с уродом". Ставила себя рядом с Платоном, таким веселым, сильным, равным, как казалось, ей.

Платон, с которым она была еще знакома с детства, заслонял собой невзрачную фигуру Панти. И он будто искал с ней встреч, прохаживаясь около дома Вертневых. Первая робкая встреча произошла на гумне. Настя шла с пестерем мякины и лицом к лицу столкнулась с Платоном. Увидев ее, он споткнулся и выпустил охапку сена. Помогая ему поднять ношу, Настя спросила:

— Богат стал — и шапки не ломишь?

Изумленный ее замечанием, он обронил:

— Вот те на! — А где я увижу тебя? Знаешь, наши старики на ножах, как же ходить-то к вам?

— Нет, я не о том! — сказала она. — А помнишь, прошлый раз шел мимо, — я воду качала на колодце, — и не поклонился?

— Вот и не видел! — сознался парень.

— Ой, врешь! — погрозила Настя, лукаво сощурясь. — Скажи: зазнался!

А вечером гнилозубый Максим Кобозев рассказал о их встрече ребятам. Они жгли кострику, выброшенную на полосы после уборки льна.

— А я, ребята, Платона с Пантиной молодухой за приятной беседой у гумна сегодня застал.

Часто моргая увлажненными от дыма глазами, один из парней возразил:

— Эко дело! На гумне — не в постели, поговорили и ушли...

Но Максим, не слушая, продолжал:

— Иду это я оврагом, а там, где старое гумно и малинник растет, вижу, быдто што-та белеет. Думаю, поди, лошадь забралась. Ниже мочажина, дрова. Гляжу, тут она с ним...

Сплюнув слюну, тот же парень равнодушно спросил:

— Целовались?

— Не видел, — сознался Максим, — может, что и было. Прошел мимо. Думаю — она молодая, муж — урод...

— Это ишшо неизвестно! — возразил тот же парень, энергично вороша затухающий костер.

— Чего неизвестно?

— Насчет уродства Панти, — ответил парень. — Собой он ничего, работу несет. Может, он нас с тобой крепче...

Но Максим авторитетно возразил:

— И знать нечего, парню двадцать лет, а купался он хоть раз с нами? Нет! Рубахи с себя при нас не снимет. Чего уж тут знать...

Парень защищал:

— А хотя бы и так, все-таки непорядок это. Какой Пантя ни на есть, а муж ейный...

Максим хмыкнул:

— Вот как, что же я, сторож ему?

Но парень уже звал проходившего мимо Дмитрия.

Коричневея в лице при словах ребят, Дмитрий твердо отчеканил:

— Жаль, не моя, я бы ей из гузна дно вышиб!.. — и широким движением снял фуражку.

— Дак, говоришь, видел? — сухо спросил он Максима и положил ему руку на плечо. — Видел — и не трепи языком! — пригрозил он. — Услышу еще раз, без башки пойдешь!

Максим, припоминая расправу с Тихоном, залепетал:

— Я што, я ничего...

— Ну, то-то! — предупредил Дмитрий.

Утром, когда посланная Марьяной за вереском Настя ушла, Дмитрий пошел следом.

В овраге тревожно шелестел под ветром оставшийся с лета бурьян.

По млечно-сиреневому небу катились легкие белые облачка, схожие с хлопьями ваты. У гумна около золотого омета соломы прыгали воробьи. За оврагом было ветрено и пустынно. Когда-то здесь были овины и сараи для складки сена. Сараи сгорели, а от овина остались трухлявые концы срубов. Теперь там гнили лишаи, сохла крапива и коченел в дудке щавель.

Дмитрий, перемахнув за перелаз, прошел в вересняки.

Выждал, вскинул ружье и выстрелил. Короткий сухой звук умер в низине.

Закуривая на ветру, Дмитрий увидел в просвет вересняков голубой платок Насти и пошел ей навстречу, раздвигая кусты.

Услышав шорох, она выбежала, округлив в испуге серые глаза. Дмитрий сказал:

— Это я стрелял, ружье пробовал, а ты одна?

Настя, опустив голову, теребила концы платка. Спохватилась и ответила:

— Была одна — теперь стало двое, — и добавила: — Поди, матушка следить за мной послала?

Дмитрия передернула ее насмешка, — оправдываясь, он дерзко бросил:

— Нужна ты мне! У тебя, чай, муж есть, пусть он и смотрит, — и строго кинул: — А что ты за барыня такая, коли мимо тебя и пройти нельзя?

Усмехнувшись, Настя ответила:

— Пожалуйста, иди только не знаю, что за спрос, одна ли я?..

Настороженные ее глаза пытливо изучали лицо Дмитрия. Но тот уже сорвался с места и, угнув, будто под ударом, голову, храбро побежал в низину.

На плотно сшитой морозом земле белел брошенный кем-то окурок папиросы. На мундштуке четко обозначились пестоватые крепкие следы надкуса.

— Волчьи, — сказал Дмитрий, — Платонка! — и швырнул окурок в сторону.

Ему стало ясно, что Настя была здесь не одна.

Он, повернувшись, нагнал ее у перелаза, грубо схватив за руку.

— Митрий, чего это ты?

Страх изменил ее красивое лицо. Вырвалась и угрожающе шепнула:

— Ты с ума сошел? Хочешь, чтобы я отцу сказала?..

Напоминание об отце отрезвило Дмитрия; отступая, он попросил:

— А ты не беги, мне тебя спросить надо!

— Ну, и спрашивай, а не хватай! — сказала баба.

Дмитрий сбивчиво рассказал ей о сплетнях на селе и о своих подозрениях.

Дергаясь полным телом от охватившего ее смеха, она ответила:

— И до чего дураки народ пошел! Даже с человеком постоять нельзя, — и, отступая назад, повысила голос: — Ну, стояла, всем скажу, — стояла. С межовки он шел, веху потерял, а я нашла. Вот и все. А то, на кой он мне!..

В голосе ее, звонком и дрожащем, звучала подкупающая правдивость.

Раскачиваясь на подвижных ногах, Дмитрий сказал:

— Ты не думай, что я худа тебе желаю, а предупредить хочу, как бы недоразумения не вышло.

Перелезая через изгородь, Настя успокоила деверя:

— А говоришь ты это все зря. Он коммунист, а я кто? — Баба-дура! А потом, разве у меня мужа нет?

При этих словах краска волнения и обиды вновь залила ей лицо.

Умильно поглядывая на сноху, Дмитрий все же предупреждающе заметил:

— Мне что, ты сама не маленькая, только упредить я хотел, а то как бы до отца не дошло...

— И доходить нечего! — со злостью крикнула она. — Потому сплетня — сплетней и останется.

5

Размазывая скупые слезы по лицу, Пантя шел просекой. Жесткий нижущий ветер крутил на дороге снег.

Тяжелое подозрение калило тело Панти. Бледносерые ветви голых берез стегали лицо, — не замечал. Грудастые, как баржи, по небу плыли облака, предвещая бурю. Облизывая губы, поднял голову и подумал: „Скоро полдень...“

Где-то глухо тренькал колокольчик.

На просеке слышались чьи-то голоса. Угнув голову, Пантя прошел ближе и спрятался. Рубили вереск и выносили на дорогу. Это артель готовила сырье для смолокуренного завода. Продираясь сквозь кусты, он увидел моло-

дого Ноздрина и Маркова. Ноздрин сидел на куче ветвей и рассказывал:

— Ну, им не обидно. Митька Ваганиху, а Платошка Пантину бабу... Только Панте хуже всех, — добавил он, помедлив, — хоть и курея он, а душа-то в нем тоже есть. Наверное, ревнует, как и все мы...

Тяжелый жар стыда налил лицо притаившегося Панти. Дрожащие его руки не попадали в карманы брюк. Злость поднималась толчками. Стараясь не выдать себя, он вышел к большаку и прошел домой.

Жена мыла кадку, склонив над ней статное тело. Узкая юбка волнующе облегала полные икры ног. Заслышав шаги, Настя подняла голову. Обезображенное злобой, его лицо было сурово, и на темном припухшем веке правого глаза нервно прыгал живчик. Выбивая зубами дробь, Пантя рывком схватил жену за податливый локоть. Настя, тихо охнув, не вывертываясь, втянула голову в плечи.

На улице глухо падал топор — рубили дрова.

Будто вбивая гвоздь, Пантя вымахнул руку и ударил бабу в затылок. Глухо вскрикнув, она качнулась и кинулась к печи. Пантя поймал ее у двери, ведущей в горницу, и, притиснув, обиженно и громко закричал:

— Будешь ты меня мучить? А, будешь?

Настя, отбиваясь, умоляюще глядела на дверь. Вспомнив, что дома никого нет и услышать не могут, закричала:

— Отпусти, ты с ума сошел? Мне больно!

— Нет, это ты сошла! — хрипел Пантя, тиская ее. — Ты, ты... от мужа законного к другому спать ушла, семейную жизнь разбила!

Глухие, разящие удары сыпались ей на плечи. Захлебываясь визгом, она, увертываясь от его кулаков, выкрикнула:

— Матушка, помоги!

Отпуская ее и тяжело сопя, Пантя спросил:

— Скажи сейчас же, будешь еще гулять с Платонкой?

Настя запальчиво прокричала:

— А? Ты за это бить стал!.. Раз так, буду, буду гулять! Убей, буду!..

Он снова схватил ее, угнул в пол голову и ударил тяжко и безжалостно кулаком в лицо. Кровь залила ей губу, окрасив белую грудь кофточки. Охнув, Настя упала на пол и, мотая вскосмаченной головой, зачастила:

— Бей, бей, все равно не больно! Бей, курея! Вышла я за тебя по неволе, не люб ты мне. Думала, жить буду, верной хотела быть... А ты вон как? Ты бы радовался, что я с тобой живу, ведь с тобой никто жить не станет!

— Молчи!... — и, бросив ее избивать, он убежал в сени.

Пришел поздно, когда садились ужинать. Жены за столом не было. Вздрагивая от душившего ее плача, она сидела в чулане. Сочувственно улыбаясь, Марьяна пришла на поветь, сказав:

— Брось реветь-то! Все обойдется...

Шаркая ногами, на поветь вбежал Никон:

— Опять?..

Он полагал, что это очередная бабья ссора, но заглянув снохе в лицо, удивленный, отступил, спросив:

— Побил разве?

Он не ожидал такой прыти от Панти.

— А, чорт долгорукий, — ишь, чего недоставало — бабу бить! За что он тебя?

Марьяна отшутилась:

— Милые дерутся, только тешатся...

Никон оборвал ее:

— Тебе хахыньки, а тут баба ревет. Ну, марш домой! — и рывком поднял сноху на ноги. Мягко упрекнул: — Раз-другой заворушка вышла, а ты уж по чуланам побежала, эх ты, баба, баба! Зелена, не созрела, горячку порешь. Больше терпеть надо, и любить будут... Поклончивую голову нож не берет, вот что, — закончил он.

Настя, тупясь, молчала.

— Ну? — спросил Никон, властно тронув сноху за руку. — Пошли ужинать!

Пряча подсиненное лицо в платок, Настя прошла за свекром в избу.

Затушив приливающую к сердцу ревность, вечером Пантя искал повод для примирения.

Не раздеваясь, Настя легла лицом к стене. Проникаясь сознанием вины, он спросил ее тихо и примиряюще:

— Осерчала и говорить не будешь? — Тряся ее за плечо, шептал: — Скажи, любишь меня? А? Жила ты с ним? Если нет, буду ноги твои мыть и воду пить, пальцем никогда не трону. — И погрозил: — Пойдешь к нему — убью тебя, его, и сам себя кончу!

Отодвигаясь от него, Настя спросила:

— Рехнулся? Откуда ты это выдумал? Девок ему разве нет!

Трогая рукой тугие полушария грудей, он радостно заговорил:

— Рви мои волосы, рви, ставь меня в угол! Молиться на тебя буду, только живи со мной, не изменяй, не бросай, не уходи к другому...

Мокрые припухшие его губы тянулись к ее лицу. Тошнотворная волна презренья и гадливости налила Настю. Натягивая на себя одеяло, закричала:

— Нет, ты скажи, за что ты меня избил?!

Мелкая дрожь, захватив, трясла его тело, бормотал:

— Все из-за него — Платонка... Никто мне — ни отец, ни мать, никто... Скажи уйти, уйду, куда хочешь за тобой.

Утром Марьяна, зайдя в чулан будить молодых, не застала снохи в постели. Безмятежно посапывая, спал один Пантя.

— Где Настюшка-то?

Проснувшись, он сбросил одеяло, обшарил постель.

— Не знаю, тут была...

Изба, затаившая в углах дремотную тишь утра, огласилась руганью Никона:

— Убью! — и, яростно суча кулаки, он побежал на улицу.

Довбня, расчесав бороду, пил с Харлампием, приехавшим домой, чай. Настя и Платон сидели за столом, торжественные и строгие, словно на свадьбе. Они сочувственно пожимали друг другу руки и весело улыбались. Ночь сблизила их незримыми нитями взаимности.

Вчера Довбня сердито накричал на сына, сообщившего ему о своей связи с Настей:

— Девок тебе не хватило! К замужней полез!..

Обветренное лицо Платона не дрогнуло. Придвигаясь к отцу, он просяще сказал:

— Ты ее спроси, с кем она жить хочет, а то девка она или кто другая, тебе дела нет.

Пришла Настя, рассказавшая, что Платона она знала еще в девушках.

— Силой меня выдали! — хныкала она.

Смягчаясь, Довбня согласился:

— Ну, раз так, то я поперек дороги стоять вам не намерен, ныне не такое время, чтобы перечить, коли слюбились — живите.

Теперь, сидя за чаем, он обдумывал, что говорить, когда он пойдет объясняться к Вертневым.

Стукнула дверь.

Поднимая голову, Довбня увидел Вертнева, подмигнул Харлампию:

— Сам!

— Здорово! — выдохнул Никон и плюхнулся на лавку, глядя на сноху; помолчав, спросил ее: — Ты как это, в шутку, али совсем?

Дерзкие немигающие его глаза низали бабу. На защиту выступил Довбня. Оглядев взъерошенную фигуру Никона, он сказал прочно и веско:

— Да, совсем, Никон. Она пришла к нам совсем и будет женой моего сына.

Срываясь с голоса, Никон, в злобе, передразнил мужика:

— Пришла и будет жить! Знаю, что не к тебе пришла, — и спросил: — Да нет, какая лавочка тут ведется?! Так это, запросто, — притти, сманить жену у мужа и сказать: она у нас будет жить. Да знаете ли? — кричал он, хмуря искаженное злобой лицо, — как это называется?.. Воровство это называется! Воровство!..

Подыскивая слова, Довбня отвел обвинение:

— А ты брось старину тянуть! Человек она, понимаешь,

ровная нам, а не скот... Раньше баба была как вещь какая-нибудь, в мужних руках была, — теперь не такое время. Да потом беременна она от Платона...

Никон, привстав с места, тупо глядел снохе в глаза.

— Вон оно как?! Так, молодица, — проговорил он едко, растягивая слова на последнем слоге. — Значит, можно поздравить вас с брюшком. А мы думали, сноха хорошо живет, внука даст, жалели, работой не забижали. А она вон как, ублюдка вынашивала. Х-хорошо!..

Выкрик Платона прервал его слова:

— Не смеешь так говорить, не смеешь! Силой вы ее от отца взяли. Богатство ваше глаза ее отцу залило.

Никон, не меняя позы, продолжал допрашивать сноху:

— Нет, ты сама скажи, сама, почему тебе не жилось, почему ты в первые дни не ушла?

Давясь словами, Настя тихо и приглушенно ответила:

— Уйти боялась, да и мать отговаривала: не ходи, да не ходи — слюбится. Ну, я ждала, терпела, потом, вижу, бить меня он стал... — взяла и ушла.

Никон натянуто расхохотался.

— Ну и бабочки ныне пошли! Так это, запросто, за здорово живешь! Жить с одним, спать — любиться, зваться снохой, потом захотелось уйти к другому, — жить с тем, уйти к третьему. — И гневно спросил: — Ты баба али корова, чтобы по мужикам, как по быкам, ходить?

Текучий его взгляд шарил по предметам избы, не задерживаясь на них.

— Тебе разве у нас не жилось? — спрашивал он. — Ела, что хотела, спала, сколько думала, одежу всю тебе справили, — нет, не услужили!

Обиженно вскочил с места, побежал к двери.

Харлампий, оттеснив Довбню и провожая Никона до двери, заговорил:

— Старик, к чему ты бесишься! Не перекипел ты, ну, в гневе лишнее говоришь, а взгляни на дело поближе, другое увидишь...

Остановившись у порога, Никон в упор, с презрением оглядывал матроса.

Харлампий, выдержав напор, не теряясь, повторил:

— Ты знаешь все, все, только сознаться не хочешь. Кто Пантя-то твой? — спросил он и ответил: — Курея, ведь так? Ты рукой не маши, а выслушай меня: курея, а бабу взял молодую. Может она с ним жить? Нет, не может! Он не ровня ей, да его и женить бы совсем не надо. Чего чужой век зря завешивать! Я его, Пантю, и не виню, а тебя с твоей женой виню. Вы знали про это, а все-таки женили парня... Ты вот головой качаешь, — продолжал матрос, — потому — правды не любишь. У вас, вишь, своя правда, однобокая. Ты закостенел в старом, ты себялюб. Ты хочешь, чтобы все по-твоему вершилось: чуть кто заперечит, ты все в драку лезешь. А только знай — уберут тебя с дороги...

Никон, чувствуя, как гнев опять приливает к сердцу, резко перебил Дюдина:

— Знаю и вижу, куда ты гнешь, — и, круто выбросив руки, крикнул: — Да, я упрям, и не сломлюсь, потому — я так взрощен, и не вам меня ломать! Яму мне вы роете, да нет, врете, слабо́ вам меня закопать живым, силы не хватит!

— Постой, не горячись! — осадил его матрос, усмехнувшись. — Ты потерял голову. И ты, и все вы делаете глупость за глупостью. Спариваете стариков с молодыми, больных со здоровыми, только бы обновить вашу гнилую, зараженную ядом косности кровь. Вы делаете все, только бы создать видимость благополучия в семье... А она вот, баба, вышла из подчинения. Замордованная, забитая сноха вышла и хочет жить, как ей нравится... Ты рвешь-мечешь, терпя поражение за поражением. Семьи нет, отруба нет, хозяйство гибнет, — сказал он жестко, будто хлыстом ударив Никона.

Но Вертнев уже сорвался с места, хлопнул дверью, выскочив в сени. Ветер донес его гневные слова:

— Гольтепа вшивая, в лепешку расшибусь, а свое сделаю, вы это так и знайте! Умру, а на своем поставлю. Будут отруба, будут!

Возвратясь к столу, Харлампий сказал Платону:

— Имущество Насти перенесть надо, а то он, дуролом, на чураке все изрубит.

Платон, вслушиваясь в слова матроса, согласился:

— Что ж, это можно, теперь уж все утряслось...

Весна не внесла успокоения в мятущееся сознание Никона Вертнева. Дмитрий, приговоренный губсудом к десяти годам тюрьмы, отбывал наказание. Люба хворала, а Пантя после ухода жены стал еще менее общителен. Днями он слонялся по задворкам, обтюкивая топориком рыжие плетни. Управившись с пашней, совсем затосковал и отправился из дому в город на заработки.

Никон, смятый событиями, искал сочувствия у жены, но и она не понимала его.

Вглядываясь в заросшую ольшняком сечу, Никон проходил однажды мимо пади. На раздавленных колесами ветвях грузно висели оставшиеся с лета сосульки смолы. Ветви придорожных деревьев ежедневно мяли проезжие. Вдавливали в грязь, сплющивая корневища, а дерево росло, пуская новые побеги. Необычная живучесть деревьев удивляла Вертнева. Продолжая итти, он сказал себе:

— А какая способность к жизни у этих никому ненужных деревцов! — и обобщил: — Так и я, меня давят, а я побеги пускаю.

Необходимость борьбы за право жить на земле была им теперь ощутима, как никогда. Процессы борьбы он подмечал, в то время как раньше проходил равнодушно мимо. Поднималось дерево в росте, наливалось соками земли, лезло в крону, он знал, что это за счет слабых. Лишенные солнца и света деревца были тонки и немощны.

— Кто как умеет, — заключил Никон, при этом сравнивая себя с сильным и рослым деревом. — Больные деревья рубят — это разумно, а зачем же они тогда растут: ни пользы от них, ни...

Не переставая сомневаться, он пришел к попу.

Подбежав к Никону и узнав о его сомнениях, поп, подумав, заговорил:

— Такие мысли, друг, не тебя одного мучают, — и успокоил: — Посиди, я тебе это разъясню.

Уставив в омшанике лопаты, он возвратился и, склонив лицо к щеке Никона, прошептал:

— Меня попадья не любит видеть за светскими книгами, так я кроме поваренной при ней ничего в руки не беру, а для тебя изволь, приму грех на душу.

Поп прошел в дом, плавно покачивая лощеный зад заношенного подрясника. Возвратясь, он таинственно подмигнул Никону и выпростал из-под полы книгу в зеленом переплете.

— От попадьи скрываю ее, — опять повторил он, — яко тать в нощи. Книжица сия весьма греховна, и чтоб уберечь себя от посрамления, я ее в корки катехизиса переплел. Взглянет моя половина на титульный лист и отойдет в затмении...

Поп хихикнул и, откинув со лба жидкие косички волос, медленно и значительно произнес:

— Книжечку эту писал ученый Мальтус, а говорит он о том, как надо вести отбор людей на земле.

Никон, вслушиваясь в слова попика, поглядывал на его лоснящееся лицо и думал: „Тоже сильный — пустил корень в приход, не выдерешь...“

— Этот ученый находил, что войны и болезни — это способ отбора. И особенно хорошо сказал о том, что-де бедному детей много иметь не следует. Не плоди нищих, говорит он, — копи деньги, скопишь — копи семью...

Одобряя сказанное, Никон заявил:

— Вот это он верно. Хорошая голова, говорят, сотню кормит, а худая — и свою одну голодом морит. По-моему, надо дать на земле место тем, кто силен, здоров, кто может давать благо людям. Плохих надо выхолащивать, или лучше — уничтожать.

Поп протестующе возразил:

— Смерти других грех желать. Без воли отца небесного не упадет ни один волос с головы... Жить надо сердцем, а не помыслом. Мысль коварна, сердце простодушно. „Возлюби ближнего, как самого себя“ и будет хорошо. А главное, „не пожелай другому того, чего сам себе не желаешь“.

Никон, выслушав, обиженно закричал:

— Отец, а книжечка как же? Ведь отбор...

Поп неопределенно махнул рукой:

— Книжечка, верно, того, много в ней дельного, но как пастырь, по долгу, я не могу ей следовать...

Никон, приближаясь к попу, спросил:

— Так значит, как баран, — шею под нож?

— Значит: ломают тебя, землю берут, хлеб берут, веру берут, а ты смирись...

Кобозев, которому Никон передал разговор с попом, посмеиваясь, заорал:

— Врет он все, старая кутья, врет и не краснеет!

Никон хотел протестовать, но Кобозев предупредил:

— Знаю — чего думаешь! Да, нельзя поносить пастыря, а я говорю — можно, потому что они сами то, чего проповедуют, не исполняют... Ты слушай, — сказал он возбужденно, отведя Никона в угол избы: — В чем их правда? „Блаженны нищие духом“, — а сами в гордыне погрязли, к чинам да к приходу богатому лезут. „Не пожелай сребра и злата“, — а до революции в банк на проценты доходы свои носили. „Не убий!“ — а войну благословляют. Да нет, ты меня спроси, — возбужденно продолжал он, — чему они следуют! К утехам мирским их тянет, бабники первые. Если хочет он нас учить, пусть наденет вериги, власяницу, питается саранчой и диким медом. А то он не дурак выпить...

Никон, останавливая Кобозева, резко сказал:

— А ты где?! Где твоя вера? Мне говоришь, значит и другим скажешь?

— Другому не скажу, — усмехался Кобозев. — Бог — это узда непокорным... А я тому богу верую, который лучше кормит...

Прямолинейное заявление Кобозева перевернуло душевный уклад Никона.

„Кому следовать?“ — в сотый раз спрашивал он себя и не мог найти ответа. Лука, приметивший задумчивость племянника, поспешил ему помочь.

— А ты себя не утруждай думой, — попросил он, — от дум голова седеет, а ты живи так — ни шатко, ни валко,

ни на сторону. Верят они с выгодой — бог им судья, а ты прилежи к ему без корысти, там-то все сочтется... Человек — не ангел, без греха не проживешь, гордыня их обуяла, ну и говорят так...

Трезвый практицизм дяди, умеющего сочетать веру с ханжеством, также был непонятен Вертневу.

Он для вида слушал усовещания дяди, но внутренне мучился сознанием неустройства.

Кобозев, явившийся раз в момент раздумья, сказал Никону:

— Бог, говоришь, — а непорядки отчего? Почему он большевиков на земле терпит? Почему допустил, чтобы лучших людей в тюрьму взяли?

Тронув Никона за локоть, Кобозев добавил:

— Хошь ты меня люби, хошь — избегай, но прямо я тебе скажу: бог тут ни при чем. Самому смертным боем надо биться, чтобы жизнь себе на земле устроить...

— Не могу я так! Я иной какой-то. Ты вот и смирился, а я не могу...

— Выучат и тебя, — зло заметил Кобозев. — У них много не нарыпаешься! Вон в других местах, сказывают, — приходят ночью, отбирают все имущество от тех, кто побогаче, а самого с семьей в Сибирь — на высылку... Раскулачивают, што ли, по-ихнему... Спать ляжешь, все у тебя есть: и сыт ты, и обут, и в тепле, а встанешь — ничего у тебя, и гонят тебя, как бродяжку какого...

— Неужели и у нас так будут? — спросил Никон и тяжело опустился на лавку. Потолок перекосился в его глазах, и выбеленная печь полезла вверх. Сердце склещила внезапно полоснувшая боль, рассосалась и взяла вновь.

Марьяна, вспугнутая криком Кобозева, вбежала в избу.

— Второй раз припадок! — обиженно сказала она Кобозеву и упрекнула: — Человеку и так не по себе, а ты еще его расстраиваешь...

Глухо вздыхая, Никон замахал рукой и попросил к себе Кобозева:

— Прошло, иди ближе и рассказывай!

6

Общность труда будто переродила людей. Даже старик Ноздрин словно помолодел от прилива жизненных сил. Возвращаясь из лесных обходов с добычей, он охотно и откровенно рассказывал о своих удачах:

— Мало того, что силком и капканом промышляю, еще рыбешку по речушкам ищу. В артельном деле и я не последняя спица в колеснице.

Особенно оживлялся старик, когда узнавал о завозе в артель какой-либо машины. Наивно и любознательно выспрашивал:

— А народ она не покалечит?

Еще не входя в дом, он бодро кричал бабам, готовившим резку скоту:

— Не жалейте рук, бабоньки, помельче, помельче крошите!

В вешну обходил поля, восхищаясь:

— Вот это молодцы, это по-нашински!

Иногда продолжительно и негромко смеялся и с гордостью говорил:

— По Чешихе ране в осень не проберешься, кочка на кочке, яма на яме. Ноне, гляжу, сенокос тут облюбовали,— и, не будучи в силах сдержать чувств, кричал: — Кустов нет, кочек нет, через речку мост сделан, это ли не ребята? Канавы провели, что те ферма какая!..

Улыбаясь, то понижая, то повышая голос, он расспрашивает о новостях. Иногда принимает строгий деловой вид и поучает:

— А в согре[1] траву надо бы на стожары класть, а то к осени сгниет...

Довбня, чувствуя, как у него от волнения неровно и сильно начинает биться сердце, спешит успокоить старика:

— Ты без сумленья говори, ум, говорят, хорошо, два лучше. Дело это новое—того и гляди огрехов наделаешь...

На работу Ноздрин вставал с полночи, когда на востоке чуть брезжил мутно-серый рассвет. Убирал солому, подме-

[1] Согра — низина.

тал ток и, чуть только загоралась заря, шел будить артельцев.

Осеннее солнце было неяркое, и жидкие блики его лучей играли на блеклой траве. Старику было сладостно вглядываться в спокойные, размеренные взмахи рук артельцев.

За ригой, куда относили солому, дышал холодом овраг. Там стремительный рвался ветер, мотая серые ветви деревьев.

Старик по-детски радовался ометам золотой соломы и оранжевым копнам свеже-вымолоченного ячменя. Умиляясь, смотрел, как взвивается колечками дым от цыгарок отдыхающих артельцев. Успевал подмечать странную, еле заметную иронию во взглядах проходивших мимо лешегонских богатеев.

Вечерами над ригой мотался клубами седой дым — сушили снопы. В подовине, где, сложенные в клетку, чадили дрова, стоял полумрак. Разве когда клетка, подгорев, оседала, вырывались острые языки огня. Тогда желтень света бежала по закопченным стенам и освещала кроткое лицо Ноздрина.

Ток ежедневно поливали водой, и под луной он схож с зеркалом.

Холод не подчиняет старика. Засунув варежки за кушак, он возится у скирдов, сбрасывая овершье. Он любит машину, но ослепительное сияние бешено крутящегося барабана заставляет его жмурить глаза.

— Силища-то какая! — восклицает он, наблюдая за лошадьми, бегающими по кругу, и тут же приходит в отчаяние — успеет ли он пересушить рожь к начину?

Изумляясь быстроте движений машиниста, он, оглушенный визгом барабана, уходит к ометам.

А когда полновесное, будто плавленое золото, зерно медленной струей стекает в мешки, старик, погружая в него руку, радостно утверждает:

— Разве лопатой так провеешь! Да и мякина вся тут, ветер ее не разнесет...

Он желает осмыслить происходящие события, но мысли ему не подчиняются, и он, изумляясь, только разводит ру-

ками. Раньше в нем вставало желание порвать с артелью. Братья Марковы тоже говорили ему об этом. „Много ли нам двоим со старухой надо!“ — повествовал он и совсем было хотел просить об исключении. Вслед за ним ушли бы и Марковы. Но сенокос добил в нем колебания.

Трава, беззвучно сникая, падала в валы. Ноздрин, восхищаясь, кинулся к телеге и, отыскав косу, пристроился к ряду. На него не закричали, не кышкнули, как раньше сыновья, и он молодо, звеня косой, пошел вдогонку.

— Во как наши рубят! — хвастливо крикнул он, не чувствуя усталости.

С треском упала трава, образовав вокруг него гладко выбритую лысину пожни. И все тогда удивились ловкости старика. Сыновья, то ли из зависти, то ли из желания вышутить, в голос сказали:

— А почему бы ему и не косить, уломался он, что ли, — до двадцати лет без штанов бегал!

В страду он по вечерам оставался один и, напрягая внимание, слушал голоса ночи. Окликали его снохи, — не отзывался. О нем вполголоса говорили: „Умаялся, поди спит!“ Копны ржи с поднятыми вверх дудкой снопами походили на монашьи клобуки. Он прикидывал на пальцах, сколько нажали за день:

— Разве в одиночку столько сделаешь? — и думал: „Эх бы, машину-жнейку еще нам!“

Вечерами, облокотясь на подоконник, не уставал наблюдать за улицей. Синея, убегала попрежнему Опока. Желтая и лиловая глина лежала на тропинках, идущих мимо бань.

Удивляясь беспечности баб, он журил их за неуменье носить воду, негодовал:

— Где ходит, тут и воду плещет, а потом на бок плюхается, што те корова на льду... Вам бы работку дать — оторви да брось!

Пугала независимость девок. Вечерами они шушукались с парнями, повизгивая. Ребята на вопрос, чем они заняты, отвечали: „С девками митингу ведем насчет картошки дров

поджарить". Двоих парней застал за овином, высказывавших вслух свои желания:

— Ляпнем, что ли, по единой!

На этот счет он пожаловался кузнецу:

— Как бы ерунда на постном масле не получилась, — сказал он, — сопьются, работу забудут.

Кузнец, расхохотавшись, ответил:

— А пускай их лопают, с устатку вино кровь разбивает, — и утвердил: — Пей, да дело разумей! Я пью, — продолжал он, — а ума не пропью, — н-нет!.. Все пьют, а я в поле обсевок, что ли?..

„Хорош субчик!" — подумал Ноздрин, возвращаясь от кузнеца, и погрозил:

— Погодь, скажу председателю, — покажет он тебе, почем сотня гребешков!

Исключением для Ноздрина представлялся Харлампий. Медлительность была не сродни матросу.

— Общий скотный двор надо! — убеждал матрос. — Ты смотри, где скот у мужиков живет? Хлевы узкие, тесные, скот друг о дружку трется. Света нет. Корм прямо на пол даете, а он в подстилку уходит. Надо двор новый, кормить скот по весу, силос поставить.

Слова матроса вызывали смешок Довбни:

— Знаю, все знаю, только не время еще. Смотри — сами мы вповалку, што свиньи, на полу спим... Себя надо вперед образить, потом о скотине думать.

При этом он подходил к куче мешков, сложенных у дверей, и, дунув, поднимал слой тонкой амбарной пыли.

— Вот, для хлеба амбар надо!

Матрос, потупясь, умолкал.

Половинчатое, как казалось старику, решение матроса обезоруживало его и вызывало злость. Слонялся по избам, ругал баб за нечистоту в избах. Тыкался к опечкам, где висела крупным слоем бархатистая сажа.

— Хламиду-то хоть бы помыла! — ворчал он на сноху, указывая на грязный передник. — Мужиков стошнит...

Баба рдела от стыда и тыкалась ухватом в голубеющую золу печи.

В минуты успокоения старик доставал карандаш и бумагу и чертил план предполагаемой постройки. Контуры будущего здания тогда всплывали в воображении. „Для молодоженов отдельные фатеры надо, — прикидывал он, — а стариков можно и в общую“. Но, припоминая слова животновода о социалистических поселках, отбрасывал свое предложение: „Нет и старики должны быть не обижены...“ Он ощутимо представлял себе, какая должна быть кухня, столовая, баня и прачечная. Просыпаясь, думал: „До снега подожду, ежели не начнут постройки, ухожу из артели“. А как хотелось видеть это новое! И беспокоила старость.

— Вам хорошо ждать! — ворчал он. — У вас годов-то еще впереди ух, как много...

Но когда Довбня сообщил ему, что лес отпустили, — старик повеселел: мельница у них в руках, а теперь будет и скотный двор — плод его желаний.

Там, где Сухона разметала свои косы и остролистые цветут по весне камыши, — было выбрано место для постройки нового двора.

Вчера ходили выбирать место. Утром навозили камней, и Ноздрина лихорадило желание копать ямы. Стараясь не шуметь, еще до рассвета достал топор и лопату и ушел на постройку.

Шептался в камышах ветер. Хрустел при ходьбе порубленный вереск. Между камышами зеленели льды Сухоны. На горизонте вырисовывался зубчатый гребень гор. Быстро летели редкие облака. Поля, будто основа на станке, мелко запорошены снегом.

На дороге от села мелькнула точка, отделилась и поплыла. „Неужели волк?!“ — подумал старик и потянулся к спичкам. Точка плыла к сараям. Ворот тулупа жестко подпер ему подбородок. „Эге!“ — сказал он про себя и, охватив рукоять топора, двинулся вперед.

Лунный свет, падая, дробился на лезвие. На северном крае неба играли и переливались столбы сполохов.

Легким движением руки Ноздрин подтянул кушак и присел в тени сарая. Он не мог различить даже ближних столбов, поддерживающих крышу. Звук, донесшийся до его

слуха, вызвал во рту ощущение холода. Кто-то пилил столб, и пила глухо звенела серебряной дрожью. Оскользаясь, старик подкрался ближе. Скрежет смолк, что-то затрещало, и столб, против которого замер Ноздрин, перекосился. Крыша медленно поползла вниз. От сарая, отделяясь к увалу, поплыла тень.

— Стоп! — заорал Ноздрин и, вскочив, мягкими прыжками побежал вниз.

За рекой тускло рдел огонь. Продравшись сквозь кустарники, Ноздрин побежал быстрее. Сердце ходило толчками. Глотая полным ртом морозный воздух, он кинулся наперерез.

След петлялся: вероятно, убегающий хотел его запутать. И вдруг старик увидел: какой-то человек, выскочив из-за ближнего дерева, покатился с увала.

Снежная пыль опалила лицо Ноздрина, и ветви разодрали щеку. Мерные толчки деревьев, встречающихся на пути, были неощутимы. Потрясая топором, он бросился вниз, цепляя полой полушубка за сучья.

Человек уже был внизу: привстал и, откидываясь вбок, упал.

„Наверное, расшибся!“ — со злостью подумал Ноздрин и сразмаху налетел на лежащего.

Человек, обнимая колено, стонал.

...Это был Колобок.

Сорванная кулачеством хлебозаготовительная кампания заставила сельсовет принять решительные меры по изъятию хлебных излишков.

Платон из города привез новые листы на обложенных индивидуальным налогом и готовился к сбору. Кобозев, выведавший об этом, прибежал к Никону.

— Ты смотри, поостерегись, — заявил он, — тебя обложили единоличным налогом, кулаком считают, — и добавил: — Хлеба, вишь, мужики не продают на базаре, так предполагают итти по амбарам. Нужно, например, тебе на пропитание сто пудов — возьми, а остальное по твердой цене государству сдай.

— Ну, пусть и находят по твердой! — отрезал Никон. — А у меня для них хлеба нет! — и не пожелал больше говорить об этом.

В тот же день, захватив лопаты, он с горбуном отбыл в падь.

И там, где речка Черная выпадает из болот, в буреломных завалах, они отыскали ямы, вырытые когда-то углежогами.

Ямы заплыли землей, проросли бурьяном, но зато были сохранны от человечьего глаза.

Ветер нес из леса настой перегнивающих трав, острый, как спирт. Осеннее солнце в упор грело горб Луки, пока он счищал дерн. От крупного лба к овалу щек стекали полосы пота. Руки горели от напряжения, и нервная судорога покалывала пальцы. Земля, сухо шурша, ссыпаясь, заполняла яму. Подозвав Никона, стоявшего дозором, он сказал:

— Иди-ка, потрудись!

Но потом, прогнав племянника, снова взял лопату. Выкидывая землю, останавливался и, облокотясь на черен лопаты, глядел вверх.

Сосал жидкие усы и думал: „Тепло будет — яму водой зальет, — досками бы прикрыть".

Глинистое ложе перекопанной земли дышало холодом. И там, где пропадал суглинок и начинался дресвяник, горбун увидел осколок белеющего камня. День сникал за полдень. Усталость плотно засела в мускулах рук. На камне сидел крот, дерзко тараща слепые глаза. Кышнул, — он подпрыгнул, показав белое брюшко. Морщась, горбун прихватил зверушку рукой, обернутой в фартук, и выбросил наверх. Неуверенность в движениях исчезла, словно стало просторнее.

Острая линия спины камня уходила далеко в землю. Лопата, нажимаемая ногой, глухо скрежетала, отказываясь итти вглубь. Сердито сморкаясь, Лука про себя сказал:

— Неуж лежень попал, ну, тогда пропадай работа! — и, присев на холодящую мякоть земли, спросил: — Бросить и искать другую?

Перхающий голос Никона позвал горбуна. Продолжая оставаться в том же положении, Лука откликнулся. Никон, подходя, свесил голову и, блестя глазами, присел на край ямы:

— К вечеру кончим?

Отвечать не хотелось. Не шевелясь, отвернув занемевшую от наклона в работе голову, горбун бросил:

— Чорта с два, на камень попал!

Пошарив около себя руками, Никон сполз в яму.

— М-м!.. — сказал он после минутного раздумья. — Н-да, на самой что ни на есть границе. Если камень вынуть, край ямы осыплется, оставить — копали впустую.

У Луки от раздражения вырастало глухое беспокойство. Опускаясь на колени, он ковырнул камень острым языком лопаты. Камень взвизгнул от железа, забелев белой бороздкой, но не поддавался.

Горбун ожесточенно нажимал. Лопата пела, поднимая мучнистый след пыли. Наблюдая за работой горбуна, Никон попросил:

— Брось, услышат...

Подсаживая Никона наверх, горбун подал мысль:

— Раз меловина пошла, то камень одиночный, окопать — и вся недолга.

Никон, молчавший, при словах Луки подсказал:

— Не удастся силой взять, затравкой расколем.

На другой день, провозившись до полдня с окапыванием камня, Никон пошел за подмогой. К вечеру на помощь прибыла Марьяна. Окопанная со всех сторон булыга закрывала половину ямы. Счищая куски приставшей глины, горбун, оглянувшись на Никона, объявил:

— А знаешь, что? Этот камень был наверху!

Никон, вдавливая в глинистый мякиш лопату, выбрасывал землю. Прислушиваясь, остановился и недоверчиво спросил:

— Был наверху, а потом на сажень в землю ушел? Как же это так?

Но горбун, занятый обдумыванием, утвердительно повторил:

— Я говорю — был наверху, смотри, он обтесан.

И верно, гладкий бок камня хранил на себе следы засечек.

Никон, загораясь нетерпением, побежал за ломом и порохом.

Поднялась наверх и Марьяна.

Волна нетерпения подпирала горбуна. Вспомнил историю на реке Унже в Пожоге, где под каменной плитой заброшенного кладбища нашли горшок золотых монет.

Уже чуялась скрытая под землей малиновая свежесть родника и желтый блеск самородка. Встала затаившаяся мысль быть хозяином возможного богатства.

До его слуха долетел стук топоров Марьяны и Никона, вырубавших ваги.

„Дурачье!“ — подумал горбун и, негодуя на их медлительность, вырыл под камнем отверстия для рук. Нарастало нетерпение узнать тайну. Вспомнил, что он в молодости ставил „напопа“ чугунную бабу и решил тряхнуть стариной.

Поплевав на руки, горбун, натужась, потянул камень. Под ногой чавкнула земля, и камень, отделяясь, зашатался. Поддерживаемый руками, камень лег на лопасть подсунутой ноги.

Веселея, горбун думал:

„Смерть пророчили, а я молодяшку в ухо задерну“.

Сжав до хруста челюсти, снова потянул кверху тяжесть, стремясь вывести камень на уровень колена.

От прилива крови горела голова и поджимался к позвоночнику живот. Лука, свирепея, не уступал. Натужась, рванул сникающую вниз глыбу — и вскрикнул от хруста в спине.

От лопаток к пояснице мгновенно заструилась щемящая волна боли. Зеленые венчики заполыхали перед глазами. Глухо и неприятно заколотилось сердце.

Разжимая стиснутые в напряжении пальцы, откинулся к краю ямы.

Влажная глина не потушила нагрева в спине. Разговаривая, подходили Никон и Марьяна.

Опуская лом, тюкнувшийся при падении в дно ямы, Никон спросил:

— Не стерпел, один поднимал? — и, спрыгнув, помог Луке вылезть наверх.

Когда телега дрожала на колеях, Лука стонал.

Массаж живота, поглаживание спины не могли уничтожить тупую ломоту в теле. Всю ночь в приступе нервной дрожи метался горбун.

А к утру, обложенный распаренной трухой до шеи, он плохо узнавал близких.

Линия горечи и тоски облегла его бескровные, криво сжатые губы. Землисто и угловато обострилось лицо. К полудню боль в животе исчезла и притупилась острота голода.

Поглаживая выцветающие височки, поп Шкода сделал напутствие. Недвижно уставив в потолок взгляд, Лука говорил:

— Хуторов не бросайте. Митьку ждите, этот не выдаст...

Сладкая струйка причастия пролилась на одеяло, и поп укоризненно сказал:

— Эх, старик, как это ты сплошал, дар-то, дар божий — кровь Христова!

Горбун уже не слышал. Он смотрел в упор на нависший потолок, который, словно раздвигаясь, показывал голубизну неба. Боли не было. Не было и ощущения тоски. Только властно что-то кольнуло в левый бок и горячо разлилось по телу...

Потянулся, вздохнув, смежил колючие ресницы, чтобы не открывать...

Луч неяркого солнца пригрелся на щеке мертвеца.

Шелестя, опустили холстину на труп. Вспыхнула лампада у изголовья, выжелтив пепельное лицо.

В избах стало темней и глуше. Запахло нежитью, воском и потом.

Входили и выходили люди в дверь, гремя досками, готовя тесовый гроб.

Для приличия в фартук хныкала Люба. Кто-то, из желания согнать с людей дрему молчания, обронил:

— И то пора уж, чужой век жил, шутка ли, до ста дошагал...

Оживившись, завздыхали, заговорили:

— А ныне до сорока не дотянут...

— Чай да вино сердце сызмалу сушат, а табак мозги мутит.

За окном тарахтели телеги. В телегах высились камни,— это артельцы ехали на закладку фундамента для скотного двора.

Зарытый в пади хлеб не давал покоя Никону. Ночью, просыпаясь, он подходил к окну, вдыхал морозный воздух и томился раздумьем.

— А ну-ка полая вешняя вода просочится, и сгниет мое добро, в навоз обернется...

Чесал затылок, мерял неторопливыми шагами избу, ворчал:

— Жизнь! Что же это за жизнь? Свое добро от себя прятать вези к чорту на кулички.

И снова жалел о том времени, когда он ходил в амбарах спокойно, с сознанием хозяина, мимо беременных хлебом закромов. Нюхал бодрый запах поля, переливая в руке золотое зерно, пахнущее дымом риги...

Кое-как окоротал ночь, оделся и пошел в падь.

„Лежит золото!“ — удовлетворенно думал он, входя под сень раскинутых елей. Уж представлял вытянутое лицо Платона, пришедшего с осмотром хлебных излишков. От теплого чувства стало радостно и показались родными ели, идущие обочь тропинки.

День был безветрен. В стеклянной сини неба огромным мерклым диском катилось солнце. На лесной тропе будто золото лежали груды звенящей листвы. Лист ломался и хрустел с приятным, чуть слышным шелестом.

Стало необычно весело, и припомнилась внезапно шутливая песенка Шаньги:

Батька рыжий, мамка рыжа,
Я женился — рыжу взял,
Вся семейка стала рыжей,
Рыжий поп меня венчал.

„А отец Шкода не рыжий“ — подумал Никон, и чувство зависти к Шаньге посетило его. „Не мужик, а чорт“ — охарактеризовал он Шаньгу и пожалел о своей неспособности быть озорным, как тот.

У суболоти, где недавно жирная пухла земля, Никон увидел четкий след саней. Следы перекрещивались, сходились, продавив широкую колею, и там, где проходили ноги лошадей, бурый лежал помет.

От неожиданности у Никона запершило в глотке и перехватило дыхание.

— Неужели нашли?

Подбирая полы пиджака, побежал. Чем ближе он подбегал к яме, тем явственнее печатался свежий след полозьев.

Еще издали он увидел рыжий не занесенный снегом холм земли, и сердце, оборвавшись, сразу упало. Красная, как кровь, глина была перемята в месиво десятками людских и конских ног.

В том месте, где кончался край ямы, Никон увидел тонкую цепочку зерна. Бережно собрал, очистил от снега и, пересыпая кучку с ладони на ладонь, пошел назад.

Вернулся, сел на перекопанный холм, поглядел вниз. На дне попрежнему четко белела спина камня и дышала холодом земля.

— Четыреста пудов! — сказал он себе и вдруг, передернувшись всем телом, упал на землю.

„Припадок! — резанула мысль его мозг. — Сдохну — и жене не найти!“ И вдруг со всей остротой пожелал смерти.

Руки непроизвольно заскользили по месиву из снега и земли. Голова откинулась и в горле заклокотала и заклубилась звериная ненависть к людям. Боль полоснула сердце. Впиваясь в снег скрюченными пальцами, Никон крутнулся и поплыл с холма.

Попал на пухлую кочку, втиснулся боком, захватил в побелевшие от напряжения пальцы клок перемерзшей листвы. Листья затрещали, и хруст этот напомнил Никону шелест червонцев, получаемых за хлеб.

Плакать Никон не мог — выл. Вой был негромкий, но злобный, дышащий смертной тоской. Так воют седые матерые волки, подраненные охотником, чувствующие приближение смерти.

Великий-Устюг.—Москва, 1927—1930 гг.

Конец первой книги.

